



ALMANACCO LETTERARIO

Conoscere Eurasia Edizioni



ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

Издательство «Познаём Евразию»



Банк Интеза

Банк Интеза – российский дочерний банк международной банковской группы «Интеза Санпаоло», которая является одной из крупнейших банковских групп в Еврозоне и абсолютным лидером рынка банковских услуг Италии. Зарубежные филиалы и дочерние банки группы работают в 40 странах мира. В России группа представлена более сорока лет: в конце шестидесятых годов в Москве было открыто Представительство банка «Банка Коммерциале Италияна», которое стало первым Представительством иностранного банка в СССР.

ЗАО «Банк Интеза» является универсальным банком, который предлагает розничные банковские услуги и банковские услуги для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. При этом банк сохраняет лидирующие позиции на рынке кредитов для малого бизнеса и является одним из крупнейших региональных банков в России: 79 филиалов и отделений обслуживают клиентов в 25 регионах России от Калининграда до Владивостока.

Принципы социальной ответственности бизнеса лежат в основе деятельности Банка Интеза и группы «Интеза Санпаоло», которая поддерживает проекты в области культуры и искусства в Италии, в России и в других странах своего присутствия.

Banca Intesa

Banca Intesa è la sussidiaria russa del Gruppo Intesa Sanpaolo, leader in Italia e uno dei maggiori gruppi bancari in Area euro. Le filiali e le banche estere del Gruppo operano in 40 paesi del mondo. In Russia il Gruppo vanta una presenza di oltre 40 anni: alla fine degli anni Sessanta a Mosca venne aperto l'Ufficio di Rappresentanza della Banca Commerciale Italiana, la prima rappresentanza di una banca straniera in URSS.

Banca Intesa è una banca universale che offre una gamma completa di prodotti e servizi bancari ai clienti privati e corporate. La Banca conserva al tempo stesso la sua posizione di leader nel mercato del credito alle piccole e medie imprese ed è anche una delle banche russe con più forte presenza nazionale, disponendo di una propria rete territoriale di 79 sportelli che si estendono in 25 regioni da Kaliningrad a Vladivostok.

Lo spirito di responsabilità sociale è fondamentale per l'attività di Banca Intesa e del Gruppo Intesa Sanpaolo che promuove iniziative culturali in Italia, in Russia e negli altri paesi dove il Gruppo è presente.

Conoscere Eurasia Edizioni

III

Издательство «Познаём Евразию»

Associazione Conoscere Eurasia

Conoscere Eurasia è un'Associazione senza fine di lucro costituita per sviluppare relazioni culturali e rapporti sociali ed economici prevalentemente tra l'Italia e la Federazione Russa e, inoltre, con l'area geopolitica euroasiatica nella quale la Russia ha un ruolo storico attivo, dalla Bielorussia al Kazakistan sino alla Cina e all'India. Viene stabilita, quindi, una proficua collaborazione con la Comunità Economica Euroasiatica a cui aderiscono Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan.

Fra i soci onorari dell'Associazione si annoverano il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa e il Segretario Generale della Comunità Economica Euroasiatica.

Molto stretto è il legame con l'Istituto Letterario A.M. Gor'kij per il comune programma di amicizia tra i popoli.

L'Associazione è aperta a tutti, privati, enti e società interessati ad apportare idee, progetti, iniziative che consentano un concreto sviluppo di tali rapporti.

Ассоциация «Познаём Евразию»

«Познаём Евразию» является общественной некоммерческой Ассоциацией, учрежденной для развития и углубления культурных связей, общественных и экономических отношений, главным образом, между Италией и Россией, а также другими странами Евразийского региона, от Белоруссии и Казахстана до Китая и Индии. В жизни этих стран исторически Россия играет активную роль и плодотворно сотрудничает в рамках Евразийского экономического сообщества.

В числе почетных членов Ассоциации – Министерство иностранных дел Российской Федерации и Генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества.

Очень тесные отношения связывают Ассоциацию с институтом им. А.М. Горького, общей целью которых является дружба между народами.

Ассоциация открыта для сотрудничества со всеми: частными лицами, предприятиями и организациями, которым интересно предложить идеи и проекты, непосредственно способствующие развитию этих отношений.

Литературный институт имени А.М. Горького

Литературный институт имени А.М. Горького – государственное учебное заведение, основанное в 1933 году по инициативе А.М. Горького. Современное название институт получил в 1936 году. С 1942 года приняты очная и заочная формы обучения. С 1953 года при институте действуют Высшие литературные курсы. В 1983 г. институт награжден Орденом Дружбы народов. С 1992 года находится в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации.

В настоящее время учебный процесс идет на двух факультетах: очном и заочном – по программам специалиста (квалификации «Литературный работник» и «Литературный работник, переводчик художественной литературы»), бакалавра и магистра.

Система обучения в институте предусматривает изучение курсов гуманитарных и общественных дисциплин, занятия в творческих семинарах по родам и жанрам художественной литературы: проза, поэзия, драматургия, детская литература, литературная критика, очерк и публицистика, перевод художественной литературы.

Институт ведет активную международную деятельность, контактируя со многими профильными зарубежными университетами.

Istituto Letterario A.M. Gor'kij

L'Istituto Letterario A.M. Gor'kij è un istituto statale d'istruzione superiore fondato da Aleksej Maksimovič Gor'kij nel 1933. Nel 1936 fu intitolato al suo fondatore. Dal 1942 i corsi sono diventati accessibili anche ai non frequentanti. Dal 1953 presso l'Istituto si tengono corsi post laurea di letteratura. Nel 1983 è stato premiato con l'Ordine dell'Amicizia dei Popoli. Dal 1992 l'Istituto dipende dal Ministero dell'Istruzione e della Scienza della Federazione Russa.

Attualmente ha due facoltà, con programmi di scuola superiore specialistica negli studi di letteratura e traduzione letteraria, master e dottorato.

La didattica include materie umanistiche e sociali, la formazione nei laboratori creativi dedicati ai diversi tipi e generi letterari: prosa, poesia, teatro, letteratura per ragazzi, critica letteraria, saggistica e pubblicistica, traduzione letteraria.

L'Istituto svolge un'attività internazionale molto attiva, avendo numerosi contatti con altre università straniere.

Direttore editoriale e letterario
Flavio Ermini

Progettazione e cura grafica
Cierre Grafica

Per i singoli racconti © Autori
Per le traduzioni © Traduttori
Per l'Edizione © 2012 Associazione Conoscere Eurasia

Via Achille Forti 10, 37121 Verona, Italia
info@conoscereeurasia.it
www.conoscereeurasia.it

Главный редактор
Флавио Эрмини

Разработка проекта и графическое оформление
Чиэрре Графика

© на рассказы принадлежат авторам произведений
© на переводы принадлежат переводчикам
© 2012 данного издания принадлежат Ассоциации «Познаём Евразию»

Италия 37121 г. Верона ул. Акиллэ Форти, 10
info@conoscereeurasia.it
www.conoscereeurasia.it

ALMANACCO LETTERARIO

Conoscere Eurasia Edizioni

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

Издательство «Познаём Евразию»

Antonio Fallico

Presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia



L'abbattimento del Muro di Berlino, la rapida e simultanea liquidazione dei Paesi socialisti dell'Europa Centrale e Orientale, e la dissoluzione, come neve al sole, dell'Unione Sovietica hanno dato l'impressione di avere destato il mondo dal lungo letargo della schiavitù del comunismo. Negli ultimi affannosi giorni dell'esistenza dell'URSS, dipinta nella memoria dei liberi uomini dell'Occidente come un immane lager da Kaliningrad a Vladivostok, sembrava che vittime e aguzzini si fossero mobilitati insieme e facessero a gara a denigrare e sbeffeggiare il padre della Rivoluzione di Ottobre. Finalmente sparita, come per incanto, la Cortina di ferro, il sole della libertà illuminava l'intero pianeta destinato agli uomini senza mai tramontare.

Ebbe inizio cioè la palingenesi della Terra, la nuova era di un mondo abitato da esseri viventi felici e non pensanti, nemici giurati di qualunque idea o ideologia e fanatici fustigatori di ogni passione o trasgressione politica.

In questo paradiso terrestre imperava la licenza assoluta tra tutte le creature, animate e inanimate, e si osservava scrupolosamente la selezione naturale tra lupi e agnelli, giganti e nani, bianchi e neri, ricchi e barboni. La vita si svolgeva secondo le sacre e immutabili leggi del mercato, che regolano dalla preistoria in poi il mondo degli uomini e degli dei.

Gli esseri viventi senza pensiero non si resero conto subito di che cosa era accaduto, rimasero impietriti. Poi, lentamente, dilatando le pupille ormai abituate al buio, si accorsero di giacere sotto una enorme montagna di macerie, di rottami, carcasse di auto arrugginite, computer e telefonini antiquati, abiti rattoppati, scarpe di gran marca scalagnate, biancheria lercia a profusione per uso personale, domestico e per toilette, miriadi di flaconi di profumi già evaporati, francesi, italiani, giapponesi e americani. Erano allibiti e impauriti, circondati da branchi di cani randagi e affamati alla ricerca di qualsiasi cosa commestibile che minacciavano rabbiosi di azzannare gli inermi umani

Антонио Фаллико
Президент Ассоциации «Познаём Евразию»

После того, как пала Берлинская стена, социализм стремительно и синхронно ликвидирован в странах Центральной и Восточной Европы, а Советский Союз растаял, как снег на солнце, – возникло ощущение, что мир пробудился от долгого летаргического сна, от коммунистического рабства. В последние лихорадочные дни существования СССР, запечатлевшегося в памяти свободных людей Запада как огромный лагерь протяженностью от Калининграда до Владивостока, казалось, что жертвы и мучители объединились в едином порыве, чтобы очернить и поносить отца Октябрьской революции.

Словно по волшебству исчез железный занавес, и предназначенное всем солнцем свободы осветило планету, чтобы никогда больше не меркнуть. Это стало началом, возрождением Земли, новой эры мира, населенного счастливыми и безмятежными существами, заклетыми врагами любой идеи или идеологии и фанатичными обличителями политических страстей.

В этом земном раю над всеми существами, разумными и неразумными, властвовала воля, и для всех, будь то волки или овцы, великаны или гномы, черные или белые, богатые или нищие, действовал естественный отбор. Жизнь протекала по священным и нерушимым законам рынка, которые испокон веков действуют в мире людей и богов. Неразумные существа, не сразу осознав, что произошло, будто окаменели. Потом, когда постепенно расширились их привыкшие к темноте зрачки, они обнаружили, что погребены под огромной грудой обломков, проржавевших остовов автомобилей, устаревших компьютеров и телефонов, залатанной одежды, стоптанной модельной обуви, грязного белья, мириадом флаконов использованных духов – французских, итальянских, японских, американских. Люди, беззащитные, голодные и напуганные, были окружены стаями оголодавших бродячих собак, рыщущих в поисках еды и грозящих разорвать каждого, кто встретится им на пути. К несчастью, продукты первой необхо-

anche loro digiuni e famelici. Sfortunatamente i generi alimentari di prima necessità erano introvabili, non erano più di moda, mentre abbondavano, ormai scadute e velenose, le conserve e le leccornie più disparate ed estrose per i *gourmet* in confezioni colorate e ammalianti, richieste dalle pessime esigenze del mercato.

In quel baratro senza fondo, però, erano ammassati ettolitri di superalcolici, tonnellate di droghe di ogni specie e pile colossali di lingotti d'oro titolo 999.9 Very Good London Delivery da dodici chilogrammi ciascuno e di biglietti di carta moneta di nuova emissione tanto profumati e inebrianti da far perdere la testa.

Questa bolgia infernale, stracolma di denaro e priva di beni essenziali per la vita, dove animali e umani si sbranano reciprocamente, è un'allusione paradossale e provocatoria al mondo in cui viviamo, fatuo, consumistico e senza ideali, che negli ultimi tre decenni si è invaghito del turbo-capitalismo americano, selvaggio e disumano. E ora è afflitto da una grandissima crisi strutturale: economica, finanziaria e morale.

Tuttavia noi siamo fiduciosi e convinti di poterla superare, se cambiamo radicalmente stile di vita e modello di sviluppo economico, che debbono privilegiare l'essere e non l'apparire, i bisogni reali e non i capricci delle persone. Crediamo ancora nei grandi ideali della giustizia e dell'eguaglianza e nell'utopia umanistica che al centro del mondo va posto l'uomo.

Dopo la tempesta aspettiamo con trepidazione che il cielo si rassereni, irradiando un fascio di luce vivida, che ha affascinato la nostra infanzia con lo spettro dei suoi colori cangianti dal rosso, arancione e giallo, al verde, azzurro, indaco e violetto. L'arcobaleno. Da qui la denominazione del nostro premio Raduga, dedicato ai giovani che costruiscono il nostro futuro.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Felice', with a stylized, cursive script.

димости было невозможно достать, они будто вышли из моды. Зато в изобилии были теперь уже просроченные и ставшие ядовитыми деликатесы и лакомства на любой вкус, в чарующих разноцветных обертках, соответствующих самым изощренным потребностям рынка.

В эту бездонную пропасть были сброшены гектолитры крепких напитков, тонны наркотических средств, груды 12-килограммовых золотых слитков 999.9 «London Good Delivery» и новые банкноты, чей пьянящий аромат заставляет терять голову.

Этот ад, переполненный деньгами и лишенный жизненно важных вещей, где животные и люди терзают друг друга – это парадоксальная и провокационная аллюзия на мир, в котором мы живем. На тот пустой мир, в котором отсутствуют идеалы и процветает потребительство. Мир, где последние три десятилетия доминирует американский турбокапитализм, бесчеловечный и не поддающийся контролю. Мир, страдающий сейчас от сильнейшего структурного кризиса: экономического, финансового и нравственного. Но все же мы уверены, что возможность преодолеть этот кризис появится, когда радикально изменятся образ жизни и модель экономического развития, когда приоритетом станет содержание, а не форма, реальные потребности, а не капризы. Мы верим в идеалы справедливости и равенства, в гуманистическую утопию, где центром мира станет человек.

После грозы с трепетом ждешь, что небо просветлеет, осветится яркими лучами, которые очаровывали нас в детстве своим переливающимся многоцветием от красного, оранжевого и желтого, до зеленого, голубого, синего и фиолетового. Радуга. Так появилось название Премии, посвященной тем молодым людям, которые строят наше общее будущее.



Борис Тарасов

Ректор Литературного института им. А.М. Горького



Три года назад Литературный институт им. А.М. Горького с благодарностью принял предложение итальянской ассоциации «Познаём Евразию» учредить совместную российско-итальянскую премию «Радуга», ибо столь необходимое само по себе начинание в то же время целиком отвечает целям и задачам деятельности нашего института. Присуждение такой ежегодной премии для молодых писателей и переводчиков – особое и перспективное событие в литературной жизни России и Италии. Оно вносит свой вклад в укрепление культурных связей между нашими народами, сохранение и развитие подлинного творчества в эпоху деградации истинных эстетических ценностей и господства массового искусства.

В этом мы смогли убедиться, наблюдая заметное возрастание популярности премии и очевидное расширение географии – от Калининграда до Владивостока – её соискателей. В текущем сезоне на конкурс поступило около двухсот пятидесяти содержательно и художественно разнообразных работ не только из Москвы и Петербурга, Киева и Минска, Новосибирска и Томска, Омска и Оренбурга, Иркутска и Красноярска, Волгограда и Краснодар, Севастополя и Сочи, Уфы и Казани, Ростова и Одессы, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, Мурманска и Архангельска, Ульяновска и Саратова, Воронежа и Ярославля, Твери и Рязани, Орла и Смоленска, но из ещё многих, самых разных городов и сёл Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Татарстана, Башкортостана, Северной Осетии-Алании, Бурятии, Хакасии, Якутии, Калмыкии, Мордовии, Удмуртии, Алтайского и Пермского краёв, Ленинградской и Московской областей и других районов многообразной России.

Boris Tarasov
Rettore dell'Istituto Letterario A.M. Gor'kij

Tre anni or sono l'Istituto Letterario A.M. Gor'kij ha accolto con gratitudine la proposta dell'Associazione Conoscere Eurasia di istituire il Premio congiunto italo-russo Raduga. Infatti questa iniziativa, che di per sé ha un'eccezionale importanza, corrisponde pienamente agli scopi e agli obiettivi del nostro Istituto. La premiazione dei giovani scrittori e traduttori, che si svolge ogni anno è un evento che ha grande rilievo e grande futuro nella vita letteraria dell'Italia e della Russia. Il Premio aiuta a rafforzare le relazioni culturali tra i nostri popoli, a promuovere e a tutelare l'autentica creatività in un'epoca in cui si assiste al degrado dei veri valori etici e al trionfo dell'arte di massa.

Lo conferma il fatto che la popolarità del Premio è notevolmente cresciuta, così come si è estesa la sua geografia: i candidati provengono da diverse regioni, da Kaliningrad a Vladivostok. Quest'anno abbiamo ricevuto circa 250 opere, molto diverse tra loro per quanto riguarda il contenuto e la forma, non solo da Mosca e San Pietroburgo, Kiev e Minsk, Novosibirsk e Tomsk, Omsk e Orenburg, Irkutsk e Krasnojarsk, Volgograd e Krasnodar, Sebastopoli e Soči, Ufa e Kazan', Rostov e Odessa, Ekaterinburg e Nižnij Novgorod, Murmansk e Arcangelo, Ul'janovsk e Saratov, Voronež e Jaroslavl', Tver' e Rjazan', Orël e Smolensk, ma anche da numerose città e paesi di Ucraina, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Tatarstan, Baškortostan, Ossezia Settentrionale-Alania, Buriazia, Chakassia, Jakuzia, Kalmukia, Mordovia, Udmurtia, Regioni di Altaj e di Perm', Regioni di Leningrado e di Mosca, e da tante altre zone della nostra multiforme Russia.

Подобное продвижение российско-итальянской премии «Радуга» не может не радовать и не вселять надежды, что молодые таланты найдут с её помощью своих читателей и издателей, раскроют в дальнейшем новые грани своего творческого потенциала и займут достойное место в наших литературах.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'В.С.' followed by a flourish.

I progressi compiuti dal Premio Raduga non possono che rallegrare e dare la speranza che i giovani talenti possano trovare, grazie al suo aiuto, lettori ed editori, realizzare il proprio talento in tutte le sue potenzialità e occupare un posto meritevole nelle nostre letterature.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'B' and 'C' followed by a flourish.

Raduga

Premio letterario italo-russo per giovani narratori e traduttori

Il Premio Raduga è alla sua terza edizione. È nato con l'intento di rafforzare i rapporti culturali italo-russi e di valorizzare le opere di giovani narratori e traduttori, sia russi che italiani, dando loro la possibilità di trovare un editore e di confrontarsi, in tal modo, con un più ampio numero di lettori. Il Premio si rivolge in modo particolare a quelle giovani voci che – attraverso una forma narrativa caratterizzata dalla consapevolezza stilistica – giungono a farsi interpreti della complessità e delle inquietudini dei nostri tempi.

L'*Almanacco letterario* dà spazio alle migliori tra le opere pervenute al Premio. Tutti i lavori sono pubblicati con traduzione a fronte – a opera di giovani traduttori russi e italiani – e sono seguiti da una nota critica e da una nota biografica.

Il volume viene distribuito in entrambi i Paesi al fine di far meglio conoscere il lavoro dei giovani narratori e traduttori.

Премия «Радуга»

Российско–итальянская литературная премия для молодых авторов «Радуга»

Перед вами третье издание литературного альманаха Премии «Радуга», которая была создана с целью укрепления российско–итальянских культурных связей и содействия молодым писателям и переводчикам из России и Италии, а также для того, чтобы дать возможность молодым талантам найти издателя и получить известность среди многочисленной читательской аудитории.

В первую очередь, Премия «Радуга» создавалась для тех молодых талантов, которые с помощью повествования с характерным отточенным стилем, передают все сложности и тревоги нашего времени.

В альманах включены произведения, которые, по решению жюри, были названы лучшими. Все работы опубликованы с параллельным переводом молодых российских и итальянских переводчиков и с последующими критическими заметками и биографиями. Литературный альманах выпущен в обеих странах. Главной его задачей является познакомить читателей с творчеством молодых писателей и работами переводчиков.

Albo d'oro del Premio Raduga

Prima edizione, 2010; *Almanacco letterario* 1

Giovani narratori italiani

Silvia Banterle, traduzione in russo di Marina Kozlova

Gabriele Belletti, traduzione in russo di Ol'ga Pozdneeva

Massimiliano Maestrello, traduzione in russo di Marija Sudilovskaja

Andrea Paolo Massara, traduzione in russo di Dar'ja Belokrylova

Paolo Valentino, traduzione in russo di Anastasija Golubcova

Giovani narratori russi

Ljudmila Eremeeva, traduzione in italiano di Francesca Lazzarin

Sergej Kubrin, traduzione in italiano di Maria Isola

Anna Ostrouchova, traduzione in italiano di Giulia Zangoli

Anna Remez, traduzione in italiano di Cinzia Benedetti

Bulgun Ćimidova, traduzione in italiano di Alessia Cadeddu

Giovani narratori dell'anno: Massimiliano Maestrello e Sergej Kubrin

Giovani traduttori dell'anno: Giulia Zangoli e Ol'ga Pozdneeva

Победители и финалисты Премии «Радуга»

Литературный альманах 1 – 2010 год

Российские финалисты

Людмила Еремеева, перевод на итальянский язык Франчески Лаццарин
Сергей Кубрин, перевод на итальянский язык Марии Изола
Анна Остроухова, перевод на итальянский язык Джулии Дзанголи
Анна Ремез, перевод на итальянский язык Чинции Бенедетти
Булгун Чимидова, перевод на итальянский язык Алессии Кадедду

Итальянские финалисты

Сильвия Бантерле, перевод на русский язык Марины Козловой
Габриэле Беллетти, перевод на русский язык Ольги Позднеевой
Массимилиано Маэстрелло, перевод на русский язык Марии Судиловой
Андреа Паоло Массара, перевод на русский язык Дарьи Белокрыловой
Паоло Валентино, перевод на русский язык Анастасии Голубцовой

Победители в номинации «Автор года»: Сергей Кубрин и Массимилиано Маэстрелло
Победители в номинации «Лучший перевод»: Ольга Позднеева и Джулия Дзанголи

Albo d'oro del Premio Raduga

Seconda edizione, 2011; *Almanacco letterario 2*

Giovani narratori italiani

Alice Malerba, traduzione in russo di Jana Kidenko

Alessandro Metlica, traduzione in russo di Anastasija Golubcova

Leandro Miglio, traduzione in russo di Anna Fedorova

Fabio Mineo, traduzione in russo di Irina Artamonova

Daniele Tommasi, traduzione in russo di Marina Kozlova

Giovani narratori russi

Andrej Antipin, traduzione in italiano di Maria Isola

Natal'ja Nikolašina, traduzione in italiano di Alice Ghisi

Dmitrij Faleev, traduzione in italiano di Manuel Boschiero

Alëna Čurbanova, traduzione in italiano di Maria Gatti Racah

Sergej Šargunov, traduzione in italiano di Linda Torresin

Giovani narratori dell'anno: Alessandro Metlica e Sergej Šargunov

Giovani traduttori dell'anno: Maria Gatti Racah e Marina Kozlova

Победители и финалисты Премии «Радуга»

Литературный альманах 2 – 2011 год

Российские финалисты

Андрей Антипин, перевод на итальянский язык Марии Изола
Наталья Николашина, перевод на итальянский язык Аличе Гизи
Дмитрий Фалеев, перевод на итальянский язык Мануэля Боскиеро
Алёна Чурбанова, перевод на итальянский язык Марии Гатти Раках
Сергей Шаргунов, перевод на итальянский язык Линды Торрезин

Итальянские финалисты

Аличе Малерба, перевод на русский язык Яны Киденко
Алессандро Метлика, перевод на русский язык Анастасии Голубцовой
Леандро Мильо, перевод на русский язык Анны Федоровой
Фабио Минео, перевод на русский язык Ирины Артамоновой
Даниеле Томмази, перевод на русский язык Марины Козловой

Победители в номинации «Автор года»: Сергей Шаргунов и Алессандро Метлика
Победители в номинации «Лучший перевод»: Марина Козлова и Мария Гатти Раках

Giuria italiana
Итальянское жюри



Adriano Dell'Asta (Cremona, 1952), professore di Lingua e letteratura russa all'Università Cattolica di Brescia e di Milano, è attualmente direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Mosca. Accademico della Classe di Slavistica dell'Accademia Ambrosiana, ha pubblicato oltre un centinaio di contributi scientifici e ha partecipato a numerosi convegni e seminari.

Адриано Дель Аста (Кремона, 1952), профессор русского языка и литературы Католического Университета г. Милана и Университета г. Брешиа. В настоящее время директор Итальянского института культуры в Москве. Член Accademia Ambrosiana (класс славистики), опубликовал более ста научных работ.



Flavio Ermini (Verona, 1947), poeta e saggista, è autore di numerosi volumi in Italia e in Francia. Dirige la rivista letteraria "Anterem". Fa parte del comitato scientifico di "Osiris" (Università di Deerfield, Massachusetts) e degli "Amici della Scala" di Milano. Dirige la collana di filosofia "Narrazioni della conoscenza" (Moretti&Vitali).

Флавио Эрмини (Верона, 1947), поэт и критик, опубликовал много книг в Италии и во Франци. Редактор литературного журнала «Anterem». Является членом научного комитета «Osiris» и членом миланской ассоциации «Amici della Scala». Руководитель философской серии «Narrazioni della conoscenza» (издательство Моретти & Витали).



Inge Feltrinelli (Essen, 1930), presidente della Giuria italiana, presidente della Giangiacomo Feltrinelli Editore, presidente onorario delle oltre 100 Librerie Feltrinelli. Vicepresidente della holding finanziaria EFFE. È stata nominata Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana e della Repubblica Federale di Germania. Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres nella Cultura francese. È membro dell'Accademia Europea di Yuste (seggio "Clara Zetkin").

Инге Фельтринелли (Эссен, 1930), председатель итальянского национального жюри, Президент Издательства Джанджакомо Фельтринелли, Почетный президент сети книжных магазинов «Librerie Feltrinelli». Награждена орденами «Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica» в Италии, «Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres» во Франции. Член Европейской академии Yuste.



Sebastiano Grasso (Catania, 1947), poeta e giornalista. Ha pubblicato una decina di libri di poesia, tradotti in molte lingue. È presidente del Pen Club Italia. Dopo l'insegnamento universitario di Letteratura italiana per un biennio, dal 1971 vive a Milano; attualmente è inviato speciale e responsabile dell'Arte del "Corriere della Sera".

Себастиано Грассо (Катания, 1947), поэт и журналист. Опубликовал десяток книг поэзии, переведенных на многие языки. Председатель Pen Club Italia. Два года преподавал итальянский язык и литературу в университете. С 1971 года живет в Милане, в настоящее время является редактором рубрики «Искусство» газеты «Corriere della Sera».



Maria Pia Pagani (Pavia, 1975), docente dell'Università di Pavia, è autrice di libri e saggi scientifici sul teatro russo e i suoi legami con la cultura spirituale ortodossa. Vincitrice del Premio Giovani Ricercatori in ricordo di Maria Corti (2003), del Premio Cesare Angelini (2004), del Premio Foyer des Artistes (2006) e altri. È la traduttrice italiana di Michail Berman-Cikinovskij.

Мария Пиа Пагани (Павия, 1975), преподаватель Университета г. Павия, автор книг и научных статей о русском театре и его связи с духовной православной культурой. Лауреат Премии для молодых ученых им. Марии Корти (2003), Премии им. Чезаре Анджелини (2004), и ряда других. Итальянская переводчица Михаила Бермана-Цикиновского.



Sergio Pescatori (Venezia, 1941), professore di Lingua e letteratura russa dell'Università di Verona. Ha lavorato in varie Università italiane. Si è occupato di linguistica, di traduzione, di letteratura. Ha curato un volume su Brodskij (atti del Convegno di Venezia, 2000) e uno sullo studio del russo in Europa (Convegno di Verona, 2005).

Серджо Пескатори (Венеция, 1941), профессор Факультета иностранных языков и литератур Университета г. Вероны. Преподавал русский язык и литературу в разных итальянских университетах. В круг его интересов входят языкознание, литература, занимается также теорией перевода. Под его редакцией вышли материалы конференций о Иосифе Бродском (Венеция, 2000 год) и о русском языке в Европе (Верона, 2005 год).

Российское жюри
Giuria russa



Алексей Николаевич Варламов, писатель, доктор филологических наук, профессор. Лауреат Премии Александра Солженицына, Премии «Большая книга» и ряда других. Главный редактор журнала «Литературная учеба».

Aleksej Nikolaevič Varlamov, scrittore, dottore in scienze filologiche, docente universitario. Vincitore del Premio Aleksandr Solženicyn, del Premio «Bol'shaja kniga» e di altri premi. Direttore della rivista «Literaturnaja učeba».



Нина Сергеевна Литвинец, издатель, литературовед, переводчик. Кандидат филологических наук. Заслуженный работник культуры РФ. Вице-президент Российского книжного союза.

Nina Sergeevna Litvinec, editore, critico letterario, traduttore. Lavoratore emerito della cultura della Federazione Russa, Vice-presidente dell'Unione libraria russa.



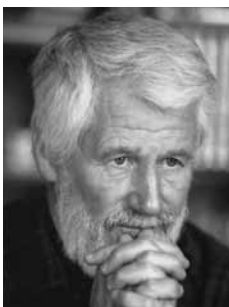
Владимир Семёнович Маканин, председатель российского национального жюри, писатель. Лауреат Госпремии России в области литературы и искусства, Букеровской премии, Пушкинской премии Фонда Тепфера (ФРГ), Премии Москва–Пенне (Италия), Премии «Русский Букер», Премии «Большая книга».

Vladimir Semënovič Makanin, presidente della Giuria nazionale russa, scrittore. Vincitore del Premio Nazionale della Federazione Russa nel settore della letteratura e dell'arte, del Premio Booker, del Premio Puškin (Fondazione Tepfer, Germania), del Premio Mosca-Penne (Italia), del Premio Russian Booker, del Premio Bol'saja kniga.



Евгений Михайлович Солонович, переводчик, профессор. Командор ордена Звезды итальянской солидарности. Лауреат премии Союза писателей Москвы «Венец», Государственной премии Италии в области художественного перевода, премии Монтале, премии Монделло и ряда других российских и итальянских премий.

Evgenij Michajlovič Solonovič, traduttore, docente universitario. Commendatore dell'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. Premio dell'Unione degli scrittori di Mosca "Venec", Premio Nazionale per la traduzione (Italia), Premio Montale, Premio Diego Valeri, Premio Mondello e altri riconoscimenti letterari sia russi che italiani.



Борис Николаевич Тарасов, ректор Литературного института им. А.М. Горького, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, академик Международной академии наук (Инсбрук). Лауреат Бунинской премии, Премии им. Ф. М. Достоевского и ряда других.

Boris Nikolaevič Tarasov, rettore dell'Istituto Letterario A.M. Gor'kij, dottore in Scienze filologiche, docente universitario, scienziato emerito della Federazione Russa, membro dell'Accademia Internazionale delle Scienze (Innsbruck, Austria). Vincitore del Premio I. Bunin, del Premio F.M. Dostoevskij e di diversi altri riconoscimenti letterari.



Анна Владиславовна Ямпольская, переводчик, кандидат филологических наук, PhD (Università di Firenze). Удостоена Серебряного гонфалона области Тоскана за исследования по итальянистике и Премии имени Н. В. Гоголя в Италии за перевод.

Anna Vladislavovna Jampol'skaja, traduttore, docente universitario, PhD (Università di Firenze). Ha ricevuto il Gonfalone d'argento della Regione Toscana per le sue ricerche di italianistica e il Premio N.V. Gogol' in Italia per la traduzione.

Alice Malerba

Traduzione in russo di Jana Kidenko

Аличе Малерба

Перевод Яны Киденко

MEA CULPA

Come appare grande questo appartamento stanotte, senza la tua voce che trafigge gli spazi, il mio silenzio, fino a scontrarsi sui muri e rimbalzare indietro a colpirmi ancora e ancora.

La tua voce determina l'inadeguata distanza tra l'ultimo muro e il primo.

Ce ne andremo da qui; voglio scale a permettermi di schivarti con l'altezza; voglio porte che mi concedano alibi di sordità e voglio una stanza, una soltanto, da strappare all'egemonia dei tuoi tocchi di stile; una stanza vuota, come me, dove sentirmi padrone della luce e del buio.

Non so dormire questa notte, ho perso il modo.

Così ti scrivo, ciò che mai ammetterò a me stesso.

Mi ha fatto tenerezza la tua dedizione all'organizzazione dell'evento; l'entusiasmo sparso sul viso, con gli occhi umidi, mentre mi mostravi i campioni di carta per gli inviti. Sbarazzarmi dell'intera contingenza con un semplice: "Fai tu amore" è stato sublime. Nessun segno di delusione è trapelato dal tuo volto, neppure un'impercettibile incrinatura nello sguardo vivo; l'ombra del dubbio non ha trovato spazio per infiltrarsi tra la certezza di averti offerto un atto di fiducia assoluto che esigeva da parte tua soltanto impegno e gratitudine.

Le tue mail con le foto della torta, dei saloni prestigiosi sparsi per colline in cui mai avresti messo piede, mi hanno divertito i primi tempi; poi ho cominciato a cancellarle senza aprirle. La tua ricerca ha seguito una linea precisa; una *escalation* che ha puntato al vertice del lustro più pacchiano, più spudorata-

MEA CULPA

Какой большой кажется эта квартира сегодня ночью – без твоего голоса, который пронизывает пространство, мое молчание, натывается на стены и отскакивает от них, чтобы снова и снова ранить меня!

Если бы не твой голос, расстояние от последней до первой стены было бы другим.

Мы переедем отсюда. Мне нужна лестница, чтобы, перепрыгивая через ступеньки, можно было оставить тебя далеко внизу, нужны двери, обеспечивающие алиби глухоте, нужна комната, всего одна, которая освободит от власти твоего понимания модной обстановки; одна комната, такая же пустая, как и я, где можно почувствовать себя хозяином хотя бы света и темноты.

Этой ночью я не могу спать – забыл, что такое сон.

И пользуюсь этим, чтобы написать тебе то, в чем никогда не признаюсь самому себе.

Я видел, как важна для тебя каждая деталь предстоящего события, и меня тронуло твое воодушевление, когда с блеском в глазах ты показывала мне образцы бумаги для приглашений. Чтобы застраховаться от возможности попасть пальцем в небо, оказалось достаточно трех слов: «Выбери сама, дорогая». На твоём лице, в твоём живом взгляде не появилось и тени разочарования: я всецело полагался на твой вкус, предоставляя тебе полную свободу действий, за что ты могла сказать мне только спасибо.

Твои e-мейлы с фотографиями торта, роскошных свадебных шатров, раски-

mente esibito, la sobrietà scambiata per miseria e per quanto io abbia perso il raggiungimento finale del tuo obiettivo, so che la sfrontata e imbarazzante volgarità del tuo vestire avrà trovato espressione completa e assoluta nel tuo giorno da sposa.

Ma sarai bella, perché indifferente ai tuoi tentativi di massacro, il tuo corpo trova sempre il modo di resistere e piacere. Ho detto apposta piacere e non sedurre, perché la differenza è netta ed è doveroso che tu ne prenda atto per non confondere una dote di mercanzia con un'arte profonda che non ti appartiene.

La tua bellezza sta nelle misure della forma, stabilite canonicamente a determinare la perfezione. La tua forza è matematica e ti è data provvidenzialmente a compensare le azioni. Le tue gambe hanno la circonferenza di coscia e la lunghezza tale da far girare a riflesso gli occhi di qualunque uomo o donna abbastanza vicini da poterne cogliere quelle misure, le ricercate, le quasi impossibili; questo per tua e loro fortuna li distoglie dalla camminata, evidentemente forzata su un ancheggio imbarazzante, che farebbe sorridere al pensiero di quanta insicurezza si svela dietro quel bacino caricato di così tanta responsabilità.

Il tuo profilo è un quadro di linee proporzionate, che si sporgono e si ritraggono dove serve, sempre; dal tuffo verticale della fronte, al balzo su un nasino a scivolo perfetto che sulla punta accenna uno sbuffo all'insù, appena visibile, fino alla dolce insenatura che dal mento scivola al collo liscio, intriso di profumo costoso.

Il tuo profilo è estasi, perdita di controllo sul proprio sguardo, che sa ripren-

нувшихся на холмах, куда и дороги-то ты не знаешь, поначалу казались мне занимательными, потом я удалял их, не открывая. Твои фантазии были направлены в одну сторону, тебя все больше манил кричащий блеск, бесстыдно выставленный на показ, скромность ты путала с бедностью, и хотя, что ты там еще понапридумала, мне неизвестно, я уверен в одном: вопиющая вульгарность, с которой ты одеваешься, достигнет апогея в твоём свадебном наряде. Но ты будешь красивой, потому что равнодушное к твоим губительным для него стараниям тело всегда находит способ остаться привлекательным. Я нарочно сказал привлекательным, а не соблазнительным, потому что это далеко не одно и то же и важно, чтобы ты видела разницу между материальным богатством и независимым от тебя щедрым даром природы.

Твоя красота укладывается в канонические параметры, определяющие совершенство. Ее безошибочная сила дана тебе, чтобы уравнивать твои поступки. На твои длинные, с округлыми бедрами ноги заглядываются не только мужчины, но и женщины, если им повезло оказаться рядом с тобой и оценить эти невероятно изысканные формы, которые, на их и на твоё счастье, отвлекают внимание от походки, от неестественного покачивания бедрами, способного вызвать улыбку при мысли о том, сколько неуверенности скрывает ответственная роль, отведенная выпяченному лобку.

Твой профиль – сочетание пропорциональных линий, которые выдаются и вдаются, где подобает: от вертикали лба, мягко переходящей в чуть вздернутый носик, до плавного изгиба при переходе подбородка к гладкой шее, благоухающей дорогими духами.

Твой профиль восхитителен, в профиль ты теряешь контроль над своим взглядом

dersi però rapido non appena il viso si scopre nella sua immagine frontale. Non è mai bastato quel celeste intenso a ingannare la certezza che quegli occhi nascondessero un non so che di assente; privi della capacità di cogliere profondità come ironie, si stringono inutilmente ai discorsi in cui, tuo malgrado, ti ritrovi coinvolta e si sente forte alla fine la mancanza di percezione. Quello che resta del tuo colore sono due iridi perse nel vuoto, senza guizzi di intuizione, alla ricerca costante di sguardi complici di aiuto.

I tuoi capelli sarebbero fili lucidi e dorati da far scorrere tra le dita se il loro biondo naturale non fosse stato inacidito da un giallo chimico sbiadente e da una permanente dai ricci ingombranti, induriti dalle lacche perché tengano una forma che non ti si addice.

Ma ai più l'appariscenza basta a definire la bellezza di una donna e questo mi rende ai commenti un uomo fortunato della tua fedeltà.

Sapessero quanto mi corrode la tua sorprendente monogamia.

Sarebbe più semplice saperti libera da affezioni; lanciata a scoprire le tue potenzialità di ragazzina ricca e spensierata. Invece tu, per ragioni oscure anche a me stesso, veneri tale mio esserci apatico e stanco come un regalo prezioso. Questo concede ancora qualche istante alla colpa, quando tocco i miei corpi pagati, con i loro gridi senza piacere che mi tolgono umanità. Cerco quelle donne proprio perché posso pagarle; toglie fatica e mi fa sentire meno venduto.

Non sai la soddisfazione nel non dover sottostare alle dinamiche di relazione più comuni, il non dover chiedere come stai e sapere che loro non me lo chiederanno; ma soprattutto il sapere che dietro quella scopata non c'è un progetto di ascesa, nessuna svolta, nessun giudizio, nessun padre.

дом, но возвращаешь его, как только поворачиваешься в фас. Насыщенной голубизны твоих глаз мало, чтобы убедить, будто они скрывают что-то, чего в них на самом деле нет; они напрасно щурятся в ответ на разговоры, серьезные или насмешливые, в которые ты оказываешься поневоле втянута, и которых, судя по всему, не понимаешь. То, что остается от цвета твоих глаз – это две радужки в пустоте: не дождавшись подсказки интуиции, они отчаянно ловят чужие взгляды в надежде найти в них спасительную сопричастность.

Твои волосы были бы россыпью золотистых нитей, которые приятно перебирать пальцами, если бы их натуральный цвет не испортили химическая желтизна и громоздкие локоны завивки, затвердевшие от лаков, необходимых для поддержания прически, хотя она тебе не идет.

Но для большинства людей важна показная красота, и, по их словам, я должен быть счастлив, что меня любит такая женщина.

Если бы они только знали, как мне действует на нервы твоя верность.

Было бы лучше видеть тебя свободной от привязанностей, знать, что ты понимаешь, какие возможности есть у богатой и беззаботной девочки. Ты же, по непонятным мне причинам, без ума от моей усталой апатии.

Это заставляет меня чувствовать вину, когда я тискаю тела продажных женщин, чьи крики притворного удовольствия превращают меня в животное. Я ищу этих женщин лишь потому, что могу заплатить им, так мне легче, так я себя чувствую менее продажным.

Ты не представляешь, до чего хорошо чувствовать себя свободным от условностей, когда ты не должен спрашивать, как дела, и ждать, что тебе зададут тот же вопрос; но главное – радостная уверенность в том, что ты трахнул

Perché in verità, non credo di aver mai davvero goduto di questa tua forma perfetta, del tuo concederti sempre, a prescindere da te, come una bambolina ad accensione. C'è sempre stato un pensiero a regolare la frequenza, il tempo necessario, persino l'abbandono e una domanda che saliva sempre a scuotere l'incanto, se mai ce ne sia stato uno: davvero sta scegliendo me? Davvero vuole rivedermi? Davvero conoscerà suo padre? Vuole davvero sposarmi?

Non sei mai stata scommessa perché non ho investito energie per vincere; era troppo divertente vedere la naturalezza con cui mi cercavi, affascinata da quelle parti di me che meno ti appartenevano. Mi chiedevi di parlare per ore di argomenti che non conoscevi e non volevi conoscere, forse ipnotizzata dal suono della mia voce che si faceva bassa e cerimoniosa.

Mi piaceva spingere la memoria negli anfratti bui dei miei lontani studi di filosofia a cercare concetti affascinanti e al limite della comprensione per vedere fino a che punto potevi arrossire prima di spostare l'argomento sul tuo nuovo paio di scarpe.

Era un gioco per me. Non volevo sfruttare questa fortuna, volevo divertirmi a conoscerti, a cercare ancora qualcosa di genuino e immateriale che si fosse salvato dal lento lavoro di svuotamento che la tua vita ti sottoponeva in cambio di tutto.

Ho sempre invidiato la tua assoluta mancanza di un senso a spingere le tue giornate, il tuo non aver mai avuto un tempo limite alle cose. I tuoi esami sono stati lenti e sempre al limite della sufficienza e questo non importava a nessuno, men che meno a te. Non ci sono mai stati orari imposti ai tuoi rientri, né obbli-

кого-то не ради карьеры, не ради поворота в жизни, не потому, что за той, с кем ты спишь, стоит богатый родитель.

На самом деле, я не думаю, что когда-либо по-настоящему ценил твою идеальную фигуру, твою постоянную готовность отдаться, будто ты заводная кукла. Всегда приходилось думать о частоте встреч, об их продолжительности, даже о минуте прощания, а ведь был еще и вопрос, губительный для волшебных минут, если оно они когда-нибудь были: она действительно выбрала меня? Действительно хочет снова меня видеть? Действительно я познакомлюсь с ее отцом? Она действительно хочет стать моей женой?

Я не делал ничего, чтобы любой ценой завоевать тебя; слишком увлекательно было видеть естественность, с какой ты искала встреч со мной: тебя привлекала та часть меня, которая тебе не принадлежала. Ты просила меня говорить часами о том, чего не знала и не хотела знать, может, тебя завораживал мой низкий спокойный голос, только и всего. Мне нравилось путешествовать по темным лабиринтам памяти, возвращаться к далеким временам, когда я изучал философию, искать необычные, непонятные для непосвященных темы, видя, как ты краснеешь, прежде чем перевести разговор на твои новые туфли.

Я был далек от мысли о том, чтобы воспользоваться счастливым случаем, мне было интересно разгадывать тебя, искать в тебе что-то от тебя настоящей – что-то, чему удалось спастись от душевного опустошения, постепенно обеднявшего твою жизнь.

Я всегда завидовал отсутствию у тебя чувства времени, твоему неумению планировать день, упорному нежеланию укладываться в заданные сроки. Ты

ghi dopo la laurea. Avevi finito; era giusto prendersi tutto il tempo necessario per capire se seguire il papà o lasciare andare avanti un fidanzato qualunque, senza più tempo, bisognoso di occasioni, come me, per poi sposarlo e vivere indaffarata dalle mansioni di una casa e di un matrimonio.

In fondo si può dire che ci siamo aiutati per bene. Da domani per te doveri e responsabilità saranno fuori da questa porta, se non quelli verso di me, dai quali spero che prenderai presto le distanze.

Sì, avrei potuto fermare il gioco prima di questo finale patetico e scontato; ma quando ho incontrato gli occhi di tuo padre, quella sera a casa vostra, ci ho letto dentro il mio destino.

Mai nessuno aveva saputo guardarmi con tanta sincera gratitudine, come se avessi salvato sua figlia da una fine rovinosa. Sentivo fremere il suo bisogno di farmi sentire parte di quel microsistema, per quanto inadeguato fossi, per quanto precario, per quanto vestito di sottomarche, io ero il prescelto e lui il guardiano supremo che mi indicava la via d'accesso principale. Che importava la prima impressione quando lui era in grado di donarmi l'alternativa, il giusto apparire, il giusto ruolo per posizionarmi, lucido e ripulito, sul tassello mancante del suo puzzle di famiglia.

Fu il suo guardarmi come un potenziale a comprare il mio cuore intero; la fiducia facile di un uomo potente davanti ai miei rospi che non riuscivo a inghiottire.

“L'impiegato filosofo”, così ero chiamato in ufficio; niente di più di tutti quegli impiegati matematici, chimici, musicisti che popolavano la Bottega della Facile Rinuncia. Appoggiavamo la Vita nel portaombrelli, all'ingresso, ogni mattina e

вечно переносила экзамены и с трудом сдавала их на тройки, и это никого не волновало, а уж тебя тем более. Тебе разрешалось возвращаться домой, когда ты хотела, и никто не требовал от тебя, чтобы ты работала после окончания университета. Главное, что ты получила диплом: теперь можно было не торопиться с выбором – пойти по стопам отца или завести жениха, нуждающегося, как я, в удачном стечении обстоятельств, со временем выйти за него замуж и жить в заботах о буржуазном быте, о семейном доме.

В конце концов, можно сказать, что мы помогли друг другу. С завтрашнего дня ответственность и обязанности уже не будут связаны для тебя с этой квартирой, а только непосредственно со мной, и скоро, надеюсь, отойдут на задний план.

Если бы мне удалось остановить игру до этого патетического финала! Но в тот вечер у вас дома, когда я встретился глазами с твоим отцом, в его взгляде я прочитал свою судьбу.

Никто никогда не смотрел на меня с такой искренней благодарностью: можно было подумать, что я спас его дочь от смертельной опасности или от угрозы кончить свои дни на панели. Я видел, как важно ему, чтобы я почувствовал себя частью некой микросистемы, хотя и не годился для этого: при всей моей ненадежности и второсортности, он выбрал меня и, верховный страж моих интересов, указывал мне прямой путь наверх. Разве можно было сравнить этот вечер с тем, когда я почувствовал, что он в состоянии подарить мне выбор, нужный образ, нужную роль, взять меня, чистенького до блеска, недостающим элементом своего семейного пазла.

Его многообещающий взгляд купил меня с потрохами. Сильному мира, ему ничего не стоило поверить в меня, и я не нашел в себе силы обидеться.

dopo otto ore ce la riportavamo a casa. Il sogno si nutriva nelle mie ripetizioni serali, in cui la testa partiva a elaborare ciò che amava e cercava di trasmettere quella passione a qualcuno che pagava perché io lo facessi. Non hai mai capito perché preferissi “lavorare” anche alla sera invece di vedermi con te e interpretando la mia scelta come sacrificio invece che preferenza, hai finito per apprezzarmi ancora di più. Io fuggivo dall’idea di completare quelle giornate inutili e noiose con la tua presenza, cercando di dare un senso in poche ore stanche alla mia esistenza abbattuta dai compromessi; e tu per questo, e senza capirlo, mi stimavi ancora di più.

Grazie a quegli occhi ho sputato i miei rospi, uno per uno.

Nel Reparto Commercio Estero la filosofia è ancora lontana, ma ora il prezzo per non sbirciare fuori l’ho stabilito io e mi basta.

Adesso viaggio spesso e lontano; tocco strade e alternative dove mi piace pensare di poter ricominciare, da solo, libero.

Quando sono lontano cerco di conoscere più gente possibile, stabilire contatti. Esco la notte, cerco locali affollati; durante i *meeting* chiedo i numeri di telefono alle colleghe straniere più affabili e le convinco a portarmi in giro. A volte finisco per dormire un paio d’ore, a casa di qualcuna di loro; torno distrutto e sollevato.

Riesci a comprenderne il motivo? È così semplice che mi carica di adrenalina. Sto costruendo i miei rifugi, per quando avrò bisogno di saperti adeguatamente lontana e innocua, per ricaricarmi di energie sotto un altro cielo.

Io non ti odio, Lavinia. Odio la facilità con cui riesco a dilaniare l’immagine della donna che sto per sposare; odio questa forza nuova che scorre nelle mie

«Свой философ», – так меня называли на работе, где были к тому же свои математики, химики, музыканты, составлявшие основной штат Лавки Самопожертвования. Каждое утро мы оставляли Жизнь в подставках для зонтов при входе, а через восемь часов уносили ее домой. Мечту питало вечернее репетиторство, когда я занимался любимым предметом и старался передать свое увлечение кому-то, кто платил мне за это. Ты никогда не понимала, почему по вечерам я предпочитал «работать» вместо того, чтобы проводить время с тобой, воспринимая мой выбор как жертву, а не как предпочтение, но в конце концов стала ценить меня еще больше. Я избегал мысли о том, чтобы заполнять последние часы бесполезных и скучных дней твоим присутствием и пользовался несколькими утомительными вечерними часами, чтобы придать смысл своему существованию, отравленному компромиссами: ты же, не понимая этого, еще больше уважала меня.

Благодаря взгляду твоего отца я выплюнул свои обиды – одну за другой. В Отделе Международной Торговли еще далеко до философии, но цену, позволяющую мне не приглядывать другое место, я установил сам, и этого мне достаточно. Сейчас я часто езжу в командировки, в том числе далекие, часто сам выбирая маршруты, и есть места, где я с удовольствием думаю, что могу все начать сначала, сам, ни от кого не зависящий.

Когда я далеко, то всегда стараюсь познакомиться как можно с большим количеством людей, завязываю контакты. По вечерам хожу в многолюдные бары; во время совещаний спрашиваю номера телефонов у иностранных коллег противоположного пола, самых симпатичных, и договариваюсь, чтобы они показали мне свой город. Иногда мне удается провести часть ночи

fibre e mi restituisce alla vita, togliendomela nello stesso tempo, come un Faust moderno, meno bramoso. Tu non sei che il primo operaio della catena; ignara del potere scatenato dopo il tuo intervento e priva di responsabilità.

Non è colpa tua se, della mia famiglia, gli unici invitati alla cerimonia sono stati i miei genitori. Lo posso capire; i miei parenti “un po’ grossolani”, con i loro brindisi rumorosi, rischiavano di stonare col rosa pesca delle damigelle, in tinta con gli addobbi floreali e le tovaglie. Poi perché scomodarli tutti, vecchi come sono, a fare un viaggio tanto lungo fino al Nord, non sono abituati; sarebbe stato più uno sforzo che un piacere.

Non ho potuto trattenere una risata sguaiaata quel giorno. Sapevo che per quanto fosse stupida quella tua disquisizione, sicuramente era frutto di serate intere passate a elaborare e ripetere a memoria, per trovare il tono più sicuro e convincente. In realtà mi sentii piuttosto sollevato al pensiero che meno gente possibile potesse assistere a quel tripudio di ipocrisia. Soprattutto la poca gente genuina che ancora conoscevo. E al mio sorriso sollevato seguì il tuo, soddisfatta di avermi convinto senza sforzo con le tue motivazioni più che ragionevoli.

Non è colpa tua se l'appartamento dove ho vissuto gli anni più intensi della mia vita, sede del nostro collettivo studentesco, delle riunioni di partito, delle cene solidali, era troppo piccolo e malmesso perché potessi pretendere che ospitasse te e le tue cose. Per quella causa, tentai un accenno debole di opposizione; proposi di investire in lavori di ristrutturazione; pur di non lasciarlo ero dispo-

у одной из них дома, и я возвращаюсь в гостиницу усталый, в приподнятом настроении.

Ты понимаешь почему я себе это позволяю? Все просто: это дает мне заряд адреналина. Я строю себе убежища под другим небом на случай, когда увижу, что ты тоже отдалилась от меня и уже не опасна.

У меня нет к тебе ненависти, Лавиния. Я ненавижу ту легкость, с какой мне удастся разрушить образ женщины, на которой я собираюсь жениться, ненавижу эту новую силу, которая течет в моих жилах и возвращает меня к жизни, в то же время отнимая ее у меня, нового, только менее страстного, Фауста. Ты всего лишь первый рабочий на конвейере, который не ведает, как много зависит от него, и не сознает ответственности за дальнейшее.

Твоей вины нет в том, что из всей моей семьи на свадьбу были приглашены только мои родители. Это можно понять; мои родственники, «немного неотесанные», с их шумными тостами, испортили бы всю картину, появись они рядом с барышнями в розовых и персиковых платьях в тон цветочным композициям и скатертям. Да и зачем их всех беспокоить, зачем заставлять стариков тащиться в такую даль? Они не привыкли у себя на юге к нашей погоде, наша весна для них все равно, что зима, поездка будет им скорее в тягость, чем в удовольствие.

Я не смог в тот день сдержать ядовитой усмешки. Я знал, что при всей глупости этих твоих доводов, ты наверняка придумывала, учила наизусть и репетировала их не один вечер, чтобы они звучали как можно убедительнее. На самом деле я был бы рад, если бы как можно меньше народу присутствовало при этом

sto a cambiamenti radicali: abbattimento di muri, rinnovamento dei mobili e dei colori delle pareti, qualunque cosa pur di farti spazio ed evitare di lasciare l'unico luogo che mi tenesse ancora aggrappato al ricordo di me felice.

Ma il papà aveva già provveduto, proponendo come alternativa a spese tanto inutili per un alloggio così svalutato, questo loft luminoso e asettico, troppo nuovo per contenere storia, senza macchie per sentirsi a casa e troppo aperto per dare almeno agli occhi la tregua di un muro che le mie orecchie hanno dimenticato.

Non è colpa tua se quella gelosia banale e ricattatrice mi ha imposto una pressione psicologica tanto forte da preferire a quel tuo mugugno sordo e pedante la fine di un'amicizia tanto essenziale.

Neppure il tentativo di coinvolgerti è servito a placare il tuo chiodo fisso. Ti ho portato con me per mesi, cercando di farti cogliere la trasparenza di Elena, la lealtà del nostro rapporto, l'affetto quasi fraterno che ci legava, fin dal primo anno di liceo. Ma mai una volta la tua superficialità infantile ha colto l'occasione per tacere.

Ricordo ancora con imbarazzo il tuo sconcertante intervento, durante la presentazione del suo ultimo libro; aperto lo spazio per le domande, hai alzato la mano e hai osato chiederle, senza aver chiaramente letto il libro, se "i due protagonisti... come si chiamavano... ah sì! Lorenza e Matteo, non fossero forse i reali Elena e Paolo? Un po' troppo autobiografico non trova?!".

Avessi potuto, in quell'istante, aprire una crepa nella terra, così profonda da non riuscire a sentire il tonfo del tuo corpo urlante, scaraventato giù senza esitazioni, avrei potuto, forse, cercare ancora gli occhi di Elena che mi sentivo ad-

триумфе лицемерия. Прежде всего, как можно меньше искренних людей, которых я еще знал. И в ответ на мою улыбку облегчения ты улыбнулась, довольная тем, что с легкостью убедила меня в твоих более чем разумных доводах.

Это не твоя вина, что квартира, в которой я провел самые насыщенные годы своей жизни, место сборов нашей студенческой компании, партийных собраний, вечеринок, оказалась слишком мала и запущена, чтобы приютить тебя и твои вещи. По этой причине я предпринял слабую попытку сопротивления: чтобы не расставаться с этой квартирой, я не только предложил сделать ремонт, но и готов был к радикальным переменам: к сносу стен, смене мебели, к чему угодно, лишь бы создать условия, при которых ты переехала бы ко мне, и я получил возможность сохранить единственное место, где я еще мог цепляться за счастливые воспоминания.

Но папочка уже обо всем позаботился, предложив взамен бессмысленных вложений в грошовую квартиру эти светлые апартаменты, слишком новые, чтобы иметь историю, слишком чистые, чтобы в них чувствовать себя дома, слишком просторные, чтобы дать хотя бы глазам передышку – возможность увидеть теряющуюся вдалеке стену.

Это не твоя вина, что под давлением банальной ревности, превратившейся в шантаж, мне пришлось порвать с очень важным для меня другом, – только бы не слышать твоего настырного глухого ворчания .

Не помогла даже попытка познакомить вас ближе. Я брал тебя с собой месяцами, стараясь помочь тебе понять Элену, понять, что в наших с ней отношениях не было ничего предосудительного, что мы были с ней, как брат и

dosso, prepotenti e interrogativi, e spiegarle che tutto questo non mi avrebbe cambiato, che ero ancora io, reso piccolo dalla vergogna per quella biondina dallo sguardo ebete e dal sorriso compiaciuto che mi sedeva accanto, ma io.

Invece a quella domanda i miei occhi si abbassarono per sempre, resi improvvisamente inadeguati a reggere tutta la dignità che la mia amica, amata, scaraventava contro il mondo e contro di me.

Tornammo a incontrarci soli ancora per qualche mese; ma le telefonate continue, le tue scenate quando al limite della sopportazione spegnevo il telefono per un paio d'ore di pace con lei, le frecciate strategiche davanti ai tuoi genitori, cominciarono a intimidirmi.

Sentii che stavo perdendo terreno, che la tua dedizione assoluta si stava incrinando; cominciai a sottrarti, a tenermi musì infiniti, che si ripercossero sulla preoccupazione di tuo padre.

Quando cominciai a lanciarmi segni di allerta con quelle domande sporadiche su “questa amicizia” che faceva tanto penare la sua ragazza fragile, stabilii la fine di Elena.

Lo feci nell'unico modo consono al mio nuovo essere; senza franchezza né spiegazioni, mi resi introvabile.

Elena capì, come aveva sempre fatto. Sapeva prevedere le mie reazioni, sapeva riconoscere il mio stato d'animo da un “ciao!”, sapeva sempre spronarmi con forza ma poi accettare le mie scelte. Lo fece anche in questo caso; senza forzare troppo la mia insulsa rinuncia, mi lasciò andare.

Le avessi concesso l'ultima parola sarebbe stata: “Te l'avevo detto scemo!”.

сестра, с первого года в лицее. Но ни разу твоя инфантильность не позволила тебе промолчать в нужный момент.

Меня до сих пор коробит при воспоминании о том, как на презентации ее последней книги, когда предложили задавать вопросы автору, ты – разумеется, не прочитав книгу, – осмелилась поднять руку и спросить, не являются ли «герои... забыла, как их зовут... ах да, Лоренца и Маттео... реально существующими Эленой и Паоло. Тебе не кажется, что книга слишком автобиографична?»

Если бы я мог сделать так, чтобы в эту минуту разверзлась земля и трещина оказалась так глубока, чтобы нельзя было услышать, как на дно ее плюхнулось твое кричащее тело, которое я столкнул туда, возможно, мне бы удалось найти взгляд Элены, который, я чувствовал на себе, требовательный, вопрошающий, и объяснить ей, что я это я, тот же, что и прежде, разве что съежился от стыда за сидящую рядом блондинку с глупыми глазами и самодовольной улыбкой, но все равно это я.

Однако после этого твоего вопроса я только потупил глаза, бессильный выдержать полный достоинства взгляд, который моя подруга, моя любимая адресовала всему миру и лично мне.

Еще несколько месяцев мы встречались с ней наедине, но твои бесконечные звонки, сцены, которые ты закатывала мне, вынуждая меня, когда становилось невозможно, выключать телефон на два-три часа, чтобы не мешал нам с Эленой, твои стратегические шпильки в присутствии родителей, начинали меня пугать. Я почувствовал, что теряю почву под ногами, что твоя безоговорочная преданность дала трещину: ты стала отдаляться от меня, без конца дулась, давая своему отцу повод для беспокойства.

So di aver confessato la mia colpa come davanti a un sacerdote; con l'ultimo cinismo di chi sa che presto sarà assolto.

Da parte mia, Lavinia, io ti ho già assolta; dalla tua nascita fortunata, dalla tua lontananza dal vero, dalla tua impossibilità a comprendere il danno che stiamo per farci.

E ora assolvo me stesso da questa paura della solitudine che brama aspettando il mio: "Sì!".

Sì, lo voglio!

Voglio non dover più chiedere permesso.

Voglio un nome che non debba urlare per farsi ricordare.

Voglio la pace di sguardi pagati.

E d'ora in poi voglio sonni lunghi e opachi, senza sogni.

Addio, Paolo.

A domani, Lavinia.

Когда проявлением признаков тревоги стали его спорадические вопросы об «этой дружбе», которая так заставляла страдать его бедную девочку, я решил, что отношения с Эленой пора заканчивать.

Сделать это я мог единственным подходящим для моей новой жизни способом: трусливо, без объяснений исчез.

Элена, как всегда, все поняла. Она могла предугадать мои реакции, она могла понять мое настроение, услышав: «Привет!». Она всегда могла убедить меня в чем-то, но потом согласиться с моим решением. Она сделала то же самое и в этом случае – отпустила меня, приняв эту бессмысленную жертву.

Я признал свою вину, как на исповеди, и сделал это с исключительным цинизмом человека, уверенного, что скоро будет прощен.

Со своей стороны, я тебя уже простил: простил тебе твоё удачное рождение, твою неистребимую фальшь, твою неспособность понять, какой вред мы причиняем друг другу.

А теперь прощаю себе свой страх перед одиночеством, который жаждет услышать мое «Да».

Да, хочу.

Хочу больше не спрашивать разрешения.

Хочу имени, которое не должно громко напоминать о себе, чтобы его запомнили.

Хочу спокойного безразличия оплаченных взглядов.

И с этой минуты хочу долгих часов сна, крепкого и спокойного.

Прощай, Паоло.

До завтра, Лавиния.

Biografia

Alice Malerba, nata nel 1982, è laureata in Discipline dell'Arte Musica e Spettacolo dell'Università di Torino, con una tesi sul “Tarantismo attraverso il cinema di Edoardo Winspeare”. Ha lavorato per diversi anni come attrice e formatrice nella Compagnia teatrale per l'infanzia Stilema Unoteatro di Torino.

Биография

Аличе Малерба (1982) окончила факультет Искусства, музыки и кино университета г. Турина. Ее дипломная работа посвящена анализу «Хорея сквозь призму кино Эдоардо Уинспер». Много лет работала актрисой и педагогом в детском театральном обществе «Стилема Унотеатро» в г. Турине.

Nota critica

In *Mea culpa* il soggetto narrante è un uomo alla vigilia del matrimonio. Scrive rivolgendosi idealmente alla sua futura sposa confessando il proprio lato oscuro, e mettendo spietatamente in evidenza le zone d'ombra del loro rapporto, l'incompatibilità tra i loro caratteri. Questa confessione è segnata dalla propria consapevolezza di aver tutto sacrificato al desiderio di entrare a far parte del mondo borghese al quale lei appartiene. Una confessione, peraltro, a cui non seguirà la decisione di interrompere il rapporto, ma la consapevole accettazione di un destino di sofferenza in nome di una promozione sociale programmata a tavolino. Alice Malerba racconta il movimento di trasformazione verso il basso di chi tutto sacrifica al benessere materiale. Ogni parola di questo personaggio – che non esita a sacrificare al suo scopo persino la propria migliore amica – sembra fondarsi sulla convinzione che, non essendoci nella vita alcuna salvezza, la cosa migliore sia barattare l'integrità del proprio io con la ricchezza. Emerge in *Mea culpa* una figura che, attraverso la viltà, le rinunce, i compromessi, si vota alla disfatta. L'autrice ci indica la frantumabilità della condizione umana quando questa si vota unicamente al raggiungimento del benessere materiale. È un lento e inesorabile declino quello che viene qui tracciato. Non c'è spazio per la speranza. Viene messo in scena un concentrato di pessimismo che avvelena tutti i giovanili ideali, in questo caso rappresentati dal collettivo studentesco, le riunioni di partito, le cene solidali. Gli ideali del passato sono barattati con una futura ricchezza. Siamo liberi, ci assicura Alice Malerba, ma al tempo stesso siamo prigionieri dell'angusta cella della nostra ambizione, a cui siamo sempre pronti a sacrificare la nostra libertà, la nostra anima. “Addio, Paolo” scrive alla fine il protagonista. Ed è un addio al proprio nome: un addio alla propria identità.

Flavio Ermini

Отзыв о рассказе

Рассказ «Mea culpa» написан от лица молодого человека, собирающегося жениться. Накануне свадьбы он мысленно обращается к невесте, раскрывает перед ней темные стороны своей души, безжалостно освещает их отношения, в которых многое остается в тени, подчеркивает, насколько несовместимы их характеры. Исповедуясь перед будущей женой, он не скрывает, что всем пожертвовал ради того, чтобы стать частью буржуазного мира – ее мира. Впрочем, исповедь вовсе не говорит о стремлении разорвать отношения: наоборот, герой осознанно принимает свою судьбу, готов пострадать ради того, чтобы сделать заранее спланированный шаг вверх по социальной лестнице. Аличе Малерба рассказывает, как низко может пасть тот, кто готов всем пожертвовать ради материального благополучия. В «Mea culpa» перед нами возникает образ человека, который, подличая, предавая друзей, соглашаясь на компромисс, постепенно приходит к полному краху. Автор убедительно показывает, насколько хрупко человеческое существование, когда его единственная цель – достижение материального благополучия. Читатель наблюдает картину медленного, неумолимого падения. Надежде места не осталось. Перед нами, словно на сцене, возникает фигура, олицетворяющая пессимизм, который смертельным ядом погубил все идеалы молодости: ее символы – студенческий коллектив, партийные собрания, ужин с друзьями. Все это герой променял на будущее богатство. Мы свободны, – предостерегает Аличе Малерба, – но в то же время мы – пленники, запертые в тесной камере наших амбиций, ради которых мы готовы пожертвовать своей свободой и даже своей душой. «Прощай, Паоло!» – завершает свое письмо главный герой. Это прощание с собственным именем, прощание с самим собой.

Флавио Эрмини

Alessandro Metlica

Traduzione in russo di Anastasija Golubcova

Алессандро Метлика

Перевод Анастасии Голубцовой

IL BEL PAESE LÀ DOVE IL SÌ SUONA

La biblioteca stava su: per miracolo. Sedici anni di restauri e la catastrofe si rimandava ancora, giorno per giorno. Intendiamoci: nessuno tratteneva il respiro, tanto meno chi scrive. Come sempre, in Italia, il crollo di palazzo Bencede avrebbe inondato la cronaca con le tinte troppo marcate del finto scoop. Ma la cosa, per Dio, avrebbe regalato un'ora d'aria alla limacciosa routine degli anni Zero; a forza di parlare di decadenza, ci si era rotti le pal-
le, di questa rovina sempre prossima a venire, ma che non arrivava mai; e la biblioteca del Bencede, se non altro, avrebbe fatto da antipasto.

Nei trafiletti dei giornali locali già si parlava di “situazione che va facendosi insostenibile”. Ci mettevano del pepe, è ovvio, con quel gerundio infingardo, visto che da sedici anni, a sorreggere le colonne di marmo che si erano scoperte cave il giorno dopo la perizia statica, ci pensava la giungla delle impalcature, avviticchiate fino al soffitto in una ramaglia convulsa, di legno e d'acciaio. Ti saresti fatto largo a colpi di sciabola, tra i cartelli “Lavori in corso” in procinto di planare sulla tua testa come uccelli esotici; e le pertiche intanto ti mordevano le caviglie, senza il minimo *fair play*. S'incespicava pure in passerelle dalle assi malferme, le fauci aperte come coccodrilli, che reggevano, a loro volta, lo scheletro dei tubi di metallo.

Di spazio per i libri non ce n'era da tempo. Dapprima li avevano impilati in enormi librerie rasenti il muro, che ora sfioravano i ponteggi; li avevano stipati poi nelle sale piccole, incastrando gli scaffali a zig zag a costo di levare,

ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ КРАЙ, ГДЕ РАЗДАЕТСЯ SÌ

Каким-то чудом библиотека до сих пор не рухнула. Шестнадцать лет реставрации – а катастрофа все откладывалась, изо дня в день. Не подумайте, никто бы не удивился, тем более тот, кто пишет эти строки. Если бы палаццо Бенчеде рухнул, местные газеты тут же запестрели бы «сенсационными» новостями. Но все-таки это был бы глоток свежего воздуха среди застоя и однообразия «нулевых» годов. Всем уже до смерти надоели разговоры о безвременье, о неизбежном упадке, который должен был вот-вот наступить, но никак не наступал; библиотека Бенчеде, по крайней мере, послужила бы предвестием грядущего краха.

В газетных заметках уже писали о том, что «ситуация становится критической». Конечно, этим вялым «становится» они пытались приукрасить дело, ведь уже шестнадцать лет мраморные колонны (полые, как выяснилось на следующий день после технической экспертизы) поддерживала целая чаща строительных лесов, поднимавшихся до самой крыши – густое переплетение ветвей из стали и дерева. Сквозь эти джунгли пришлось бы прорубаться с мачете в руках среди табличек «Ремонтные работы», готовых спланировать тебе на голову, словно экзотические птицы; а столбы тем временем бессовестно норовили схватить тебя за лодыжку. Под ногами угрожающе шатались деревянные мостки, щели между досками напоминали распахнутые крокодильи пасти. Над ними возвышались скелеты металлических труб. Места для книг уже давно не осталось. Сначала их сложили в огромные стел-

man mano, i tavoli di lettura; ammonticchiati, infine, per dritto e per storto, erigendo nuove pericolanti strutture negli angoli bui. Quindi erano venuti i depositi: all'inizio nel piano interrato del palazzo, tra scansie semoventi che parevano macchine da tortura medievali, a sentire le grida d'orrore che, di tanto in tanto, squarciavano le stanze ingombre di riviste, quando un ordinario finiva torchiato da un laureando in ritardo con le note a piè di pagina; in seguito un po' dove capitava, di là, di qua, di su, di giù. Soltanto la *Peregrinatio Meridianorum*, alla fine di una diaspora durata quindici anni, era scampata all'esilio, e i tomi erano tornati al prestito dopo tre generazioni di studenti.

Quando gli studenti delle ultime tre generazioni, che ormai si erano fatti uomini – per lo più precari e frustrati, insegnanti supplenti al liceo tecnico o portieri di notte – quando, dicevo, gli amanti traditi scorgevano da lungi le vetrate della biblioteca, allora si alzavano sui pedali – la macchina, di giorno, serviva ai genitori – e stringendo il pugno sino a farlo viola mormoravano tra i denti la loro maledizione. Il governo era lì lì per cadere? E a che pro? Altro giro, altra corsa: le stesse facce avrebbero promesso loro lo stesso posto sottopagato, verso i quarant'anni. Cadesse almeno il Bencede!... Franasasse, sprofondasse con le sue boiate umanistiche fuori tempo massimo!... Ci volevano ballare nudi, sulle macerie, in un rito apotropaico.

Poi c'erano i cazzoni che s'iscrivevano, adesso, a Lettere, i Bimbi-minchia che attaccavano la mitraglia degli sms ancora prima di scavalcare i sacchi di sabbia all'ingresso, e intanto monitoravano le tipe di mediazione linguistica, in shorts e stivali flosci di velluto, sedute ai tavoli di lettura. Loro

лажи вдоль стен – теперь они доставали до строительных лесов; потом эти стеллажи втиснули, расставив зигзагом, в маленькие читальные залы, постепенно вынося оттуда столы; и наконец, начали громоздить их как попало, возводя в темных углах все новые ненадежные конструкции. Затем пришла очередь хранилищ: сначала они оказались в подвальном помещении, среди шкафов на колесиках, которые напоминали средневековые пыточные орудия, особенно в сочетании с криками ужаса, то и дело разрывавшими тишину заваленных журналами комнат, когда какой-нибудь незадачливый библиотекарь попадал в руки к студенту, не успевающему к сроку расставить сноски в дипломной работе. А потом уже всё сваливали, где придется, то здесь, то там. Только *Peregrinatio Meridianorum*, после пятнадцати лет странствий по рукам трех поколений студентов, все-таки избежал изгнания, и потрепанные тома вернулись на свое место.

Студенты этих трех поколений выросли и стали мужчинами; большинство из них уже успели разочароваться в жизни, устав от бесплодных поисков постоянной работы: им приходилось довольствоваться местом временного преподавателя в техническом лицее, а то и вовсе ночного сторожа. Так вот, эти обманутые любовники, едва заведя издали окна библиотеки, приподнимались на педалях (машиной днем пользовались родители) и до синевы сжимали кулаки, бормоча сквозь зубы проклятия.

Правительство вот-вот рухнет? А что толку? Все равно ничего не изменится: те же самые лица будут обещать им ту же самую малооплачиваемую должность годам к сорока. Пусть бы хоть Бенчеде рухнул!... Рассыпался, провалился сквозь землю вместе со своими гуманистическими сказочками!... Они

neanche se lo sognavano, che il Bencede fosse un gioiello del dorato crepuscolo della Serenissima: a forza di fissare gli stivali e gli shorts argento glitter, non avevano mai alzato lo sguardo sugli stucchi, sulle ghirlande di fiori e frutta, sulle brutte copie del Piranesi che, per fortuna, la calce aveva ingoiato, sulle impalcature rabberciate che da sedici anni oscuravano la volta del salone, grandiosamente affrescata da Girolamo Bendidio con una profetica *Caduta dei Giganti*.

Io, per me, mica gli davo torto ai Bimbi-minchia. Ma se il conte Giovan Francesco Bencede, giurista di fama e di pretese mal riposte, l'avesse visto ora il suo palazzo! Alla prima visita dell'Algarotti se n'era pure vantato, di quel salone da ballo che un Giambattista qualsiasi, sopraelevando il corpo centrale di un piano o due, gli aveva ricavato per i festini; l'avrebbe affrescato, assicurava al *cher cygne de Padoue*, stipendiando un artista di grido... E l'Algarotti che, a squadrare quel capoccione in bilico sulle gambette quattrocentesche, avrebbe potuto citare qualche pagina acre del suo *Sopra l'architettura*, preferì dar retta al proprio tatto mondano e fece di sì con la testa.

“Voi sapete, del resto, che da bravo illuminista” disse però, mentre già aveva un piede in carrozza “io ho scritto un poco di tutto, ivi compresa l'iconografia; mi permetterei dunque, se gradite il consiglio disinteressato di un uomo di mondo, di caldeggiare il soggetto: credo che nulla sarebbe più adatto, e al palazzo e al salone, di una cosa alla Giulio Romano...”

Da questa leggenda, tanto evocativa quanto filologicamente scorretta, i Giovani di palazzo Bencede avevano ricavato il motto: “Porco Algarotti!”,

мечтали прийти на его руины и голышом сплясать на них ритуальный танец. И ведь до сих пор находились идиоты, которые поступали на филологический факультет – мелкие придурки, начинавшие слать SMC-ки со скоростью пулемета, еще даже не успев перелезть через мешки с песком, сваленные у входа. При этом они не забывали внимательно оглядывать читальный зал, выслеживая за столами цыпочек с переводческого, в шортах и мягких замшевых сапогах. Они и не подозревали, что Бенчеде – это жемчужина архитектуры времен блестящего заката Венецианской республики. Рассматривая сапоги и шорты с блестками, они никогда не поднимали глаза к лепнине, к гирляндам из цветов и фруктов, к плохим копиям Пиранези, уже, к счастью, скрытым под слоем известки, к сколоченным на скорую руку строительным лесам, которые уже шестнадцать лет заслоняли сводчатый потолок зала, украшенный внушительной и пророческой фреской Джироламо Бендиди *Низвержение гигантов*. Я лично ничего не имею против этих мелких придурков. Но видел бы сейчас граф Джован Франческо Бенчеде, знаменитый и недооцененный юрист, что случилось с его дворцом! При первом визите Альгаротти он даже хвастался им – этим бальным залом для своих маленьких праздников, которым он был обязан стараниям Джамбаттисты какого-то (тот надстроил над центральным корпусом один или два этажа). Граф даже собирался нанять известного художника, чтобы расписать его – так он уверял *cher cygne de Padoue*... А Альгаротти при виде этой несуразной громады на тонких ножках пятнадцатого века мог бы процитировать несколько ехидных строчек из своей книги *Об архитектуре*, но, не желая нарушать светские приличия, только кивнул головой. Однако, уже поставив ногу на подножку кареты, он добавил: «Вы знаете,

da pronunciare a mezza voce ogni volta che, alzandosi dagli scaffali più bassi, la zucca impattava la pertica sovrastante. Ma gli Anziani, che non avevano tempo da perdere in simili fandonie eziologiche, facevano risalire il crollo del Bencede a cause di più fresca data. Loro se lo ricordavano, eccome, l'architetto Gentiloni, con quel toscanello spento serrato tra i denti. Avanzava, circondato da una schiera di paggi androgini, come un tacchino col suo pigolio di stelle. A forza di correre e ispezionare e prendere misure a caso ti facevano credere, quei botoli, che si desse da fare pure lui. Però poi, a metterlo a fuoco, gli vedevi addosso la stessa camicia, che contro ogni legge della fisica riusciva a ficcare ogni mattina nei pantaloni, macchiata di caffè sul davanti e di sudore nei vasti arcipelaghi sotto le ascelle, dove erano le voglie più antiche, già bianco-sale, a fare da isole. La cenere del toscanello gli cadeva più che altro sugli occhiali, che il Gentiloni teneva appesi all'ultimo bottone della camicia. Mai che li avesse messi una volta, quegli occhiali; e si era visto.

A quei tempi in città il Gentiloni lo conoscevano tutti. Teneva lo studio in Riviera da Nono, tra il bar del Gianni e la caserma Piave: i penati l'avevano voluto giusto in quel punto, il palazzo di famiglia, poco più in là dell'incrocio tra cardo e decumano dell'*oppidum*. Dava su due strade, con una facciata barocca per ciascuna. La prima si affacciava direttamente sulle nutrie del fiume; la seconda, più sfaccettata sul piano figurativo, zeppa di fregi interrotti e frontoni spezzati, su un altro palazzo del periodo veneziano, al piano terra del quale stava, da tempo immemore, il bar di Gianni-picchiarumeni.

что как истинный просветитель я писал обо всем понемногу, в том числе и о живописи; поэтому, если вы не против выслушать бескорыстный совет опытного человека, я позволю себе продолжить тему: думаю, для дворца и зала лучше всего подойдет что-нибудь в духе Джулио Романо...»

Этой легенде, впечатляющей, хоть и неверной с филологической точки зрения, младшие библиотекари обязаны фразочкой «чертов Альгаротти!», которую они бормотали вполголоса всякий раз, стукнувшись башкой о нависающую над стеллажом палку. Но старшие библиотекари, у которых не было времени на подобные этимологические глупости, объясняли крах Бенчеде менее давними причинами. Они-то прекрасно помнили его – знаменитого архитектора Джентилони, вечно ходившего с погасшей сигарой в зубах. Он шествовал важно, словно индюк, звеня шпорами, окруженный свитой прислужников непонятного пола. Поскольку эти моськи постоянно сновали туда-сюда, что-то осматривали и измеряли, казалось, что он тоже занят делом. Однако, приглядевшись, можно было заметить, что на нем все время одна и та же рубашка, которую он, против всех законов физики, умудрялся каждое утро заправлять в штаны. Спереди она была заляпана кофе, а подмышками собирались в обширные архипелаги застарелые, белесые пятна пота. Пепел от сигары падал, по большей части, на очки, которые свисали с ворота рубашки Джентилони. Он их ни разу не надевал, это было видно.

В то время Джентилони в городе знали все. У него была студия на Ривьере да Ноно, между баром «У Джанни» и казармой Пьяве. Боги-пенаты правильно выбрали место для родового палаццо, сразу за перекрестком кардо и декуманума, почти в центре древнего оппидума. Дом выходил своими бароч-

Quel giorno d'autunno dei mitici anni Ottanta, al solito, il Gianni preparava i suoi tramezzini con la porchetta, che celeberrimi già allora tra gli intenditori sarebbero finiti, nell'epoca più recente del turismo di massa, sulle pagine a cinque stelle della Routard. All'epoca il Gianni non alzava mica gli occhi dalla senape: la sua bicicletta, addossata all'edicola di fronte, era oggetto di culto nel quartiere, né avresti trovato un teppista disposto a sfiorare la reliquia. Si vociferava, nei coni d'ombra offerti dai portici, di certe sue salite sui Colli Euganei, di certe sue imprese in solitaria che erano, a detta di molti, una sfida col diavolo o con Dio; e quando uno dei quattro alzava la voce, mescolando il mazzo, per un mezzo litro di bianco che non arrivava, il cipiglio del Gianni, più ancora della gigantografia di Bartali incorniciata dietro al bancone, faceva calare il silenzio nel bar.

Quel giorno, dunque, quando un'ombra si disegnò sulla vetrina, Gianni stava a farsi i fatti suoi, o per meglio dire i suoi tramezzini. Più tardi aspettava l'Architetto, per il proscellino che quello era solito concedersi dopo le consulenze; e vedendosi strappato in anticipo alla senape, sollevò indispettito un occhio solo, senza smettere con ciò di ingozzare il pan bianco. Dietro la vetrina un uomo in divisa, di stazza più che generosa, si pettinava un baffone *démodé* tra pollice e medio, e intanto cercava di scrutare controluce l'interno del locale.

“Salve, Generale. Qualche problema?” fece Gianni dal bancone.

Il generale di corpo d'armata Luigi Mirandola si decise a spingere la porta. Entrando tirò un sospiro poderoso, come ad annunciare i suoi grattacapi. Neppure Pavarotti avrebbe saputo esibire la monumentalità con cui, accen-

ными фасадами сразу на две улицы: первым – на реку с нутриями, вторым, более причудливо украшенным, с расколотыми фризами и выщербленными фронтонами – на другое палаццо периода Венецианской республики, в первом этаже которого с незапамятных времен был бар Джанни-бей-румын. В тот осенний день, в далекие восьмидесятые годы, Джанни, как обычно, готовил бутерброды-трамедзини со свининой. Они уже тогда пользовались известностью среди знатоков, а позже, в эпоху массового туризма, вполне могли бы получить пять звезд на страницах путеводителей «Рутар». В то время Джанни мог вообще не поднимать глаз от своих трамедзини: его велосипед, привязанный к столбу возле ларька напротив, считался в квартале священным. Едва ли хоть один хулиган решился бы дотронуться до этой реликвии. В конусообразной тени портиков рассказывали, как хозяин велосипеда в одиночестве поднимался на Эвганейские холмы – многие верили, что это был вызов то ли богу, то ли дьяволу. И когда кто-то из посетителей повышал голос и начинал ворчать, мол, когда уже ему принесут пол-литра белого, Джанни стоило только нахмуриться – еще грознее, чем Бартали на огромной фотографии, висевшей на стене за стойкой – и в баре воцарялось молчание. Итак, в тот день, когда за стеклами бара появился чей-то силуэт, Джанни занимался своими делами, точнее, своими трамедзини. Позже должен был зайти архитектор – обычно после консультаций он позволял себе стаканчик просекко. Заметив, что его раньше времени отрывают от любимого дела, Джанни раздраженно поднял один глаз, не прекращая укладывать свинину между кусками белого хлеба. За стеклом стоял мужчина в форме, более чем внушительных габаритов, под-

nato un rapido saluto sulla visiera, si trascinò barcollando sino al bancone, per poi stramazzone col fiato corto sul primo sgabello.

“Salve, Gianni... i problemi... eh, i problemi!... un tramezzino... una birretta... se non ti dispiace...”

Soltanto dopo aver tracannato metà della birra il Mirandola – ma una felice intuizione del tenente Coppo, complici i gran mustacchi e il *Lebensraum* della cintola, l’aveva ribattezzato Bismarck-dei-poveri – sembrò capace di articolare un pensiero coerente. Cercava il Gentiloni “che, come sai, è un amico prima che il marito di mia sorella”; doveva parlarci a proposito di “certe noie burocratiche”, di quelle che “solo in Italia”; un Paese, su questo sarà stato d’accordo anche il Gianni, “in cui ci vorrebbe più ordine... che con Mussolini, errori strategici a parte, i treni arrivavano in orario...”

“Funzionalità!” Lo ripeteva anche agli accolti del giovedì, mentre quelli s’ingolfavano di arrosto nella sua villa di Teolo. “Funzionalità!... Rigore!... Non ho mai chiesto, in fondo, che due cose messe in croce. E ci hanno schiaffati al Bencede!... Una chincaglieria veneziana!... Bella, eh, per carità, ma senza un ascensore...” Il Generale fu percorso da un brivido, a figurarsi lo scalone inutilmente ricolmo di statue e gradini, che quando ci arrivava, in cima, aveva il respiro in tumulto e la pancia che sobbalzava alla rumba spietata del cuore. Luigi Mirandola detto Bismarck-dei-poveri le avrebbe fatte buttare giù, quelle colonne di marmo rosa che trovavi all’ingresso, in tinta con la folla di uomini nudi pitturati sul soffitto.

Dal ’79 palazzo Bencede era sede del Comando interregionale dei Carabinieri Vittorio Veneto. L’ultimo erede del Conte, tal Agostino Bencede – che

кручивая большим и средним пальцами старомодные усы, и рассматривал против света помещение бара.

«Здравствуйте, генерал. Что-то случилось?» – спросил Джанни из-за стойки. Генерал армейского корпуса Луиджи Мирандола наконец решился и толкнул дверь. Войдя, он испустил мощный вздох, словно заранее объявляя о своих невзгодах, приветственно вскинул руку к козырьку, потом с монументальностью, которой позавидовал бы сам Паваротти, пошатываясь, направился к стойке и, задыхаясь, рухнул на первый же табурет.

«Здравствуй, Джанни... случилось... да, случилось!... пивка бы... и трамедзино... если тебе не трудно...»

Только выхлебав полбокала пива, Мирандола – за его выдающиеся усы и внушительное «жизненное пространство» брюха лейтенант Коппа удачно окрестил его «Бисмарком для бедных» – сумел высказать связную мысль. Он искал Джентилони, который, «как ты знаешь, не только муж моей сестры, но и мой друг». Генерал хотел поговорить с ним о «кое-каких бюрократических формальностях», из тех, что встречаются «только в Италии»: в стране (Джанни, наверное, тоже с этим согласится) «надо бы навести порядок... при Муссолини, несмотря на все стратегические ошибки, поезда все-таки ходили по расписанию...»

«Эффективность!» То же самое он повторял по четвергам своим холоуям на вилле в Теоло, пока те готовили жаркое. «Эффективность!... Строгость!... В конце концов, я никогда ничего особенного не требовал. И только подумать, нас законопатили в Бенчеде!... Эта венецианская ерундовина!... Красивая, конечно, но без лифта...» Генерала передернуло, когда он представил себе

nella decade precedente aveva infiammato i rotocalchi delle Tre Venezie per alcune scampagnate notturne, di gusto felliniano, tra i ruderi delle sue ville sul Brenta –, si era dimostrato tanto ligio alle tradizioni aristocratiche da sviluppare via via una schizofrenia compulsiva, così che lo Stato si era accaparrato il palazzo per una pipa di tabacco; e visto che neppure i carabinieri, cui il Bencede era stato subito girato, intendevano sfatare gli stereotipi nazionali, senza perizia né restauri né polizze assicurative ci si erano installati in pompa magna, stipando il salone di archivi, macchine da scrivere e scrivanie di mogano. Ogni tanto, è vero, rumori sospetti provenivano dalle pareti, come di un polpo dalle grosse ventose: “Pop! Pop!”, che si spostasse invisibile di stanza in stanza; certi scricchiolii del pavimento, sotto il parquet infangato da quella moltitudine di scarpe basse e nere, ricordavano i ciocchi troppo secchi gettati nel fuoco; fino ad allora, però, nulla aveva fatto temere il peggio.

“Caro Generale!... A che devo il piacere?”

Il Gentiloni spinse a sua volta la porta del bar. All’epoca il Mirandola gli dava una ventina di chili, ma a vedergli l’ultimo bottone della camicia, in sovrumana tensione sopra la patta, l’Architetto rasentava anche lui la grande obesità. La barba pepe e sale gli donava un che di serio, ma sarebbero bastati i tratti così veneti del viso, gli occhietti aguzzi e lucidi, gli zigomi affilati a dispetto delle gonfie ganasce, per capire che te la voleva mettere in culo alla prima occasione.

“Carissimo Architetto!... Come sta? Il piacere è mio, come ora vado a spiegarle...”

парадную лестницу с кучей бесполезных статуй и ступенек – добравшись до верху, он каждый раз не мог отдышаться, а его живот ходил ходуном в такт ударам сердца, стучавшего в бешеном ритме румбы. Луиджи Мирандола по прозвищу «Бисмарк для бедных» охотно приказал бы снести и колонны у входа, те, из розового мрамора в тон картине с толпой голых людей на потолке. С 1979 года в палаццо Бенчеде располагался межобластной штаб карабинеров Витторио Венето. Последним наследником старого графа был некий Агостино Бенчеде, чьи ночные прогулки в духе Феллини по руинам собственных вилл на берегах Бренты в прежние времена не раз становились главной новостью в газетах северо-восточной Италии. На почве чрезмерной приверженности аристократическим традициям у него в конце концов началась шизофрения, и государство выкупило палаццо за гроши. Здание сразу же передали карабинерам. Они отнюдь не собирались разрушать национальные стереотипы, и сразу же, без какой бы то ни было экспертизы, реставрации или страхования, с большой помпой устроились там, забив главный зал архивами, пишущими машинками и столами из красного дерева. Правда, стены время от времени издавали подозрительные звуки – «Чпок! Чпок!» – словно по комнатам ползал невидимый осьминог с огромными присосками. Да и полы под паркетом, истоптанным десятками черных ботинок, порой потрескивали, как сухие дрова в камине. Однако до сих пор серьезных причин для беспокойства не было.

«Дорогой генерал!... Чем обязан?»

Джентилони в свой черед толкнул дверь бара. В то время он весил килограмм на двадцать меньше Мирандолы, но по тому, с каким нечеловеческим

I due pachidermi si strinsero la mano in un vicendevole moto di stima, mentre Gianni, recapitato il proscellino sul bancone, tornava alla sua sospirata porchetta.

“Margherita ne parlava giusto ieri sera... La invitiamo a cena troppo di rado. Ma lo sa, Generale, come sono queste donne, con le loro paturne! Per proporre propongono, ma quando gli si chiede, che ne so, un tacchino, un arrosto per dare... diciamo, per dar corpo all'invito...”

“Lasci stare!... Bravo lei a trattarci, con quella lì. Io, ormai, con la Gina ci rinuncio: preferirei fare vita da scapolo...”

“Eh! In forma come la trovo, in barba all'età, neanche sarebbe strano.”

“La forma!... L'età!...” gorgheggiò mozartianamente il Mirandola mentre portava la mano al coccige. Poi riprese, aggrottando le sopracciglia: “Magari!... Ma bando ai convenevoli... Mi perdonerà, spero, se passo subito al dunque.”

“Ma prego, prego” fece il Gentiloni, incrociando le gambe sullo sgabello. Il Generale gettò un'occhiata dalla parte della vetrina, e un'altra dalla parte del Gianni che però, preso com'era dai suoi tramezzini, non gli badava proprio. Soltanto allora, serrato l'Architetto da presso, dopo aver atteso che gli sgabelli riguadagnassero il loro precario equilibrio, sussurrò all'orecchio del Gentiloni di come, un paio d'ore prima, il tenente Coppo avesse assistito alla nascita di una fenditura sul muro est del Bencede: rabescando in lungo la parete, la crepa si era fatta strada sino all'architrave, dove aveva concluso la sua serpentina in una pioggia di stucco. La cosa era finita lì; nella sala c'era chi andava e veniva, ma solo il tenente Coppo – al momento

напряжением держалась последняя пуговица его рубашки, было заметно, что архитектор тоже не отличается стройностью. Борода с проседью придавала ему серьезный вид, но достаточно было взглянуть на его типично венецианские черты лица – хитро поблескивающие маленькие глазки, пухлые щеки и, несмотря на это, острые скулы – и сразу становилось понятно, что он облапошит тебя при первой возможности.

«Дражайший архитектор!... Как поживаете? Я как раз хотел сказать, что тоже очень рад вас видеть...»

Два толстяка пожали друг другу руки в знак обоюдного почтения, а Джанни, поставив на стойку бара бокал просекко, вернулся к своей обожаемой свинине.

«Маргерита вчера вечером правильно заметила... Мы слишком редко приглашаем вас на ужин. Но вы же знаете женщин, генерал, у них всегда найдутся отговорки! Предлагать – то они предлагают, но если попросишь их приготовить, не знаю, индюшку, или жаркое, чтобы... ну, чтобы приглашать не просто так...»

«Бросьте! Вы молодец, что до сих пор с ней не расстались. А я вот с Джинной больше не могу: лучше бы жил холостяком...»

«Ну... Вы в такой прекрасной форме, несмотря на возраст, так что никто бы и не удивился».

«Форма!... Возраст!...», – по-моцартовски пропел Мирандола, поднеся руку к копчику, и продолжил, нахмурившись: «Может быть!... Но хватит церемоний... Надеюсь, вы меня простите, если я сразу перейду к делу».

«Пожалуйста, пожалуйста», – кивнул Джентилони, закинув ногу на ногу.

del fatto, come sempre, dattiloscriveva con poco zelo un rapporto, facendo ruotare sul soffitto i suoi occhi da pesce – era stato testimone del sisma. Gli altri, più pratici delle incognite del mestiere, avevano scansato le schegge di stucco col piede.

“Ora, comprenderà certamente... nella mia posizione... Mica glielo posso far cadere in testa, questo stramaledettissimo palazzo!” e il Mirandola ingurgitò di slancio la birra.

Come ogni volta che, tra gli accoliti del giovedì, malediceva questo pantano di Nazione, per scandire le parole il Generale arricciò il naso, spazzolandosi le labbra con il baffone *démodé*. Il fatto era, confessò suo malgrado, che aveva ceduto al panico per un paio d'ore: più che altro perché, se c'era da aspettare lo Stato, stava fresco. “Dovrei pagare io, per gli altri, capisce Architetto? Io, che a me questo palazzo mi è andato di traverso ancora prima di salire le scale!” Il Mirandola si scaldava, si faceva paonazzo, sfregava invano le chiappe sullo sgabello tentando di ricomporsi. “Io, io, io!... E i generali mica crescono sugli alberi, ma cosa credono al governo?... Rammolliti!...”

L'insulto, come una dose massiccia di Vicks VapoRub, sembrò liberargli gola e polmoni, e il Mirandola tirò su profondamente col naso. Per fortuna aveva pensato “all'amico Gentiloni, cittadino stimato da chi conta, e senza macchia”. Si poteva architettare la fuga: fatti armi e bagagli, il Comando avrebbe occupato il palazzo vicino alla caserma Piave, in cui l'Università stava giusto per terminare i restauri. Che dovevano farci, degli studenti, con un parcheggio che, a suon di bici e motorini e senza mezzi corazzati, non avrebbero riempito neanche a volerlo? Il Bencede non sarebbe andato

Генерал бросил взгляд на улицу перед баром, потом на Джанни, который был занят своими трамедзини и не обращал на них внимания. Только после этого, подвинувшись поближе к архитектору и дождавшись, когда неустойчивые табуретки перестанут шататься, он прошептал на ухо Джентилони, что часа два назад на глазах у лейтенанта Коппо в восточной стене палаццо Бенчеде появилась трещина: извилистая расселина протянулась до потолочной балки, где завершила свой путь, осыпав пол дождем штукатурки. Этим все и кончилось; в помещении было полно народу, но свидетелем катаклизма стал только лейтенант Коппо: в тот момент он, как всегда, лениво печатал отчет, уставив в потолок свои рыбы глаза. Кто-то, более сведущий в секретах ремесла, отодвинул куски штукатурки ногой.

«Теперь вы, конечно, понимаете... в моем положении... Что, если это проклятое палаццо рухнет нам на голову?» – сказал Мирандола, единым духом допив пиво.

Чтобы подчеркнуть важность этих слов, генерал наморщил нос, подметая губы старомодными усами, как он всегда делал среди своих холуев по четвергам, ругая бестолковое правительство. Он нехотя признал, что на несколько часов поддался панике: и, в основном, потому, что если вмешаются власти, достанется, конечно, ему. «Отдуваться-то за всех буду я, понимаете, архитектор? Хотя мне это палаццо сразу не понравилось, как только я туда вошел!» Мирандола горячился, краснел, ерзал задницей по табурету, безуспешно пытаясь успокоиться. «Я, я, кто же еще!... А ведь генералы на дороге не валяются. О чем они там думают в своем правительстве?... Слунтяи!...»

Похоже, гнев подействовал на Мирандолу, как хорошая ингаляция, прочис-

a meraviglia, con lo scalone e le statue e i così romani sul soffitto? Il Generale, però, temeva che lo Stato, “sempre pronto a farsi i fatti degli altri”, gli avrebbe messo i bastoni tra le ruote; avrebbe escogitato, ne era certo, “qualche lungaggine all’italiana, così, per menare il can per l’aia”; e dal Bencede il Comando interregionale dei Carabinieri Vittorio Veneto non ne sarebbe uscito mai.

Sulla nostra città splendeva un bel sole settembrino; lo vedevi, dalle vetrine del Gianni, cadere di sbieco sui due ponti medievali, e correre di riflesso in riflesso il borgo antico. Luceva il bel Paese là dove il sì suona; brillavano, contro lo zaffiro mediterraneo del cielo, i palazzi antichi delle generazioni passate, la pietra lucida del selciato e i parapetti della vecchia riviera, le facciate scabre delle chiese, le ogive delle case veneziane e i frontoni spezzati di palazzo Gentiloni. L’Architetto, dopo aver annuito pensoso, si era fatto offrire il prosecco.

Due anni dopo, quando l’aereo che lo portava a un *meeting* argentino si era schiantato sull’Atlantico, assieme alla scatola nera fu trovata la sua valigetta, e dentro i resti di un discorso in cui, con magnanima eloquenza, l’Architetto scherniva la corruzione del sistema universitario italiano, preda di baroni senza scrupoli che, piuttosto di riconoscere i meriti del lavoro altrui, avrebbero dato del mafioso a chiunque. Aveva eseguito più di una perizia per conto dell’Università, e tutte con la massima attenzione; lui non c’entrava proprio, con quell’idiota del suo assistente che, il giorno successivo alla firma – per scrupolo di coscienza, aveva accampato, l’imbecille! – si era messo in testa di fare un carotaggio alle colonne dell’ingresso, scoprendo

тив ему горло и легкие: генерал глубоко вздохнул. Хорошо, что он обратился к «другу Джентилони, человеку безупречной репутации, который пользуется уважением всех влиятельных лиц города». Можно было бы организовать побег: собрав вещи и оружие, штаб переехал бы в палаццо рядом с казармой Пьяве – сейчас там университет, но это только до окончания реставрации. Действительно, зачем студентам такая парковка? У них же нет военной техники, а своими велосипедам и мопедами они ее при всем желании не заполнят. Вот Бенчеде им как раз подошел бы, со всеми этими огромными лестницами, статуями и древними римлянами на потолке. Однако генерал опасался, что власти, которые «всегда готовы сунуть нос в чужие дела», начнут вставлять ему палки в колеса. Наверняка «разведут канитель, как это у нас всегда бывает, просто чтобы потянуть кота за хвост», и межобластной штаб карабинеров Витторио Венето так и застрянет навсегда в Бенчеде.

Над домами светило ласковое сентябрьское солнце. Сквозь стекла бара было видно, как его лучи косо падают на два средневековых моста, яркими бликами отражаясь в окнах старого города. Сиял пленительный край, где раздается sì; на фоне сапфирового средиземноморского неба сверкали старинные дворцы ушедших поколений, блестящие камни брусчатки и парапеты старой набережной, шершавые фасады церквей, венецианские арки домов и выщербленные фронтоны палаццо Джентилони. Архитектор задумчиво кивнул и заказал еще просекко.

Два года спустя, когда самолет, в котором он летел на конгресс в Аргентину, потерпел крушение над Атлантикой, вместе с черным ящиком нашли и его портфель, а внутри – несколько листов с текстом речи. В ней архитектор

che dietro la scorza di marmo rosa, spessa quanto quella di un'arancia, non c'era che solidissimo stucco. Quello ci aveva rimesso il posto, ma lui aveva rischiato di rimetterci la faccia, per Dio. E aveva dovuto zittire quello sbarbatello del "Mattino" che, facendo rotolare una moneta per il salone, voleva dimostrargli che il pavimento era concavo! Certo che era concavo, per Dio! Altrimenti mica li avrebbe fatti mettere lungo le pareti, tutti quei tomi mangiati dai sorci, quelle dieci tonnellate di cazzate a stampa che l'avevano fatto sudare sangue!

Ricordo che durante un convegno su Dante il professor Amulio Nomeo, accademico e Linceo, aveva arrischiato una battutaccia destinata a fare scuola, inserendo l'errore del pilota tra le prove a favore dell'esistenza di Dio. Intanto, però, l'avevano schiaffato al terzo piano del Bencede, in uno studio dove un filo scoperto, rimasto all'aria quando avevano puntellato il corridoio, gli aveva incendiato gli autografi del Tommaseo.

смело и красноречиво клеймил коррупцию в итальянской системе высшего образования, оказавшейся в руках бессовестных мошенников, которые скорее назовут кого угодно преступником и бандитом, чем признают чужие заслуги. Он произвел по заказу университета не одну экспертизу, и все – с максимальной тщательностью. Не мог же он отвечать за своего идиота-помощника, которому на следующий день после подписания акта – по велению совести, как он сказал, болван! – пришлось в голову проверить колонны у входа: выяснилось, что под облицовкой из розового мрамора толщиной с апельсиновую корку был только твердый гипс. Помощнику это стоило работы, а вот архитектору, черт возьми, едва не стоило репутации. Потом еще пришлось попотеть, чтобы заткнуть этого сопляка-журналиста из «Маттино»: он, видите ли, катая по залу монетку, хотел доказать, что пол в здании просел. Конечно, он просел, черт возьми! Иначе стал бы архитектор возиться и добиваться, чтобы вдоль стен уложили все эти погрызенные мышами тома – десять тонн бумажной хренотени!

Я помню, как во время конференции по Данте профессор Амулио Номео, член академии Линчеи, позволил себе рискованную шутку, которая навеки осталась в анналах истории: он сказал, что ошибку пилота можно считать еще одним доказательством, что Бог есть. За это его сослали на четвертый этаж Бенчеде. Вскоре из-за оголенного провода – он остался торчать снаружи после того, как в коридоре поставили подпорки для стен – в кабинете профессора начался пожар, в котором погибли принадлежавшие ему рукописи Никколо Томмазо.

Biografia

Alessandro Metlica è nato a Sacile (Pordenone) nel 1985. Laureato in Letteratura e Filologia moderna all'Università di Padova, è dottorando presso la stessa Università. Ha pubblicato saggi sulle avanguardie francesi del primo Novecento e sulla poesia manierista e barocca. Agli scritti critici affianca un assiduo lavoro in ambito narrativo.

Биография

Алессандро Метлика родился в г. Сачиле (в области Порденоне) в 1985 году. Учился в Падуанском университете на филологическом факультете (отделение современной литературы). Теперь он аспирант при том же университете. Опубликовал ряд очерков о французских авангардистских течениях начала XX века, а также об особенностях поэзии маньеризма и барокко. Он не только занимается литературной критикой, но также и прозой.

Nota critica

Alessandro Metlica mette in scena uno spaccato di società malfunzionante e disattenta alle esigenze dei propri figli. Lo fa ponendo al centro del suo racconto un palazzo – “un gioiello del dorato crepuscolo della Serenissima”, ora destinato a sede universitaria – malamente ristrutturato e per di più sottoposto nel corso degli anni a una manutenzione che non ha mai guardato più in là della pura contingenza. Il tutto nell’indifferenza generale: sia da parte della classe politica sia da parte degli studenti vecchi e nuovi: i primi intenti a leccarsi le ferite inferte da una comunità che non sa offrire ai giovani altro che precariato; i secondi – i neo-iscritti – attenti solo agli sms e agli shorts delle ragazze. Il palazzo sta su “per miracolo” ed è sotto gli occhi di tutti il disagio degli studenti e dei professori. È un disagio attestato dalla “giungla delle impalcature, avviticchiate fino al soffitto in una ramaglia convulsa, di legno e acciaio”. Questo è il frutto, ci indica l’autore, di una società dedita non al benessere comune ma al denaro e al tornaconto personale. Una società in cui i giovani – anziché essere visti come una risorsa per il Paese – diventano una nullità, scambiabili e sostituibili. È una realtà fotografata con una certa ironia, con disincanto, ma anche con un grande dispiacere. L’uomo contemporaneo ha dato vita a un’organizzazione sociale che mette la scuola e il suo corpo docente all’ultimo posto dei valori. Nella sua corsa al progresso, l’Occidente ha distolto lo sguardo da quella fascia sociale – il corpo insegnante – preposta alla crescita dei nostri figli, per orientarli con successo nella vita. Tutti vediamo quanto l’uomo d’oggi sia abile nell’innalzare capannoni industriali, ma incapace di edificare una chiesa o una scuola. Si è così aperta una frattura, ci segnala con amarezza Metlica, fra l’*homo faber* e l’*homo sapiens*, fra ciò che l’uomo può fare e la sua capacità di valutare ciò che è *ragionevole* fare.

Flavio Ermini

Отзыв о рассказе

Алессандро Метлика показывает нам разрез общества, не справляющегося со своими задачами и не внимательного к нуждам молодого поколения. В центре рассказа – старинное палаццо, «жемчужина архитектуры времен блестящего заката Венецианской республики». Теперь здесь размещается университет, хотя палаццо много лет практически не ремонтировали и кое-как приспособили под библиотеку. Никому нет до него дела – ни властям, ни студентам. Выпускники заняты тем, что зализывают раны, нанесенные обществом, которое способно предложить им только временную работу, новички сосредоточенно строчат SMS-ки и разглядывают девиц в шортах. Палаццо держится «чудом», ни для кого не секрет, в каком бедственном положении находятся преподаватели и студенты. Красноречивее всех слов о нем говорит «целая чаща строительных лесов, поднимавшихся до самой крыши – густое переплетение ветвей из стали и дерева». Таковы плоды, которые пожинает общество, стремящееся не к достижению всеобщего благополучия, а к богатству и личной выгоде, – делает вывод автор. Общество, в котором молодежь – не ресурс, определяющий будущее страны, а пустое место: незаменимых нет, сгодится всякий, не один – так другой. В погоне за прогрессом Запад отвернулся от целого социального слоя – от педагогов, которые должны воспитывать наших детей, указывать им ориентиры, чтобы те добились успеха в жизни. Мы видим, насколько умело современный человек возводит промышленные предприятия, но при этом он не в состоянии построить церковь или школу. С горькими чувством Метлика показывает нам пропасть, разделяющую *homo faber* и *homo sapiens* – пропасть между тем, что человек способен создать, и его способностью оценить, что было бы разумно создать.

Флавио Эрмини

Leandro Miglio

Traduzione in russo di Anna Fedorova

Леандро Мильо

Перевод Анны Федоровой

IL GUSCIO DELLA TARTARUGA

I colori sono un po' sbiaditi, hanno assunto oggi svariate tonalità di marrone. In origine dovevano essere colori come giallo alternato al marrone chiaro e punte di nero. La parte superiore è composta da esagoni irregolari; in fondo, quasi a delimitare questa parte, forme rettangolari poste verticalmente, di tonalità più scura. La parte inferiore è di colore più chiaro, meno sbiadito e con dieci macchie nere, grandi e piccole, al centro di trapezi irregolari delimitati da scanalature del guscio. Il suo stato di conservazione è perfetto esternamente, a parte qualche ammaccatura qua e là, dove una parte del guscio è come scrostata, chissà quante volte sarà caduto dalle varie mani che l'hanno toccato. Internamente il colore è bianco sporco, quasi grigio, liscio al tatto.

Ora se ne sta lì, poggiato sul comodino... ha un sacco di anni e non li dimostra. Chi lo custodisce ora, lo fa molto gelosamente, e per il ricordo che si porta e per la storia che può raccontare.

Purtroppo, l'animale che abitava questo guscio non ha fatto una bella fine. È stato mangiato da un soldato italiano, per fame, mentre si trovava in guerra, la Seconda Mondiale, tra le alture della Grecia. Erano presumibilmente gli anni 1941 o 1942, il soldato faceva parte di un reggimento di artiglieria da montagna, uno dei tanti tra quelli che avrebbero dovuto "spezzare le reni" alla Grecia.

Dopo essersi saziato, e neanche tanto, il soldato aveva messo all'interno del guscio un po' di sale, di modo da farlo essiccare ben bene. Non sappiamo oggi cosa c'era nella sua testa quando mise il guscio vuoto in fondo alla bisaccia, ma ci piace

ПАНЦИРЬ ЧЕРЕПАХИ

Цвета поблекли, стали глуше, теперь преобладают оттенки коричневого. Изначально он, видимо, был желтоватый вперемежку с каштановым, в черную крапинку. Верхняя пластина сложена из неправильных шестиугольников; по краю, будто очерчивая границу, тянется ряд вертикальных прямоугольников потемнее. Нижняя пластина не так выцвела, зато она, наверное, с самого начала была светлее верхней; в центре неправильных трапеций, ограниченных бороздками корпуса, десяток мелких и крупных черных крапинок. Снаружи панцирь отлично сохранился, не считая нескольких вмятин – здесь и вон там, где как будто отколот кусочек: кто знает, сколько раз он выпадал из бравших его рук. Внутри панцирь грязно-белого цвета, почти серый, гладкий на ощупь.

Сейчас он лежит на тумбочке возле кровати. Он уже старый, но по виду не скажешь. Нынешний хозяин трепетно бережет его, чтобы сохранилось воспоминание, которое с ним связано, и история, которую он может нам рассказать.

Увы, животное, носившее этот панцирь, кончило плохо. В годы Второй мировой его съел голодный итальянский солдат, воевавший в Греции. Шел сорок первый или сорок второй год, солдат служил в горном артиллерийском полку – вместе с теми, кто, как мечтал Муссолини, «отобьет грекам почки». Немного утолив голод, солдат насыпал в панцирь соли, чтобы тот хорошенько просох. Трудно понять, о чем он думал, когда сунул панцирь на дно

pensare che l'avrebbe conservato così, come ricordo, anche se il contesto non lo faceva del tutto un buon ricordo.

La guerra è continuata ancora per alcuni anni, il guscio era sempre là, in fondo alla bisaccia, quasi dimenticato. Da là dentro è passato sicuramente per la Jugoslavia e ha conosciuto la prigionia. Ha sentito botti e spari, urla e disperazione, ha visto ancora la fame e la violenza, il bello e il cattivo tempo. Poi, in un giorno di primavera, un lungo viaggio in treno l'avrebbe portato in un posto dove sarebbe rimasto a fare il soprammobile per molto tempo.

È il 1945, il soldato è tornato a casa, ha riabbracciato la moglie, salutato la famiglia e ora si appresta a ricominciare a vivere, guardando avanti, proiettato nel futuro, ricco di fermento e buone prospettive, cercando di mettersi alle spalle tutti gli orrori della guerra. Il ricordo però non sarebbe mai svanito. Quando la moglie faceva la polenta, al centro della tavola, appesa al lampadario, c'era un'aringa penzolante, che si utilizzava per "sporcare" la polenta e darle, nella povertà, un sapore di qualcosa. Il guscio appoggiato sul buffet, una credenza posta proprio di fronte al suo posto a tavola, incrociava sempre il suo sguardo che si alzava nell'atto di afferrare l'aringa consumata. Stessa cosa capitava quando c'erano gli spaghetti, tanta era la fame patita in quegli anni bui, che li mangiava con del pane, anche del giorno prima, e il paniere era proprio lì, sul buffet accanto al guscio.

Di certo c'è che lui era un uomo buono e il suo pensiero andava sempre alla povera tartaruga.

Nel 1946, finalmente, un evento lieto: la famiglia si allarga. Arriva una bambina. Siamo nell'immediato dopoguerra, i tedeschi se ne sono andati da tempo, va piano piano delineandosi quell'assetto di blocchi contrapposti che genererà la Guerra

рюкзак, но хочется верить, что он просто сохранил его на память, хотя с ним были связаны не самые приятные воспоминания.

Война тянулась еще много лет, все это время панцирь лежал на дне солдатского рюкзака, почти забытый. Точно известно, что он прошел Югославию, а потом оказался в плену. Он слышал звуки побоев и выстрелы, крики и вопли отчаяния, видел голод и насилие, солнце и непогоду. А потом, одним весенним днем, долго ехал на поезде и, в конце концов, очутился в доме, где ему суждено было много лет украшать интерьер.

Шел сорок пятый год, солдат вернулся домой, обнял жену и родных, и теперь готовился начать новую жизнь, смотря вперед, строя планы на будущее: жизнь кипела, это было время больших надежд, ужасы войны остались в прошлом. Однако воспоминания так просто не вычеркнешь. Жили бедно: к лампе над обеденным столом подвешивали копченую селёдку, и когда жена варила поленту, то есть мамалыгу, на эту селёдку натирали ломти поленты, чтобы она не казалась совсем безвкусной. Панцирь лежал на буфете, а буфет стоял как раз напротив того места, где сидел бывший солдат, и когда он поднимал голову, чтобы взять то, что оставалось от селёдки, взгляд его упирался прямо в панцирь. В эти трудные годы с едой было плохо: спагетти ели с хлебом, даже вчерашним, а хлебница стояла на буфете как раз рядом с панцирем.

Солдат был добрым человеком и часто вспоминал бедную черепаху.

Наконец, в сорок шестом произошло счастливое событие: в семье прибавление. Родилась девочка. Наступили послевоенные годы, немцев давно и след простыл, в мире постепенно складывалась новая расстановка сил, про-

Fredda. Si vivrà così per molti anni ancora, con lo spettro di una guerra nucleare che, per fortuna, non arriverà mai. E per fortuna non si patirà più la fame, che aveva portato il nostro soldato a mangiare la tartaruga: ora lui fa il postino, lo conoscono tutti in paese. Anche la moglie fa la postina e accudisce la bambina che cresce in famiglia. Diverse volte la bambina ha preso in mano quel guscio poggiato sul buffet, diverse volte ha chiesto al padre, mossa dalla curiosità, da dove arrivasse. Lui se l'era messa sulle ginocchia e, trasformando quella tragedia in una favola, le aveva raccontato tutto il percorso che avevano fatto insieme. In quei frangenti il guscio sarà sicuramente caduto dalle mani fragili della bambina, provocando quelle scheggiature che si vedono oggi.

È il periodo del boom economico italiano, siamo solo agli inizi, ma la famiglia si allarga ancora. Nel 1952 i coniugi si aspettavano un'altra femmina e invece arriva un maschio. La famiglia si è allargata, la situazione economica è migliorata, ma il guscio dopo sette anni è sempre là, sul buffet a prendere polvere.

Siamo certi di questo, colui che era un bambino in quegli anni ricorda benissimo il guscio della tartaruga. Così come ricorda quando, nei primi anni Sessanta, il nostro guscio è passato da soprammobile di cucina a soprammobile della camera da letto, in una casa nuova. Quanti sacrifici per la nuova casa. È grande e ha uno splendido giardino. C'è lo spazio per l'orto e, proprio davanti all'ingresso, al limite della gettata di cemento che divide la casa dal giardino, ci sono alcune piante di vite che d'estate, arrampicandosi su dei fili di ferro, creano una copertura naturale che promette frescura e refrigerio. I bambini possono ora giocare all'aperto, per conto loro, senza dar fastidio a nessuno.

I figli crescono, vanno a scuola e poi a lavorare. Si può dire che i genitori volevano

тивоборствующих блоков, потом это приведет к холодной войне. Многие годы нашим героям придется жить с призраком ядерной войны, которая, к счастью, так и не начнется. И к счастью, они больше не будут страдать от голода, вынудившего солдата съесть черепаху: теперь бывший артиллерист работает почтальоном и его знает весь город. Жена тоже разносит письма и занимается девочкой, которую решили не отдавать в ясли. Дочка часто берет в руки панцирь с буфета и с любопытством расспрашивает отца, откуда он взялся. Отец сажает ее на колени и, превращая трагедию в сказку, рассказывает о том, какой долгий путь они с панцирем проделали вместе. В такие минуты панцирь, конечно, часто падает из слабых детских ручонок, на нем появляются вмятины и сколы, которые видны сегодня.

В Италии экономический бум, все только начинается, а в семье снова прибавление. В пятьдесят втором году рождается мальчик, хотя ждали девочку. Семья растет, экономика на подъеме, а панцирь, пролежавший семь лет на буфете, так и лежит себе, собирая пыль.

Это нам точно известно, потому что тогдашний мальчишка хорошо помнит панцирь. А еще он помнит, как в начале шестидесятых панцирь, покинув свое место на кухне, переехал в новый дом и устроился в спальне. Сколько пришлось преодолеть ради нового дома! Зато теперь места хватает: просторный дом, при нем сад и даже огород! Прямо перед входом растет виноградная лоза, которая летом, взбираясь по железным прутьям, затеняет бетонную площадку и создает зеленую веранду, которая обещает приятную прохладу. Теперь сын и дочь могут играть на свежем воздухе и никому не мешать.

che i figli si sistemassero al più presto. La scuola, peggio l'università, erano a quel tempo un privilegio per pochi, bisognava andare a lavorare. Il guscio era sempre là su quel comodino di legno marrone, dalla parte di letto del postino. Rimaneva là, e quante ne ha viste passare, quanti discorsi, preghiere e rosari. Sulla parete sopra il letto c'era un quadretto, raffigurante la Madonna con Bambino. Da quella stanza da letto non si sarebbero separati fino alla fine degli anni Novanta.

In tutto questo lasso di tempo, come detto, la posizione del guscio non è cambiata. Molto è cambiato però nella famiglia. I genitori sono prossimi alla pensione, dopo migliaia di lettere consegnate, e ora i figli lavorano. La figlia è già sposata con due bambini e il figlio si sposerà tra pochi mesi. È il 1979.

C'è un piccolo vuoto tra il 1979 e il 1985, quando il figlio del figlio prende in mano il guscio per la prima volta. Era sempre là, dove l'avevamo lasciato, sul comodino di legno. Anche lui, come sua zia tanti anni prima, chiese al nonno di raccontargli la storia del guscio. Il nonno se lo mise sulle ginocchia e, ancora come una favola, raccontò la storia del guscio. Non era cambiata, anzi c'era qualcosa di più: la batteria di artiglieria del nonno aveva con sé diversi muli, utilizzati per trasportare le armi e le vettovaglie. Capitava spesso che quei poveri animali cadessero sotto i colpi nemici. Le loro carcasse marcivano ovunque, abbandonate, anche all'interno del letto di un torrente che scorreva vicino alle postazioni degli obici. Il nonno raccontava che per bere e per rinfrescarsi, i soldati utilizzavano l'acqua di quel torrente, salmastra e puzzolente, proprio a causa della decomposizione delle carcasse dei muli. Anche quando mangiò la povera tartaruga si era dissetato con quell'acqua. Divagando, mentre accendeva un'altra N80, raccontava che in prigionia, sotto i tedeschi, si faceva la fame e i soldati prigionieri erano magri come

Дети растут: идут в школу, потом на работу. Наверняка родители хотели, чтобы они побыстрее устроились в жизни. В то время немногие могли себе позволить отдать детей в школу, а про университет и говорить нечего: нужда заставляла смолоду идти работать. А панцирь все лежал себе на деревянной тумбочке с той стороны кровати, где спал почтальон. Чего он только не слышал: сколько разговоров, сколько просьб и молитв! На стене над кроватью висел образок Мадонны с младенцем. До конца семидесятых хозяева не расстанутся с этой спальней. Все эти годы панцирь оставался на своем месте, зато многое изменилось в семье. Родители собрались на пенсию: они уже разнесли тысячи писем, теперь работают дети. Дочка замужем, родила двух внуков, через несколько месяцев женится и сын. На дворе тысяча девятьсот семьдесят девятый год.

Между семьдесят девятым и восемьдесят пятым, когда панцирь впервые взял в руки сын солдатского сына, в нашей истории возникает пауза. Все это время панцирь пролежал на деревянной тумбочке. И вот мальчик попросил дедушку, как его тетя много лет назад, рассказать ему о панцире. Дедушка посадил внука на колени, и снова, как сказку, поведал свою историю. Она не изменилась, наоборот, в ней появились новые подробности. В артиллерийской батарее дедушки было много мулов, которые возили оружие и провиант. Часто бедные животные падали от ударов врага. Их гниющие трупы валялись повсюду – даже в русле речки, которая текла неподалеку от позиций. Дедушка рассказывал, что из-за гниющих трупов речная вода была солоновато-горькой и вонючей, но это был единственный источник, эту воду пили, этой водой умывались. Даже бедную черепаху он запил этой водой.

chiodi. Le infermiere “nemiche”, delle biondine alte con le gote rosse e le spalle larghe, vedendoli lì sbattuti, e forse pure per compassione, spalmavano con la margarina delle fette di pane raffermo, le avvolgevano in tovaglioli e le buttavano nell'immondizia. I soldati prigionieri si mettevano a frugare nella spazzatura per recuperare le fette e sfamarsi, smilzi com'erano, con grande stupore dei tedeschi, che li schernivano, ma non avrebbero mai capito il perché. Ricordi tanto lontani e tanto vivi, oggi si comprende bene come un'esperienza tale possa segnare una persona per sempre.

Il nipotino ascoltava attentamente le parole del nonno, con il guscio in mano. Anche in quell'occasione il guscio è caduto dalle mani del bambino. Si sarà anche scheggiato. Ma i bambini sono bambini ed essere distratti da qualcosa di meglio che un guscio di tartaruga è un attimo. Il nonno prese il guscio da terra e lo rimise al suo posto, sul suo comodino di legno.

Gli anni passano e quel soldato di artiglieria, poi postino, ora è un pensionato e un nonno felice. Ha quattro nipoti maschi, tre della figlia e uno del figlio. Ha intrattenuto tutti con i suoi racconti e a tutti ha raccontato almeno una volta la storia del guscio.

Giunge il momento, purtroppo, che la vita faccia il suo corso. È il 1992 e il nonno se ne va, troppo presto, troppo velocemente. Avrebbe sicuramente potuto godersi di più la crescita dei nipoti e la soddisfazione dei figli nel vederli crescere.

Per la moglie, la mancanza del marito fu uno choc. Non era più lei e fu necessario ricoverarla in una struttura di riposo, per il suo bene. La casa cominciava a far vedere i segni del tempo... e la mancanza del nonno. Il figlio aveva iniziato a far andare l'orto, nel rispetto di una tradizione che continua e continuerà ancora. Il

Задумавшись, он зажег очередную папиросу, а потом продолжил рассказ с другого места: как голодали в плену у немцев, пленные солдаты были худые как спички. Санитарки-немки, высокие, широкоплечие, розовощекие блондинки, видя, что пленные еле волочат ноги, из жалости, наверное, намазывали маргарином куски черствого хлеба, заворачивали их в салфетки и бросали в кучу мусора. Истощенные солдаты начинали рыться в отбросах, чтобы отыскать хлеб и немного заглушить голод, а удивленные охранники глумились над ними, так и не поняв, зачем они это делают. Какие далекие и какие живые воспоминания! Разве такое проходит бесследно...

Внук внимательно слушал дедушкин рассказ, держа панцирь в руках. И на этот раз панцирь выпал из рук малыша. И от него, наверное, откололся еще один кусочек. Но дети есть дети: секунда – и они уже отвлеклись, и забыли про панцирь. Дедушка поднял его и положил на место, на деревянную тумбочку возле кровати.

Годы идут, теперь наш солдат-артиллерист, а затем почтальон — пенсионер и счастливый дед. У него четверо внуков, все мальчишки: трое от дочери и один от сына. Он развлекает их своими рассказами, каждому хоть раз довелось услышать историю панциря.

К сожалению, все мы не вечны. В девяносто втором деда не стало. Он ушел неожиданно, слишком рано. А ведь мог бы еще с удовольствием растить внуков, радоваться вместе со своими детьми успехам малышей.

Для жены потеря мужа стала тяжелым ударом, от которого она так и не оправилась. Бабушку было не узнать, пришлось поместить ее в дом престарелых: для нее так было лучше. А в нашем доме появились признаки увядания,

guscio, dopo aver visto il suo compagno del primo viaggio andarsene rimase là dimenticato, stavolta in senso lato, nessuno più avrebbe potuto udire la voce di chi lo aveva portato a casa.

Alla fine degli anni Novanta finì in una scatola. Si presume fosse l'anno 1999, in cui il figlio del postino decise di dare il via alla ristrutturazione della casa, la sua casa, un'operazione che avrebbe cambiato radicalmente il suo assetto che fu. Dov'è finita la scatola con dentro il guscio? Chissà, forse non è mai andata via da lì, è rimasta in cantina, l'unico luogo originale a non aver subito modifiche nella ristrutturazione, accatastata insieme a tante altre.

Quanto è bella la villa oggi, è più alta di un piano, i colori sono più vivi. C'è un sacco di verde intorno, fiori e piante da frutta. L'orto è stato spostato più in là, nel terreno a fianco acquisito dalla famiglia di recente; è più grande, i pomodori e i cetrioli crescono grossi così, la tradizione continua. La vite ora non c'è più, il perimetro esterno del prato è delimitato da alte siepi, dove c'era il cemento ora ci sono le pietre.

Quanto tempo è passato, ora la figlia e il figlio del postino hanno loro l'età per fare i nonni. I loro figli sono grandi e vivono per proprio conto. Il guscio è stato in una scatola per anni, non lo stesso si può dire del quadretto della Madonna con Bambino, che aveva già ripreso il suo posto sulla parete della camera da letto.

Il guscio della tartaruga salta fuori per caso tra le varie cianfrusaglie, in una scatola piena di vecchi soprammobili. C'è il sottobicchiere con la foto dei postini in gita in Germania, dove un bicchiere di vino l'avevano pagato otto marchi e il muro doveva ancora cadere. C'è anche il quadretto con la frase: "Nessuno dice tante balle quanto il cacciatore a valle", ricordo dei tempi di caccia, quando il postino

чувствовалось отсутствие деда. Тогда сын стал ухаживать за огородом в знак уважения традиции, которая продолжается и продолжится в будущем. Проводив своего друга в последний путь, панцирь остался на тумбочке, всеми позабытый: никому больше не услышать голоса того, кто принес его в дом. В конце девяностых панцирь оказался в какой-то коробке. Наверное, это случилось в девяносто девятом, когда сын почтальона начал капитальный ремонт. Теперь дом был его, и ему захотелось полностью изменить его облик. А куда же делась коробка с панцирем? Точно неизвестно. Наверное, она была где-то в доме, валялась вместе с другими вещами в подвале: его, несмотря на ремонт, трогать не стали.

Как же похорошел дом! Он подрос на один этаж, краски стали ярче. Вокруг зелень, цветы и фруктовые деревья. Огород перенесли чуть подальше, на соседний участок, который недавно купила семья: теперь он намного больше, а какие там растут помидоры и огурцы! Традиция не умирает. Лозы больше нет, по границе лужайки пустили живую изгородь, вместо цемента вымостили площадку камнем.

Сколько воды утекло... Теперь дочь и сын почтальона сами могли бы нанять внуков. Дети у них уже выросли, живут отдельно. Панцирь много лет пролежал в подвале в отличие от Мадонны с младенцем, которые давно вернулись на прежнее место в спальне.

Нашли его случайно среди всякого хлама, в коробке с безделушками. Вот подстаканник с фотографией четы почтальонов, сделанной во время путешествия по Германии: стакан вина стоил тогда восемь марок, а берлинская стена и не думала падать. А вот картинка с подписью: «Наш охотник мас-

tornava a casa con due lepri e tre fagiani appesi alla cintura, si faceva anche lì la polenta e qualche volta qualche pallino della cartuccia ti rimaneva fra i denti.

È il nipote, il figlio del figlio, a (ri)trovarlo. Se lo ricorda bene. Si ricorda la storia che l'ha portato a casa, il puzzo della N80 che fumava il nonno, l'acqua gialla del torrente con le carcasse dei muli, le fette di pane nell'immondizia. Egli non ha mai abitato quella casa, il lavoro lo aveva portato via dal suo paese proprio qualche mese prima che i genitori si trasferissero definitivamente dopo la ristrutturazione. Continuava ad osservarlo, i suoi colori e le sue scheggiature, i segni del tempo, e ancora ricordava il nonno, quando lo andava a prendere a scuola e lo portava a casa a mangiare la pasta con il pane, quando giocavano insieme a pallone e con le costruzioni, i litigi tra lui e la nonna che non lo voleva lasciar andare all'osteria. Era sempre lì, il guscio, nell'altra stanza, ad ascoltare. Aveva ascoltato per anni, aveva raccontato per anni, in silenzio, bastava guardarlo. Oggi, nelle sue mani, ha ancora ricordi da evocare.

“Posso tenerlo?” chiese al padre. “Fai quello che vuoi, era del nonno, l'aveva mangiata”, rispose il padre, forse pensando che il figlio non ricordasse la storia del guscio. Quello è stato il giorno in cui il guscio ha cambiato nuovamente casa, anche se sempre per fare il soprammobile.

Ora se ne sta lì, sul comodino della stanza da letto, in un'altra casa, in un'altra città. Ha quasi settant'anni e non li dimostra, l'energia dei ricordi che si porta dietro è quella di un giovane.

È il 2011, siamo nell'era della globalizzazione e di internet. Fin dove può arrivare la storia del guscio?

Non lontano, se ne starà sempre lì, sul comodino, ad ascoltare gioie e dolori dei

тер врать, на привале горло драть» – сувенир тех времен, когда почтальон ходил на охоту и возвращался домой с парой зайцев и тройкой фазанов, висящих на поясе. С ними потом готовили поленту, иногда шарики дробы застревали в зубах.

Панцирь вновь отыскал внук, сын сына нашего почтальона. Он хорошо его помнил. Помнил, как тот попал к ним в дом, помнил дым дедушкиных папирос, рассказы о мутной речной воде, в которой гнили трупы мулов, о том, как пленные рылись в отбросах в поисках хлеба. Внук в этом доме никогда не жил: ему пришлось уехать по работе за несколько месяцев до того, как родители окончательно перебрались сюда после ремонта. Он смотрел на панцирь, на его окраску, на сколы, на следы времени. И вспоминал деда: как тот забирал его из школы и вел домой обедать макаронами с хлебом, как они вместе играли в мяч и в конструктор, как дед ругался с бабушкой, когда та не пускала его в остерию. А панцирь все лежал себе в спальне и слушал. Долгие годы он слушал и долгие годы молча вел свой рассказ: достаточно было взглянуть на него. И сегодня, у внука в руках, ему есть что вспомнить. «Можно мне забрать его?» – спросил внук у своего отца. «Делай, что хочешь, это дедушкина черепаха, он ее съел» – ответил тот, полагая, что сын не помнит историю панциря. Так панцирь снова сменил прописку, чтобы занять место на другой тумбочке.

Он и сейчас лежит в спальне – в другом доме, в другом городе. Ему почти семьдесят лет, но по виду не скажешь, да и память у него крепкая, как у молодого. На дворе две тысячи одиннадцатый год, мы живем в эру глобализации и интернета. Интересно, куда приведет нас эта история?

protagonisti che abitano la sua nuova casa. Se si avvicina l'orecchio al suo interno, come si fa con le conchiglie al mare, un'eco arriva dal passato, con il suo carico di emozioni. E se si resta lì ancora un po', con l'orecchio teso, qualcosa arriva anche dal futuro: "Papà, ma di chi è questo guscio?". Prima di rispondere però, attraverso la voce di chi lo custodisce, il guscio della tartaruga dovrà prendersi qualche altro dito di polvere.

Надеюсь, недалеко, если панцирь так и останется здесь, на тумбочке, свидетель радостей и горестей людей, которые живут в его новом доме. Если прижать его к уху, словно морскую раковину, слышно эхо прошлого, в котором было столько переживаний. А если подержать еще чуть-чуть и прислушаться, прозвучит голос из будущего: «Папа, а чей это панцирь?». Прежде чем панцирь ответит голосом очередного хозяина, на него сядет еще много пыли.

Biografia

Leandro Miglio, trentenne, dopo la maturità linguistica, nel 2000, si è arruolato nell'Esercito Italiano, dove ha prestato servizio come ufficiale di Fanteria per cinque anni. Durante questo periodo ha conseguito la laurea triennale in Scienze strategiche. Nato a Novara, vive e lavora a Torino.

Биография

Леандро Мильо, тридцать лет, закончил лингвистический лицей и с 2000 года служил пять лет офицером пехоты в Итальянской Армии. В это время получил диплом первой степени по специальности Стратегические науки. Родился в г. Новаре, а в настоящее время живет и работает в г. Турине.

Nota critica

Il tempo che trascorre non è mai del tutto “perduto”. Qualcosa – un suono, un sapore, un oggetto – si incarica talvolta di farcelo rivivere. Nel racconto di Leandro Miglio, questo compito è affidato al guscio di una tartaruga portato a casa da un reduce di guerra nel 1945 e da allora accuratamente conservato, prima dallo stesso reduce e poi dai figli e dai nipoti. Storie individuali e famigliari s'intrecciano nel racconto con i grandi eventi del secondo Novecento: il dopoguerra, la Guerra Fredda, il boom economico... C'è una voce incaricata di narrare: è la voce di chi ora custodisce “gelosamente” il guscio; di chi quel guscio ancora interroga per coglierne un ulteriore ricordo. Noi impariamo molto dal tempo e lo impariamo attraverso le cose che del divenire si fanno testimoni. È innegabile: le cose sono la coscienza del tempo e sono instancabili nel volgersi a noi per insegnarci a interpretare la realtà. Attraverso di loro noi facciamo autenticamente esperienza della temporalità: che non è “misurazione”, non è sommatoria di minuti, di ore, di mesi. Il tempo sussiste soltanto in conseguenza degli eventi che vi si svolgono. Di questo ci parla Leandro Miglio nel suo racconto *Il guscio della tartaruga*, dove il tempo non è più il puro e semplice scadere degli attimi, ma l'istante che sempre si rigenera. L'essere umano invecchia e disperde la propria tempra, ma custodisce in sé l'indole che lo caratterizza. Quell'“indole” è racchiusa nella parola che nomina e racconta. E sarà salvaguardata finché ci sarà un padre che prenderà il proprio figlio sulle ginocchia e gli racconterà le tragedie dell'esistenza come se fossero una *favola*, ovvero una *verità* da tramandare, affinché non ci sia più bisogno di tragedie per imparare qualcosa della vita.

Flavio Ermini

Отзыв о рассказе

Время уходит, но не все в нем оказывается «утрачено». Порой нечто – будь то звук, запах, вкус или какой-то предмет, – помогает нам вернуться в прошлое. В рассказе Леандро Мильо эта обязанность возложена на черепаший панцирь, который в 1945 г. солдат приносит домой с войны и который с тех пор бережно хранят – сначала сам фронтовик, затем его дети и внуки. В этом рассказе личные и семейные истории переплетаются с историческими событиями второй половины XX века: послевоенные годы, холодная война, экономический бум... Голос, которому поручено вести рассказ, – это голос того, кто сегодня «ревностно» хранит панцирь, кто вновь и вновь обращается к нему с расспросами, чтобы стали ярче воспоминания. Мы многому учимся у времени, учимся через предметы, превращающиеся с годами в молчаливых свидетелей. Бессмысленно отрицать: предметы – это совесть времени, они без усталости говорят с нами, учат нас понимать то, что вокруг происходит. Лишь через предметы мы можем почувствовать время, которое вовсе не сводится к «измерению», к сумме минут, часов, месяцев. Время существует благодаря событиям, которые в нем разворачиваются. Об этом и говорит в своем рассказе «Панцирь черепахи» Леандро Мильо: время здесь – не просто череда мгновений, а вечно возрождающийся миг. Человек стареет и теряет силу характера, но не изменяет своей сути. Суть эта сокрыта в слове, которое называет предметы и события и повествует о них. И она не погибнет, пока отец будет усаживать себе на колени сына и пересказывать ему трагедию жизни, словно *сказку* или *истину*, которую передают из поколения в поколение для того, чтобы в будущем люди могли и без трагедий учиться у жизни.

Флавио Эрмини

Fabio Mineo

Traduzione in russo di Irina Artamonova

Фабио Минео

Перевод Ирины Артамоновой

METALLO

Fumava nervosamente. Il fumo si depositava nelle fessure più profonde dell'ufficio, penetrava gli angoli più oscuri, si depositava caparbiamente sulle pareti già ingiallite.

“Lei conosce l'attuale offerta di lavoro in questo paese? Lei sa quanto è ambito un posto come questo?”

René lo osservava con ostentata reverenza. Sin dall'inizio aveva considerato questo incontro come l'ultima possibilità, proprio l'ultima chiamata per dare equilibrio alla sua vita. E quindi continuava ad ascoltare Squillacioti, manager burbero e di enciclopedica esperienza, nella fase terminale dell'ultimo estenuante colloquio di lavoro.

Dopo aver descritto minuziosamente le informazioni riportate nel *résumé*, aver parlato con zelo delle proprie esperienze e capacità, aspettava ora di ricevere l'ultimo grado di giudizio dall'uomo che poteva decidere del suo futuro.

“Guardi, glielo dico molto francamente. Lei è un candidato molto valido. Le sue referenze sono eccellenti, come eccellenti sono i suoi studi, il suo percorso. Ma lei non ha mai lavorato nel settore siderurgico e noi abbiamo già individuato una figura che può fare al caso nostro.”

René non fece troppe storie. Mise su la giacca a scacchi, allentò il nodo della cravatta e ringraziò con fare rassegnato il suo autorevole interlocutore.

Percorse con incedere insicuro il corridoio che portava all'ascensore di vetro e metallo, uscì e si diresse verso il portone che conduceva all'esterno della imponente struttura.

Il suo cervello non aveva ancora messo a fuoco ed è per questo che passeggiava mo-

МЕТАЛЛ

Он нервно курил. Дым заполнял самые глубокие трещинки в офисе, проникал в самые темные углы, упрямо оседал на уже пожелтевших стенах.

– Вы ведь понимаете, какое у нас в стране положение с занятостью? Сколько желающих найдется на эту вакансию?

Рене смотрел на него с подчеркнутым уважением. С самого начала он решил, что это его последний шанс, последняя возможность найти в жизни точку опоры. Поэтому он продолжал слушать Сквиллачоти, сурового менеджера по персоналу, имеющего за плечами огромный опыт. Изнурительное собеседование уже подходило к концу.

Тщательно пересказав информацию из резюме, подробно описав свой опыт и способности, теперь Рене ожидал услышать окончательный приговор того, кто, возможно, определит его будущее.

– Скажу Вам откровенно, Вы – очень перспективный кандидат. У Вас отличные рекомендации, отличное образование и опыт. Но Вы никогда не работали в металлургической промышленности, да и мы, вообще-то, уже определились с кандидатурой, которая нам подойдет.

Рене не стал возражать. Он надел клетчатый пиджак, ослабил узел галстука и, смиренно поблагодарив влиятельного собеседника, вышел из комнаты.

Коридор вел прямо к лифту из стекла и металла. Спустившись, Рене направился к выходу из огромного здания.

Он еще не пришел в себя. Медленно подходя к остановке трамвая, на кото-

strando un andamento eccentrico, quasi euforico, mentre lentamente raggiungeva la fermata del tram che l'avrebbe accompagnato a casa.

Squillò il cellulare. Anna aveva tirato fuori il tono di voce più dolce di cui disponeva e gli aveva domandato com'era andata.

Solo allora René aveva realizzato che anche questa volta, nonostante i molteplici tentativi, aveva fallito nel momento decisivo, allo stadio finale della competizione per aggiudicarsi l'ambito premio di un posto di lavoro a tempo indeterminato.

Una patina di malinconia avvolse interamente la sua figura e si sentì perso.

Ad Anna aveva risposto che purtroppo non era andata, che ancora una volta la ragione era la mancanza di esperienza.

Ma come può un giovane neolaureato accumulare esperienza se nessuno lo assume, citando come causa la mancanza della stessa?

Anna per telefono aveva provato a rassicurarlo, aveva tentato invano di persuaderlo della possibilità di un riscatto e ancora una volta gli aveva raccontato la storia di suo fratello, che solo dopo molte delusioni ce l'aveva fatta. Ma aveva potuto solo addolcire l'amaro calice, allentare alcune tensioni nervose, mentre dentro René bruciava. Bruciava forte la bocca dello stomaco, si contorceva, come metallo fuso colato nella siviera, acciaio fuso spillato dal forno fusorio.

Il tram si era lasciato alle spalle numerose fermate e la sua voce rauca aveva annunciato l'ultima frenata. René scese e attraversò la strada, superando le rotaie. Gli sbuffi di aria fredda che avevano penetrato le finestre e le porte del tram lo avevano gelato, l'atmosfera era quella del lunedì dopo la festa.

Entrò nel portone di casa, salì di fretta le scale e corse a rinchiudersi nel suo piccolo mondo di sicurezze costruite in un paio di decenni: il portatile dentro cui erano conser-

ром он доберется прямо до дому, он испытывал нечто необычайное, сродни эйфории.

Зазвонил телефон. Самым нежным голосом, который он когда-либо слышал, Анна спросила, как все прошло.

Только сейчас Рене понял, что и на этот раз, несмотря на многочисленные попытки, в решающий момент он потерпел неудачу. На последнем этапе борьбы он упустил желанный приз – постоянное место работы. Во всем его облике – и в теле, и на лице – проступила грусть. Он чувствовал себя потерянным. Анне он сказал, что, к сожалению, ничего не вышло, что и на этот раз ему отказали из-за недостатка опыта.

Но откуда же появится опыт у молодого выпускника, если никто не принимает его на работу, ссылаясь как раз на отсутствие опыта?

Анна принялась успокаивать его, напрасно убеждала в том, что еще не все потеряно, и в очередной раз рассказала о своем брате, которому удалось найти работу после стольких разочарований. Но она только подсластила пилюлю, ослабила напряжение: внутри Рене все продолжало гореть. Горело сильно, где-то вверху живота, скручивало, как металл, отлитый в ковше, как сталь в плавильной печи.

Трамвай уже проехал большую часть пути, хриплый голос объявил его остановку. Рене вышел и, переступая через рельсы, пересек улицу. Он окоченел из-за холодного сквозняка, врывавшегося в двери и окна трамвая, и чувствовал себя, как в понедельник после праздника.

Войдя в подъезд, он быстро поднялся по лестнице и поспешил укрыться в своем маленьком безопасном мирке, который он создал за два десятка лет:

vate le foto e la musica della sua vita, gli altoparlanti in legno di noce, le mensole colme dei libri che aveva accumulato negli anni dell'università. Persino il disordine e i piatti sporchi concorrevano a comporre l'affresco di un caos calmo, tiepido, un universo in grado di attutire i colpi con i quali, quasi distrattamente, il mondo moderno infierisce su ciascuno di noi.

*

I giorni trascorrevano tutti uguali. Sveglia la mattina alle 12.30, colazione disordinata sul divano dell'angusto salotto del suo bilocale. Un po' di ambient-jazz, quasi tutte le mattine un brano a scelta da Electro-Shock Blues degli Eels.

Una certa confusione domina la vita di chi non ha un'occupazione e obiettivi stabili che ne ordinino l'esistenza. Non tutti sono capaci di non lasciarsi andare. Qualcuno esagera e cade nella trappola delle droghe. Qualcun altro invece è in grado di gestire i meccanismi della vita con lo zelo di un orologiaio. René non apparteneva agli estremi, non sapeva controllarsi così bene, eppure non si abbandonava del tutto.

Quelle giornate d'inverno appassivano lentamente. Si recava in centro, osservava uomini d'affari, impiegati, commessi muoversi con rapidità, ingoiare in un secondo l'ultimo boccone e ritornare di corsa sul posto di lavoro. Osservava i lavoratori e il loro moto ininterrotto, la rapidità di quei gesti convulsi, gli automatismi che conferivano quella strana espressione ai loro volti.

Di solito René entrava in un bar vicino alla stazione, si sedeva e iniziava a leggere i titoli di qualche giornale abbandonato su uno dei tavoli vicini. Per qualche minuto curiosava distrattamente tra le pagine: la solita baruffa politica, l'articolo sui recenti effetti della

компьютер с фотографиями и любимыми записями, колонки из ореха, полки с книгами, которые он собрал за годы учебы. Беспорядок и грязная посуда лишь дополняли картину безмятежного хаоса, тихой вселенной, смягчавшей удары, когда современный мир ожесточается против нас.

*

Тянулись похожие друг на друга дни. Проснувшись в половине первого, он завтракал тем, что было, на диване в тесной гостиной своей двухкомнатной квартирki. Немного джаза, почти каждое утро что-нибудь из Electro Shock Blues группы Eels.

Тому, у кого нет работы и конкретных целей, которые бы упорядочивали жизнь, нелегко найти точку опоры. Не все способны выдержать и не упасть духом. Одни слетают с тормозов и попадают в ловушку наркотиков, другие пытаются управлять механизмами своей жизни с усердием часовщика. Рене не доходил до крайностей. Он не очень умел держать свою жизнь под контролем, но и не впадал в уныние.

Была зима, дни текли медленно. Он гулял по центру, смотрел на бизнесменов, служащих, продавцов – как они в спешке перекусывали и бежали обратно на работу. Наблюдал за рабочими, за их непрерывными движениями, за быстрыми резкими жестами, за их лицами, на которые наложил отпечаток автоматизм их труда.

Обычно Рене ходил в бар рядом с вокзалом и просматривал заголовки газет, которые кто-нибудь оставлял на соседнем столике. Несколько минут он

crisi economica, il giallo del paesino di provincia, la nuova *fiction cult* e le immancabili notizie sportive. Il più delle volte si domandava perché mai continuasse a ripetere quell'azione inutile. Piuttosto disgustato, riponeva il giornale ai margini del tavolo e ordinava un caffè.

Pensava spesso a come avrebbe potuto dare una svolta alla sua vita. Pensava che avrebbe dovuto lasciare tutto, prendere il primo aereo per qualche località lontana, arrangiarsi i primi giorni con qualche mezzo di fortuna e cercare lentamente di costruirsi una vita normale, una casa, un lavoro sicuro, qualche risparmio da dedicare alla sua passione per le foto d'epoca che acquistava nei mercati dell'antiquariato.

Il suo inglese e il suo francese non erano affatto male. Quale paese dunque avrebbe potuto assicurargli un futuro? La Francia? L'Inghilterra? In questi tempi di crisi economica il mondo occidentale sembra assomigliarsi paurosamente, i membri del club più esclusivo sembrano competere in una spaventosa corsa verso la disumanità, verso la distruzione della legittima speranza che l'uomo nutre nei confronti del diritto a una vita onesta e dignitosa.

Alcune volte gli tornavano alla mente gli studi alla facoltà di economia. La storia della prima rivoluzione industriale con la sua macchina a vapore, la combustione del coke negli altiforni, le innovazioni che portarono alla nascita del sistema industriale moderno. Per la prima volta enormi apparati produttivi furono azionati da energia meccanica e fu possibile aumentare in modo consistente quantità e qualità dei beni prodotti, generando enorme ricchezza. René sapeva bene che le condizioni di vita dell'epoca rimanevano ben lontane da quelle di cui possiamo beneficiare nel ventunesimo secolo. Eppure la sensazione di un ritorno al passato, di una lunga giravolta verso la povertà e la precarietà di epoche lontane era l'assillo principale delle sue giornate vuote, il rumore di fondo che ci ossessiona quando rimaniamo soli.

рассеянно листал страницы: обычная политическая возня, статья о последствиях экономического кризиса, детективная история, произошедшая где-то в глубинке, очередной рассказ культового писателя и непременно спортивные новости. Зачастую он спрашивал себя, почему он продолжает повторять все эти бессмысленные действия. С еще большим разочарованием он откладывал журнал на край столика и заказывал кофе.

Он часто думал о том, как изменить свою жизнь. Думал, что бросит все, сядет на первый самолет и уедет далеко-далеко, где сможет устроиться и постепенно зажить нормальной жизнью – собственный дом, стабильная работа. Не хотел он забывать и про свою страсть – старинные фотографии, которые он скупал на антикварных базарах.

Он неплохо знал английский и французский языки. Какие же страны могли дать ему будущее? Франция? Англия? Во времена экономического кризиса все страны западного мира похожи друг на друга, и это пугает. Эти члены элитных клубов словно соревнуются в бесчеловечности, разрушая законные надежды людей на достойную и честную жизнь.

Иногда он вспоминал учебу на экономическом факультете. История первой промышленной революции: паровая машина, сжигание кокса в печах, изобретения, проложившие путь современной промышленности. В первый раз огромные производственные механизмы приводились в действие механической энергией, позволяя постоянно увеличивать количество и качество производимых товаров, что, в свою очередь, порождало неизмеримые богатства. Рене прекрасно знал, что условия жизни в ту эпоху были далеки от того, чем можно наслаждаться в двадцать первом веке. Однако ощущение

*

Quella sera si era ripromesso di spedire altri *curricula*, di fare un giro tra i locali del suo quartiere per cercare lavoro come barista. Durante gli anni dell'università aveva potuto mantenersi anche grazie alle mance degli studenti ricchi. Tuttavia non aveva abbandonato l'idea della partenza. Al contrario, questa stava diventando un'ossessione, una voce della coscienza che non smetteva mai di crescere d'intensità.

Continuava a perfezionare il documento con le sue referenze, lo aveva anche tradotto in inglese. Aveva iniziato a inviarlo dovunque, non gli importava quale fosse il luogo dell'impiego o di quale impiego si trattasse.

Aveva a disposizione tre *curricula* diversi: uno ufficiale per le aziende, uno per il lavoro nei locali e uno per le ripetizioni di inglese che dava ai bambini della scuola elementare. A volte, ma solo per le aziende più importanti, lo modificava in modo da renderlo il più possibile adeguato alle necessità del destinatario. Aveva sviluppato una vera e propria arte, nel descrivere minuziosamente le attività svolte nei lavori precedenti e curava quei documenti come un pittore che caparbiamente rifinisce le sue tele.

Uscì di casa verso le nove e si diresse verso il locale in cui aveva lavorato alcuni mesi durante l'estate precedente. Conosceva il proprietario, erano quasi diventati amici. Percorse il breve tragitto frettolosamente, senza prestare attenzione alle vetrine luccicanti dei negozi che attiravano così tanti passanti. Neanche quel vecchio rigattiere, da cui acquistava spesso alcune delle sue amate foto in bianco e nero. Proprio lì, due settimane prima, ne aveva trovata una rarissima della indimenticabile Marlene Dietrich.

Le automobili si muovevano rapidamente, abbandonando scie di fumo che nutrivano di minerale l'aria cittadina.

возврата в прошлое, к шаткому положению и нищете, как в былые времена, заполняло его пустые будни, словно постоянный шум, который так донимает, когда остаешься один.

*

Тем вечером он пообещал себе, что снова начнет рассылать резюме, обойдет местные заведения, чтобы устроиться барменом. Во времена учебы в университете его нередко выручали чаевые от богатых студентов. Однако он не отказался от мысли уехать. Наоборот, это стало для него навязчивой идеей, голосом совести, звучащим все громче.

Он продолжал шлифовать свое резюме и рекомендации и перевел все на английский язык. Он начал рассылать резюме всем подряд, место работы и должность значения не имели.

Он составил три разных резюме: одно официальное – для предприятий, другое – для баров и ресторанов, третье – о том, что он дает частные уроки английского младшим школьникам. Иногда, если речь шла о крупных фирмах, он менял резюме таким образом, чтобы оно максимально соответствовало требованиям получателя. Он достиг настоящего мастерства, скрупулезно описывая свою предыдущую деятельность, совершенствуя свое произведение, как художник, который упрямо не желает заканчивать полотно.

Около девяти Рене вышел из дому и направился в бар, где проработал несколько месяцев прошлым летом. Он был знаком с владельцем, они стали почти друзьями. Он торопливо прошел небольшое расстояние, не обращая

René superò il portone del bar e si diresse verso il banco, cercando il proprietario con lo sguardo. Questi intuì immediatamente la ragione della visita e anticipò il suo vecchio collaboratore, dichiarando che per il momento erano al completo e che gli affari non andavano affatto bene.

“Questo paese è finito. Vai via tu che sei giovane. Vai e torna qui per le vacanze.”

Per René si trattò dell’ultima rivelazione. Quanto ancora avrebbe dovuto sopportare? Raccolse le sue ultime energie e tornò a casa per organizzare la partenza.

*

L’aereo era atterrato in perfetto orario. Aveva passato i controlli ed era già in fila per ritirare il suo bagaglio. Allungava i muscoli delle gambe, non sentiva più il peso del suo corpo. Il rullo trasportatore iniziò a brontolare e le prime valige apparvero.

Tutto era trascorso come se il mondo intero fosse fermo, questa è l’impressione più diffusa tra chi si trova in aeroporto. Tutto è sospeso, rallentato, anche la corsa dei passeggeri in ritardo. Trascinava il bagaglio con la mano destra e con la sinistra teneva stretta la borsa con i documenti.

Attraversò un lungo corridoio, le luci si riflettevano sul pavimento di marmo e sui corrimano d’acciaio. Seguì le indicazioni che portavano alla navetta di collegamento che l’avrebbe condotto alla metropolitana.

Ripensò alle luci del tramonto mentre il suo aereo si adagiava mollemente sopra le nuvole.

Quel paesaggio desolato, così calmo e rassicurante, gli ricordava il paesino di collina dove aveva trascorso molte domeniche con la famiglia. Tutto l’opposto di quel groviglio

внимания на светящиеся витрины магазинов, завораживающие столько прохожих. Не заглянул он и к старьевщику, у которого часто покупал свои любимые черно-белые фотографии. Именно здесь две недели назад он нашел редчайший снимок незабвенной Марлен Дитрих. Мимо проносились автомобили, оставляя шлейф дыма, которым был пропитан городской воздух. Рене вошел в бар и направился к стойке, ища глазами хозяина. Тот сразу же догадался о причине визита и, предвосхитив вопрос бывшего работника, сообщил, что в настоящий момент у него нет вакансий, и вообще дела идут скверно.

– Здесь больше нечего делать. Уезжай, пока молод, и возвращайся сюда на каникулы.

Для Рене это стало последней каплей. Сколько же ему еще терпеть? Он вернулся домой и, собрав последние силы, принялся готовиться к отъезду.

*

Самолет сел точно по расписанию. Он прошел контроль, а теперь стоял и ждал багажа. Он принялся разминать ноги, потому что больше не чувствовал веса собственного тела. Загромыхал транспортер, появились первые чемоданы.

Казалось, внешний мир замер. Так часто бывает, когда находишься в аэропорту. Все замедляется, даже бег опаздывающих пассажиров. Правой рукой Рене тащил чемодан, в левой он крепко держал сумку с документами.

Он пошел по длинному коридору. Свет отражался на мраморном полу и

di strade, ponti e rotaie che è la grande città, con tutte le sue luminarie, tutte quelle serrature e quelle recinzioni.

Le metropoli gli sembravano luoghi così complicati, da cui tuttavia è tanto difficile restare alla larga. E infatti aveva lasciato una grande città per un'altra ancora più grande, ancora più interconnessa e aggrovigliata, luogo di ambizioni e di paure, di rapide ascese e di cadute inaspettate.

Aveva acquistato il biglietto per la navetta e una tessera per il metrò. Percorse gli ultimi tratti che lo conducevano al treno di collegamento ed entrò pochi istanti prima della chiusura delle porte. Si sedette nel posto più vicino all'uscita, quasi che non aspettasse altro che arrivare.

Il tragitto fu breve. Poco più di mezz'ora e i passeggeri si trovarono catapultati in una delle stazioni principali.

René scese, si guardò attorno e osservò le numerose indicazioni. C'erano moltissime linee. Quella ragnatela di trasporti sotterranei era un'opera grandiosa: attraverso una fitta copertura del gigantesco anello urbano, milioni di persone si spostavano da un capo all'altro della città in poche decine di minuti.

Prima di partire, aveva studiato il percorso e seppe quindi districarsi in quella giungla con estrema agilità. Scese le scale, raggiunse la sua fermata e attese l'arrivo del treno. Suoni di metallo liquido, fischi e stridere di rotaie. Voci androgine, brulichio di umanità in continuo movimento. Salì sul primo vagone e si sedette. Lo sbattere violento delle porte annunciò l'inizio della corsa.

René era come in uno stato di ebbrezza, era lanciato a forte velocità verso l'inizio della sua nuova vita.

Ancora una frenata e poi un'accelerazione, urlava il vecchio convoglio, esaltando le

стальных перилах. Следуя указаниям, он вышел к экспрессу, который доведет его до метро.

Рене представил себе лучи заката, когда его самолет мягко парил над облаками. Безлюдный пейзаж за окном, такой спокойный и ободряющий, напомнил ему городок на холме, в который он часто приезжал с родителями по воскресеньям. Там все было совсем не похоже на неразбериху улиц, мостов, рельсов большого города с его огнями, засовами, ограждениями.

Он думал, что жить в большом городе трудно, но у него не получается избегать городов. И действительно, он уехал из одного большого города, чтобы перебраться в другой, еще больший, где все еще сильнее взаимосвязано и запутанно. Дерзкие надежды и страх, стремительный взлет и внезапное падение...

Рене купил билет на поезд до города и абонемент на метро. Пересек последнее метры, отделявшие от вагона, вошел за несколько секунд до закрытия дверей и сел на свободное место рядом с выходом, как будто ему не терпелось поскорее приехать.

Путь был недолгим. Чуть больше получаса, и пассажиры оказались на одном из центральных вокзалов.

Рене вышел, огляделся и стал изучать указатели. Линий метро было очень много. Паутина подземного транспорта представляла собой грандиозное сооружение: она покрывала все кольцо города, позволяя миллионам людей за несколько десятков минут оказаться на другом конце.

Перед отъездом Рене изучил маршрут и поэтому ориентировался в этих джунглях с невероятной легкостью.

Он спустился по лестнице, пришел на перрон и стал ждать прибытия поезда.

prodigiose meccaniche che hanno fatto viaggiare il mondo. Ancora un altro tornante e dopo un altro, un ultimo vibrare di lamiere e bulloni verso la fermata successiva. S'incendiarono i freni e incominciò il rallentamento mentre i passeggeri più avveduti si reggevano con maggiore forza.

Un istante e René udì un'esplosione. Un riflesso fiammeggiante preannunciò l'oscurità. Suoni indicibili preannunciarono il silenzio. Dopo lunghi secondi il suo vagone si trascinò esanime, fuori controllo, a pochi metri dalla fine della galleria.

Lamiere malconce, scheletro deformato, le finestre erano in frantumi. René rimase sveglio ma credette di essere in un incubo.

Passarono pochi istanti prima dell'arrivo dei soccorsi. Quando lo trasportarono malconcio fuori da quella tomba moderna, gli spiegarono che nella seconda carrozza qualcuno si era fatto esplodere e c'erano dei morti. Lui era stato fortunato. Qualcuno aggiunse che le autorità stavano prontamente indagando per individuare i responsabili dell'attentato e che la strage non sarebbe rimasta impunita.

René aveva guardato negli occhi la bestia umana. Con le mani si coprì la fronte e l'unica cosa che gli venne di pensare è che tutto ciò che conta nella vita è sfuggire alla morte.

Послышалось лязганье металла, свист, заскрипели рельсы. Бесполое голоса, множество людей в постоянном движении. Он вошел в первый вагон и сел. Двери захлопнулись, и поезд тронулся.

Рене был как будто в состоянии опьянения. На огромной скорости он мчался в новую жизнь.

Торможение, потом ускорение. Старый состав завывал, вознося хвалу чудесным механизмам, которые привели мир в движение. Поворот, за ним еще один, листы металла и крепления подрагивали, летя к следующей остановке. Заискрились тормоза, поезд начал останавливаться. Самые осторожные пассажиры схватились за поручни.

Еще миг, и Рене услышал взрыв. Пламя отблеск, а потом темнота. Неописуемые звуки, а потом тишина. Спустя несколько секунд, которые показались Рене вечностью, его безжизненный, потерявший управление вагон, подтащило к выходу из туннеля.

Искореженный металл, сдавленный остов поезда, разбитые окна. Рене не спал, но ему казалось, что он видит кошмар.

Вскоре прибыла помощь. Когда его, раненого, вытащили из этого подобия современной могилы, ему сказали, что во втором вагоне кто-то взорвал себя. Были убитые. Ему повезло. Кто-то добавил, что власти немедленно начнут расследование и установят ответственных, кровопролитие не останется безнаказанным.

Рене заглянул в глаза зверя в человеческом обличье. Он закрыл лицо руками и подумал: единственное, что имеет значение в жизни, – это спастись от смерти.

Biografia

Fabio Mineo è nato a Taranto nel 1983. Laureato in Economia internazionale, è dottorando presso l'Università di Bari dove si occupa di globalizzazione, diritti umani e libertà fondamentali. Attualmente vive a Mosca dove prosegue la sua attività di scrittore e di ricercatore.

Биография

Фабио Минео родился в г. Таранто в 1983 году. Получив степень магистра по специальности «Международная экономика», является аспирантом университета г. Бари; занимается глобализацией, правами человека и основными свободами. В настоящее время живет в Москве, где продолжает свою писательскую и исследовательскую деятельность.

Nota critica

Fin dal titolo, *Metallo*, Fabio Mineo fa cenno con il suo racconto alla durezza della vita, una durezza alla quale il giovane protagonista del racconto, René, riesce a contrapporre nient'altro che il "piccolo mondo di sicurezze" rappresentato dalla sua disordinata camera oppure il trasferimento (ma più che altro una vera e propria "fuga") in un altro paese. La vita è dura come il metallo, ci indica il giovane René. Questa vita fa pensare all'"acciaio fuso spillato dal forno fusorio", fa pensare agli "altiforni", fa pensare a "suoni di metallo liquido, fischi e stridere di rotaie"... Questa vita è difficile da affrontare; tanto più che tutto, intorno, sembra spingere verso la rinuncia, oppure ad accontentarsi di sopravvivere. Questo racconto è il fedele ritratto della condizione giovanile oggi; e, in quanto tale, si configura anche come una precisa denuncia di un disagio che la nostra società non riesce a colmare. Non si può che giudicare negativamente una comunità civile che dice a uno dei propri adolescenti: "Questo paese è finito. Vai via tu che sei giovane. Vai e torna qui per le vacanze". È fitto il velo che separa questa nostra società dai suoi giovani figli, registra Fabio Mineo. Sembra che il colore grigio del metallo abbia il sopravvento sul desiderio di realizzazione del proprio io. Indubbiamente questo nostro mondo non scommette sul futuro se può indurre un giovane a essere felice della pura sopravvivenza... Questo racconto costituisce un accorato invito a prestare ascolto alle esigenze della gioventù e a rendere più accogliente, più ospitale questa nostra società. L'ingresso nel mondo degli adulti resta un avvenimento fondamentale per i giovani uomini e le giovani donne che noi abbiamo generato. Eppure, riflette l'autore di *Metallo*, nella sua corsa verso il progresso tecnologico, la nostra società pare che abbia distolto lo sguardo dai propri figli.

Flavio Ermini

Отзыв о рассказе

Начиная с заглавия рассказа («Металл»), Фабио Минео проводит мысль о том, насколько «жесткой» является жизнь. Этой жесткости молодой герой, Рене, способен противопоставить лишь «маленький безопасный мирок», ограниченный стенами его комнаты, в которой царит беспорядок, или переезд (вернее, самое настоящее бегство) в другую страну. Жизнь – штука жесткая, как металл, – говорит нам юный Рене. Она напоминает «металл, отлитый в ковше», «сталь в плавильной печи», в ней раздается «лязганье металла, свист», скрип рельсов. Жить такой жизнью нелегко, особенно если все вокруг подталкивает к тому, чтобы опустить руки или смириться с тем, что не живешь по-настоящему, а влачишь существование. Рассказ Минео верно описывает ситуацию, в которой оказалась сегодняшняя молодежь, и, благодаря этому, остро ставит проблему, которую наше общество оказалось неспособно решить. Что хорошего можно сказать о стране, юные граждане которой получают подобный совет: «Здесь больше нечего делать. Уезжай, пока молод, и возвращайся сюда на каникулы»? Фабио Минео убедительно изображает плотную завесу, опустившуюся между обществом и его юными членами. Создается ощущение, что серый цвет металла подавлен стремлением реализовать себя. И разве задумывается по-настоящему о будущем страна, юные граждане которой вынуждены довольствоваться тем, что еле-еле сводят концы с концами... Этот рассказ – полный боли призыв прислушаться к требованиям молодых, сделать общество более открытым и уютным для них. Как и прежде, вступление в мир взрослых – одно из главных событий в жизни рожденных нами молодых женщин и мужчин. Однако, – делится своими размышлениями автор рассказа, – создается ощущение, что в погоне за техническим прогрессом наше общество отвернулось от своих дочерей и сыновей.

Флавио Эрмини

Daniele Tommasi

Traduzione in russo di Marina Kozlova

Даниеле Томмази

Перевод Марины Козловой

HAIKU

La poesia Haiku è composta di poche sillabe, diciassette, suddivise in tre versi, tre versi in tutto; il primo di cinque sillabe, il secondo di sette e ancora uno di cinque; queste le uniche regole costanti, il resto è tutto improvvisato. Lasciando ora da parte i presupposti e l'origine, gli esempi e la geografia o la diffusione, i cultori del genere sanno che significhi l'etimo della parola, e questo prenderemo rapidamente in esame. Haiku significa "inizio". Da qualche parte si inizia, una storia, un racconto, una poesia, ma non ha alcun senso fare di un racconto una creatura finita e conchiusa. Infatti ogni racconto è contenuto da un altro racconto e così via, fino a non completare proprio un bel niente. Nemmeno l'universo esiste da solo, ma esiste in ogni singolo particolare. Ogni inizio, ogni fine, in realtà sono un passaggio. Haiku è questa infinità, breve e di pochi suoni.

Erano moltissimi anni che il Buddha restava muto. Ancora nessuno conosceva le sue parabole, ancora non era il predicatore o il Maestro spirituale che ci hanno tramandato. Si era ritirato nel bosco per allontanarsi dagli uomini.

Molti credevano avesse un brutto carattere e avevano le loro ragioni: ve lo immaginate come dev'essere un uomo, un giovanotto che, educato come un principe alla scuola dei migliori oratori ed edotto sulle opere dei Classici dell'Oriente, decide senza preavviso che nulla valga la pena di essere discusso e fugge su di una montagna? Un uomo che non avrebbe avuto nessun problema a sposare le

ХАЙКУ

Хайку – короткое стихотворение, в нем всего семнадцать слогов, разделенных на три строки, всего на три строки: первая – из пяти слогов, вторая – из семи, последняя – из пяти. Это единственное непреложное правило, все остальное – импровизация. Не станем останавливаться на истории возникновения хайку и его образцах, на том, где оно родилось, и на географии распространения. Любителям хайку известно, откуда взялось это название, о нем-то мы и поговорим. Хайку означает «начало». Все – история, рассказ, стихотворение – с чего-то начинается, но делать из рассказа законченное целое нет смысла. Всякий рассказ входит в другой рассказ, а он в другой – и так далее, до бесконечности. Даже вселенная не существует сама по себе, но существует в каждой из своих частей. Любое начало, любой конец – на самом деле, лишь переход. Хайку – это та же бесконечность, краткая, состоящая из нескольких звуков.

Много лет Будда молчал. Никто еще не слышал его притч, он еще не был пророком и духовным наставником, каким мы его знаем. Чтобы удалиться от людей, он ушел в лес.

Многие полагали, что у него дурной нрав, и у них были на то основания: подумайте только, что должно было случиться с молодым человеком, воспитанным, как наследный принц, в кругу лучших ораторов на трудах восточных классиков, чтобы он ни с того ни с сего решил, что ничто не стоит его

mogli che voleva, tenersi come concubine le donne che desiderava assieme a tutti i giovinetti che voleva se avesse avuto a cuore le inclinazioni dei Greci. Niente, aveva rinunciato a privilegi e doveri. Un uomo del genere non poteva che serbare il cuore di un orso.

Altri si chiedevano se avesse invece scoperto qualcosa di scioccante che riguardasse la sua famiglia, talmente scioccante da avergli tolto l'uso della parola, e forse anche qualche rotella, e se ne fosse andato tra le fiere a nutrirsi di radici proprio per non essere assalito da domande scomode.

Altri – quelli che più lo amavano – erano convinti che avesse qualcosa da dire, ma che parlasse talmente sottovoce che era difficile udirlo. E che fosse andato verso il bosco semplicemente per passeggiare. E che avesse fatto tardi e non lo preoccupasse l'aver smarrito la strada.

Poi un giorno il Buddha (ancora non lo chiamavano così) si ripresentò in città, con i vestiti a brandelli e scoloriti, barba incolta e capelli dietro la testa, disordinatamente intrecciati ma puliti.

Il sintomo più appariscente della sua nuova condizione era il piacere che dimostrava nel parlare, parlava in continuazione, parlava anche agli alberi, ovviamente i più logici ne constatavano la follia, ma chi lo amava lo giustificava: chi sta da solo per molto tempo può parlare a buon diritto anche con gli alberi. E siccome parlava di cose apparentemente sensate, costoro che lo amavano divennero i

внимания, и убежал в горы? Он мог бы выбрать угодных себе жен, держаться общества угодных наложниц или юношей, разделяй он наклонности греков. Но нет, он отказался от всех привилегий и обязанностей. Так мог поступить только человек с каменным сердцем.

Иные же полагали, что он узнал нечто ужасное о своей семье – настолько ужасное, что лишился дара речи или даже ума, и что он ушел жить к диким зверям и питаться кореньями затем, чтобы его не одолевали нескромными вопросами.

Третьи – те, кто любил его, – были уверены, что ему есть, что сказать, но говорит он так тихо, что его не услышать. А в лес он ушел прогуляться. Потом припозднился, но, заблудившись, не испугался.

И вот однажды Будда (его еще не называли так) вновь появился в городе – в рваной, выцветшей одежде, со спутанной бородой и растрепанными, но чистыми волосами.

Более всего бросалось в глаза то удовольствие, с которым он говорил: говорил без умолку, говорил даже с деревьями. Здравомыслящие люди увидели в этом признаки сумасшествия, но любившие его находили тому оправдание: кто провел много времени в одиночестве, может запросто заговорить и с деревом. А поскольку говорил он вполне разумные вещи, те, кто любил его, стали его первыми учениками и почитали его как святого. Сначала они

suoi primi discepoli, lo vedevano come un Santo. All'inizio ci si trovava tutti nella radura, chi voleva o chi poteva – perché la più parte di loro non aveva rendite – portava qualcosa da mangiare, c'era chi controllava il barbecue – un semplice falò chiuso da un basso terrapieno di sassolini bianchi – e si godevano a volte i digiuni, a volte gran mangiate offerte da ricchi benefattori preoccupati per la salute del loro spirito, insomma erano dei bei compagni nullafacenti ma di buon animo. Poi intorno cominciarono a costruirci un villaggio, con poche tende, esercizi e attività, e tantissimi orticelli.

Un giorno, uno dei soliti giorni in cui prendeva posto tra di loro dopo il risveglio – al Buddha piaceva anche dormire, e si svegliava tardi –, si presentò con un fiore di loto, rimanendo muto. Il fiore di loto era poggiato in una mano, chiusa a scodella, e gli occhi del Buddha erano fissi sul fiore, in contemplazione.

I discepoli si erano abituati a sentirlo parlare ininterrottamente, perché al Buddha parlare veniva naturale e parlava di ogni cosa, un parlare senza pudori. Erano abituati alle sue parabole, alle sue barzellette, anche ai suoi silenzi perché tra un discorso e l'altro è fisiologicamente necessaria la quiete, ma non avevano ancora imparato cosa significasse annoiarsi di fronte a un essere umano che rimane per delle ore a osservare un fiore. Pian piano, l'uditorio cominciò a mormorare, a imbastire teorie – che cosa vuole dirci il Maestro? –, quelli più pratici si chiesero se dovessero diventare giardinieri, altri più poetici si proposero di raccogliere mazzi di fiori. Alcuni arrivarono persino a insinuare che il Maestro fosse pazzo (anche tra chi lo amava c'era chi lo pensava un po' fuori piombo). Uno solo di essi scoppiò in una gran risata, perché a dispetto di tutti

собирались на поляне, кто хотел и кто мог (почти все они были бедны) приносил что-нибудь поесть, кто-нибудь стоял у жаровни – обычного костра, защищенного от ветра низкой насыпью из белых камешков. Иногда они голодали, иногда наслаждались угощениями, которые им предлагали богатые благодетели, пекущиеся о своей душе. В общем, это была компания добродушных и праздных весельчаков. Потом вокруг выросло селение: шатры, лавки, мастерские и множество огородов.

Однажды, когда Будда, как обычно, после пробуждения уселся меж ними (он любил поспать и вставал поздно), он держал в руке цветок лотоса и не говорил ни слова. Цветок лежал у него ладони, словно в глубокой тарелке, и Будда задумчиво и пристально глядел на него.

Ученики привыкли к тому, что он беспрерывно говорил, потому что для него это было естественно: он говорил обо всем, без тени стыда. Они привыкли к его притчам, к его шуткам, даже к его молчанию, потому что отдых между беседами физически необходим, но они еще не сталкивались со скукой, которую навевает человек, часами рассматривающий цветок. Постепенно все начали перешептываться, строить догадки: что хочет сказать нам Учитель? Самые деловитые спрашивали себя, не пойти ли в садовники, самые романтические предлагали отправиться собирать букеты цветов. Некоторые даже стали подозревать, что Учитель повредился в уме (и среди любивших его были те, кто считал, что он несколько не в себе). И лишь один из них громко рассмеялся, потому что он единственный понял. Он смеялся над тем, что видел: Будда не сошел с ума, он просто был самим собой, и тот, кто смеял-

gli altri era l'unico ad aver capito. Rideva della situazione, il Buddha non era pazzo, semplicemente era se stesso, e colui che rideva vide com'era buffo, di fronte alla semplicità, l'accanimento di tante persone. Il Buddha (da questo momento fu chiamato così), come se il ridere o il brusio non lo avesse disturbato, disse all'improvviso:

– Ricordate la storia di quell'uomo, quel grande re che, compiuti cento anni, arriva la morte a bussargli a palazzo? Lui la riceve, lei gli dice: Il tuo tempo è giunto, e lui ribatte: Possibile? Così presto vieni a reclamare la mia pelle? E la morte: Hai cento anni, cento figli e cento mogli. Hai avuto tutto quello che un uomo rispettabile può desiderare, hai regnato per decenni sul tuo popolo, il tuo figlio più vecchio ha ottant'anni, la tua vita è stata segnata da gioie e dispiaceri e non ti sei mai stancato di niente, sei stato fortunato, e ora è giunto il tuo momento. E lui allora chiede: Possiamo fare altrimenti? Non sono ancora soddisfatto, ho molte cose da fare, ho da governare e da sperimentare nuove cose, e nuove altre ancora, dammi altri cento anni! E la morte gli risponde: Se uno dei tuoi figli si offre generosamente al posto tuo sia fatto lo scambio, io lo accetterò senza pretendere che tu mi segua. Il re allora convoca tutti i propri figli, li schiera davanti alla morte e la morte comincia a interrogarli, cercando chi, con grande generosità, sia disposto a offrirsi a essa al posto del padre. Il primogenito, che ha ottant'anni, dopo una pausa d'incertezza, forse perché è lento di cervello, dice no, non è ancora pronto per morire, ancora la vita non lo ha soddisfatto in pieno, che domandino al secondogenito. Il secondo figlio pure dichiara di non essere ancora pronto a trapassare e che anch'egli non è

ся, заметил, насколько смешна людская суета перед лицом простоты. Будда (с этого мгновения его стали называть так), словно не замечая смех и шум, вдруг произнес:

– Вы помните историю о том человеке, о великом царе, в дверь к которому в день его столетия постучалась смерть? Он велел впустить ее, и она сказала: «Твое время пришло». Он воскликнул: «Как? Ты так скоро пришла за мной?» «Тебе сто лет, у тебя сто сыновей и сто жен. У тебя было все, о чем может мечтать почтенный человек: ты десятилетиями правил своим народом, твоему старшему сыну восемьдесят лет, в твоей жизни было много радостей и горестей, ты ничем не пресытился, тебе повезло – и вот пришел твой час», – ответила смерть. Он спросил: «А можно сделать иначе? Я еще не пожил вволю, у меня столько дел, мне хочется править, хочется испытать нечто новое, дай мне еще сто лет!» И смерть ответила: «Если один из твоих сыновей великодушно предложит поменяться с тобой, я соглашусь и не буду настаивать, чтобы ты ушел со мной». Царь собрал всех своих сыновей, построил их в ряд – и смерть начала спрашивать их, ища того, кто проявит великодушие и займет место отца. Первенец, которому было восемьдесят лет, немного колебавшись (возможно, потому, что он был тугодум), ответил «нет»: он еще не готов умирать, еще не получил от жизни все – и попросил обратиться ко второму сыну. Тот тоже сказал, что еще не готов перейти в мир иной и не до конца насладился жизнью, и так же ответили и третий, и все остальные, пока самый младший из них, которому было всего шестнадцать лет, не сказал: «Отец, я готов поменяться с тобой». Смерти стало жалко его, и она спросила:

ancora soddisfatto della vita, il terzo anche e così via, finché il più giovane di tutti, che ha solo sedici anni, risponde: Io, padre, mi offrirò al posto vostro. A tale risoluzione la morte è presa da pietà e dice al giovane: Ma come puoi essere così deciso? Sei proprio sicuro di ciò che dici? Sei giovane, sei nel fiore dei tuoi anni, hai ancora moltissimo tempo da vivere, pensaci giovane principe. Il giovane risponde alla morte che proprio l'insoddisfazione dei suoi fratelli più grandi, molti dei quali hanno una veneranda età, per non parlare del re padre, ormai centenario, gli ha aperto gli occhi: se tutti coloro che sono più esperti di lui della vita sono insoddisfatti di essa, che differenza fa per lui morire ora o a cento anni? Comunque lo aspetta una sorte simile, d'essere insoddisfatto a ogni età della sua vita. Perciò che essa gli prenda la vita. La morte, pur con riluttanza, se lo prende. Passati altri cento anni la morte torna dal re per reclamarne la vita, e più o meno riaccade la stessa cosa, e ancora ritorna in tutto dieci volte, a intervalli di cento anni, prendendo al posto suo dieci dei suoi figli, finché il grande re non si trova ad avere mille anni, al che la morte gli domanda: Ebbene, ora ritorno da te per la decima volta, hai mille anni e ancora ti chiedo gran re: sei tu pronto stavolta a seguirmi? O ancora il tuo desiderio è quello di prorogare di altri cento anni il tuo viaggio terreno? Il re le risponde: Proprio così, non sono pronto a morire, ancora non voglio lasciare questa vita, ma a differenza delle altre volte, ti seguirò, anche contro voglia. Perché ho capito che comunque non ti potrò sfuggire in eterno. Il grande re infine seguì la morte conformandosi ai suoi passi. Ricordate questa parabola? – Chiese il Buddha –. Ebbene, questa parabola vale anche per la vita di questo fiore. La vita di un uomo è come un fiore, non importa se muore in un giorno, o dopo mille anni.

«Почему ты так решил? Ты уверен в том, что говоришь? Ты еще молод, ты в самом расцвете лет, у тебя впереди долгая жизнь, одумайся, юный принц». Но юноша ответил, что ему открыло глаза именно то, что его старшие братья, многие из которых уже достигли почтенного возраста, не говоря уже о столетнем отце, остались недовольны прожитой жизнью: раз все они, знающие жизнь лучше, чем он, остались ей недовольны, какая разница – умереть сейчас или в сто лет? Его ждет та же участь: в любом возрасте испытывать недовольство жизнью. И поэтому пусть смерть забирает его. И смерть, хоть и нехотя, сделала это. Прошло еще сто лет, смерть вернулась к царю, чтобы забрать его на тот свет – и произошло то же, что и в первый раз. Смерть возвращалась десять раз, каждые сто лет, и забирала вместо царя одного из его сыновей. Наконец царю исполнилась тысяча лет. Тогда смерть сказала ему: «Вот я пришла к тебе десятый раз, тебе тысяча лет, и я снова спрашиваю тебя, великий царь: теперь-то ты готов пойти со мной? Или ты хочешь продлить свое земное существование еще на сто лет?» Царь ответил: «Так и есть, я не готов умирать, я не хочу прощаться с жизнью, но теперь я пойду с тобой, вопреки своей воле. Потому что я понял, что не могу вечно убегать от тебя». И великий царь пошел вслед за смертью.

– Помните эту притчу? – спросил Будда. – То же самое можно сказать и об этом цветке. Человеческая жизнь – как цветок, нет никакой разницы, умрет ли он через день или через тысячу лет.

В это мгновение все замолчали, и прошло еще много дней, прежде чем ученики решились обратиться к Учителю. Тот очевидный факт, что всем рано или поздно придется покинуть этот мир, казался им яснее и реальнее, чем когда-

A quel punto tutto l'uditorio si fece silenzioso, e passarono molti giorni prima che i discepoli avessero il coraggio di interpellare il maestro. Il fatto, semplicemente ovvio, che tutti prima o poi si deve lasciare il mondo, sembrava in qualche modo più urgente e attuale che mai, e tale consapevolezza li aveva fatti risvegliare da una specie di torpore. Poi ripresero a fargli domande, le più svariate, e il Buddha, quando non era assorto o addormentato, rispondeva ai dubbi e alle paure di tutti. Piano piano essi si accorsero che non erano le risposte a calmarli, ma semplicemente l'amore e il rispetto che si trasmetteva in quella radura. Più che l'idea, sbagliata, di trovare risposte efficaci ai problemi dell'esistenza, li attirava il confronto con quell'essere semplice e pacifico che sapeva osservare tutto con dolcezza e saggezza.

Per molti molti anni il Buddha fu contemplato e interrogato, come un oracolo, e lui come un uomo rispondeva agli uomini.

– Buddha, perché stai lì seduto?

– Sto cercando di ricordarmelo, fatemi una domanda un po' diversa.

– Buddha, che cos'è il mondo?

– Il mondo è fatto per le risate dei pulcini, perché nascono senza chiedere permesso, e allora ridono quando il mondo è più grande della buccia dell'uovo. Anche Dio deve aver riso quando ha visto il mondo diventare tanto grande, e ha riso perché non pensava di essere Dio. Da allora nulla è cambiato. Dio è rimasto un pulcino beato, l'ultimo a uscire dal suo guscio.

– Ma non hai risposto alla domanda, ti abbiamo chiesto che cosa è il mondo, non se un pulcino ride.

либо, и осознание этого словно пробудило их от долгого сна. Потом они опять начали задавать Будде самые разные вопросы, и когда он не уходил в себя и не спал, он развеивал их сомнения и страхи. Постепенно они поняли, что покой им дарят не его ответы, а любовь и уважение, которые он источал. Куда более чем стремление найти решение жизненных проблем (что само по себе было ошибкой), их привлекало общение с этим простым и смиренным человеком, глядевшим на мир с благоразумием и кротостью.

Долгие годы люди наблюдали за Буддой, спрашивали его, как оракула, а он отвечал людям как человек.

– Будда, зачем ты сидишь здесь?

– Я пытаюсь вспомнить, а пока задайте мне какой-нибудь другой вопрос.

– Будда, что такое мир?

– Мир создан для того, чтобы смеялись цыплята: когда, не спросив разрешения, цыплята вылупливаются из яйца, они начинают смеяться из-за того, что мир оказался большее, чем яичная скорлупа. Наверное, Бог тоже засмеялся, когда увидел, каким большим оказался мир, засмеялся оттого, что не чувствовал себя Богом. С тех пор ничего не изменилось. Бог так и остался счастливым цыпленком – последним цыпленком, вылупившимся из яйца.

– Но ты не ответил нам на вопрос: мы спрашивали, что такое мир, а не о том, умеет ли смеяться цыпленок.

– Тогда задайте мне еще один вопрос.

И ему задали еще один вопрос:

– Allora fatemi un'altra domanda

E gli fecero un'altra domanda.

– Buddha, cosa succede quando la neve, o la pioggia, o la polvere di meteore, o la cenere delle stelle cade sulla Terra? La Terra pesa di più?

– Certo, pesa di più, ma perché qualcosa si è alleggerito da un'altra parte. Come quando il cuore è più leggero dopo le lacrime, perché il peso lo hanno portato via le lacrime e il cuore è leggero, bello, le lacrime salate, pesanti eppure tu sei cuore ma anche lacrime, e dovunque cadono le lacrime, anche quelle lacrime sei tu. Per cui se il mondo sembra separato dall'universo, tenete a mente che il mondo non è solo montagne e fiumi, ma è anche stelle e laghi insieme, è anche mari e cieli invisibili, è cuore e lacrime insieme, cuore leggero, felice, vicino, lacrime salate, distanti, ma non importa quanto distanti, né importa dove cadono.

– Buddha, la tua risposta non è una risposta ma è molto poetica. Buddha, che cos'è la poesia?

Gli occhi del Buddha si fecero pieni di lacrime, e le sue lacrime camminarono lungo la sua barba bianca. Gli astanti videro il Buddha lacrimare e a tutti parve strano, perché un Buddha è sempre calmo e non è preda di passioni. Il Buddha lacrimava e tutti si sentirono imbarazzati, perché nessuno osava consolarlo, né poteva immaginare come consolarlo, il suo pianto era così naturale che non si poteva che lasciarlo piangere. Allora tutti decisero di restare nello stesso posto dove erano e di aspettare.

– Будда, что происходит, когда снег или дождь, метеоритная или звездная пыль падают на Землю? Земля становится тяжелее?

– Конечно, тяжелее, потому что что-то другое становится легче. Так и на сердце становится легче от слез, потому что слезы уносят тяжесть. Сердце – легкое и прекрасное, а слезы – соленые и тяжелые. И все же сердце – это ты, и слезы – тоже ты, и куда бы ни они упали, в них будешь ты. Поэтому, даже если вам кажется, что наш мир отделен от вселенной, помните, что мир – это не только горы и реки, но еще и звезды, и озера, и моря, и невидимые небеса, это вместе сердце и слезы: легкое, счастливое, близкое сердце и далекие соленые слезы – не важно, насколько далекие, не важно, куда они упадут.

– Будда, твой ответ – не просто ответ, это поэзия. А что такое поэзия?

Глаза Будды наполнились слезами, и они потекли по его длинной белой бороде. Присутствовавшие увидели, что он плачет, и это показалось им странным, ведь Будда всегда спокоен и не покоряется страстям. Слезы текли из глаз Будды, и все были в замешательстве: никто не решался утешить его, никто не знал, как его успокоить. Он плакал настолько искренне, что оставалось только дать ему выплакаться. Поэтому все решили ничего не делать и просто ждать.

Они увидели слезы ребенка, который плачет из-за каприза или из-за чего-то серьезного, еще не зная разницы между тем и другим. Им виделись просторы моря или соленая вода, или волны, или пляж, куда люди приезжают отдохнуть и подышать благодатным воздухом, как советуют доктора. Но никто из них не представил себе, как покачиваются колосья пшеницы или как колышутся

In quelle lacrime vedevano le lacrime che ha addosso un bambino, che piange per un capriccio o per una cosa importante senza sapere la differenza, e immaginarono distese di mare o acqua salata, o onde o la spiaggia dove le persone vanno in vacanza o per respirare l'aria benefica che il dottore ha prescritto loro. Ma nessuno vedeva l'ondeggiare di spighe di grano per esempio, oppure il mare ondososo della chioma di un albero tutto soffiato dal vento se non quando si accorsero che sotto la barba il Buddha sorrideva illuminandosi tutto. Allora tutti sentirono come proprio quell'attimo estatico, e si vergognarono di essersi imbarazzati al pianto, e capirono che un Buddha piange sempre, e sotto la barba ride, ma devi accorgertene. Sulla sua barba scendevano le lacrime come rugiada pesante e pulita, e sotto la barba il sorriso rendeva leggero il cuore. Ed ecco aprirsi i campi di grano o il mare di stelle, il vento d'uccelli, la danza dei rami, l'incresparsi di voci e suoni da riverberi lontani.

A quelle lacrime tutti furono uguali e sentirono che erano belle, si sentirono belli per averle sentite.

Il Buddha cominciò:

– Grazie, mi avete ricordato perché ero mi ero seduto. Per questa gratitudine vi parlerò della poesia. Non amo la matematica, è noiosa. La matematica è formidabile, ma il secondo dopo non lo è più. La poesia è invece qualcosa di più. È matematica che ha trovato il fondamento. È scienza che ha trovato la sua logica. La poesia è irrazionale ma lo è di più la matematica-senza-poesia. La poesia è illogica, ma lo è di più la scienza-senza-pazzia. Noi stessi siamo più simili alla poesia, e la poesia è la profondità più grande, perché ne basta un briciolo. La profondità è in

от ветра, подобно морю, кроны деревьев, до тех пор, пока они не заметили, что Будда лучезарно улыбается сквозь бороду. И тогда все они испытали озарение и устыдились своей растерянности при виде его слез. Они поняли, что Будда плачет всегда, и в то же время всегда смеется – только увидеть это непросто. Слезы, тяжелые и чистые, как роса, стекали по его бороде, а сквозь нее проглядывала улыбка, от которой становилось легче на сердце. И тогда они увидели море пшеницы, море звезд, ветер, поднимающий птиц в небеса, танцующие ветви деревьев, волны голосов и звуков, доносящиеся откуда-то издалека. Перед его слезами все были равны, все чувствовали, сколь прекрасны эти слезы, а почувствовав это, и сами они ощутили себя прекрасными. Будда заговорил:

– Спасибо, вы помогли мне вспомнить, зачем я здесь сижу. В благодарность я расскажу вам о поэзии. Я не люблю математику, она скучна. Математика может удивить, но миг спустя удивление проходит. Поэзия же – это нечто большее: это математика, обретшая свое основание, это наука, обретшая свою логику. Поэзия иррациональна, но еще более иррациональна математика без поэзии. Поэзия нелогична, но еще более нелогична наука без нелепостей. Мы больше похожи на поэзию, а поэзия – самая большая, самая глубокая тайна, ведь нам хватает и ее малой крохи. Тайна не знает начала и конца, ее нельзя ограничить. В этом поэзия похожа на чувства. Она глубока, потому что неисчислима, даже если ее совсем мало, и чем ее меньше, тем невозможнее исчислить ее.

ciò che non inizia e non finisce, e non è delimitato. In questo la poesia somiglia ai sentimenti. È profonda perché non è quantificabile, e non è quantificabile anche se minima, e più è minima più diventa impossibile quantificarla.

– La pagina vibra prima della carta – continuò il Buddha –, prima di essere carta già vibra la pagina, già vibra prima di essere penna, già vibra prima del poeta, e di fronte a tutte queste premesse al poeta non resta che essere poeta, avrebbe fatto altro, ma in quel momento è la pagina a renderlo poeta, è solo la pagina che può farne un poeta.

– Il poeta respira, lo si capisce da come scrive, si capisce che respira e insieme a lui respira la sua visione sulla carta. Scrivere è come fare centrini di carta, puoi essere fantasioso, ma usi sempre, sempre lo stesso sistema di taglietti, tagli la carta più o meno in triangolini, allo stesso modo se scrivi usi sempre la scrittura, nel modo fantasioso che conosci. Raccogliere poesia è come collezionare centrini di carta. Chi ha fatto i centrini di carta da bambino e li ha trovati belli capisce come si sente il poeta quando legge una poesia che ha scritto parola per parola e ora tutta lì insieme sembra ancora più bella, l'emozione è così bella che sparisce, scivola via a poco a poco e senza sforzo e senza sembrare quella di prima. In pratica muore, la parola muore quando è scritta, muore in ogni momento, e com'è bello morire con lei. Esistono i picchi e le valli, esistono le emozioni e il riposo, se lo capisci sentirai fremere ogni singolo momento di indicibile presente. La scrittura è buona quando dalla scrittura passi alla vita. La vita è buona. È bellissimo scrivere, soprattutto quando l'ispirazione è grande; e quando l'ispirazione è totale, davvero

– Сначала появляется слово – раньше, чем бумага, – продолжил Будда. – Прежде чем стать бумагой, прежде чем стать чернилами, прежде чем его произнесет поэт. Вот почему поэту ничего не остается, как быть поэтом: он бы и рад стать кем-то другим, но в это мгновение слово превращает его в поэта – и это по силам только слову.

– Поэт дышит, это ясно по тому, как он сочиняет, ясно, что вместе с ним дышит на бумаге его видение. Писать – это как вырезать из бумаги кружевные салфетки: даже имея богатую фантазию, ты всегда режешь бумагу одинаково, вырезаешь маленькие треугольники. Точно так же, давая полет фантазии, ты все равно будешь всегда писать одинаковым почерком. Сочинять стихи – это как собирать такие бумажные салфетки. Кто в детстве делал их и кому они нравились, знает, что чувствует поэт, читая стихотворение, которое он написал, подбирая слово за словом, а все вместе нравится ему еще больше. Это настолько прекрасное и волнительное чувство, что постепенно оно само собой исчезает, уходит, превращается во что-то другое. На самом деле слово, будучи написанным, умирает, умирает каждое мгновение, и как это чудесно – умереть вместе с ним. В мире есть вершины и ущелья, есть волнение и покой: когда ты поймешь это, ты почувствуешь трепет каждого мгновения невыразимого настоящего. Писать хорошо тогда, когда от письма переходишь к жизни. Ибо жизнь хороша. Это замечательно – писать, особенно когда есть сильное вдохновение и когда вдохновение поглощает, по-настоящему поглощает: ты даже не чувствуешь больше потребность писать – она не нужна. Ты пишешь и забываешь, что пишешь.

totale, nemmeno si affaccia più il bisogno di scrivere, non ce n'è motivo. Scrivere diventa semplicemente dimenticare di scrivere.

– I poeti capiscono molto bene la poesia – continuò il Buddha –, la capiscono fino a volersene ricordare a ogni costo, e mentre la capiscono così continuamente, perdono l'illuminazione, ne diventano proprietari. Ma posseggono roba morta. A me accade invece di dimenticarmene, ma la ritrovo accidentalmente in ogni cosa, senza ricordare come si chiama, e questa è una grande benedizione. Un poeta viene chiamato poeta e ne diventa esperto, ne diventa ufficialmente esperto, e tutti credono che sia una cosa più sua che degli altri. Il poeta sa in realtà che la poesia è di tutti. Ma accade che ci crede anche lui, di sentire la poesia meglio degli altri, di conoscere la poesia meglio degli altri. Eppure non la si può conoscere e lui lo sa. Lui arriva a credere di esserne esperto eppure non si può esserne esperti e lui lo sa. Gli accade di sapere una cosa ma di credere il contrario, si sente il possessore quando sa di non poter possedere, solo da questo deriva la sua infelicità. Dal definirsi un poeta. Infatti viene riconosciuto, viene premiato, e lui accetta. Lo copiano senza chiedergli il permesso, ed è preso dalla rabbia. Lo pubblicano, ne è orgoglioso. Lo leggono, ne è estasiato. Ed è in quei momenti, quando si sente proprietario dei suoi versi che li capisce meno di chiunque altro. Non permettere mai a un poeta di leggerti i suoi componimenti, odierai lui o la sua poesia, o se lo ascolti non sentirti in colpa se mentre legge ti scappa da ridere! Non preoccuparti nemmeno se leggendo avevi capito tutto e poi, sentendo lui, tu sembri in torto. Non lasciarti convincere della sua superiorità, né che ciò che sente sia poesia. La poesia già a nominarla non è più lì, è da

– Поэты хорошо понимают поэзию, – продолжил Будда, – они понимают ее так хорошо, что во что бы то ни стало хотят запомнить стихи, но, делая это постоянно, теряют вдохновение, превращаются во владельцев стихов. Но им принадлежит нечто мертвое. Я же часто забываю стихотворения, но вновь случайно нахожу их во всем, не помня название, и это настоящая благодать. Поэта начинают называть поэтом, он становится знатоком поэзии, признанным знатоком, и все считают, что поэзия принадлежит ему, а не другим. На самом деле поэт знает, что поэзия принадлежит всем. Но так выходит, что он знает одно, а ему хочется верить совсем в другое: верить, что он владеет тем, чем нельзя обладать. В этом причина его печали. В том, что он называет себя поэтом. Его узнают, ему дают премии – и он принимает их. Ему подражают, не спросив разрешения, – и он злится. Его печатают – и он гордится этим. Его читают – и от этого он приходит в восторг. Но в те мгновения, когда он ощущает себя владельцем своих стихов, он понимает их меньше, чем кто-либо другой. Никогда не позволяй поэту читать тебе свои сочинения: ты возненавидишь его или его стихи. А если ты все же решишь послушать его, не кори себя, если во время чтения тебя начнет разбирать смех! Не тревожься, если, читая его стихи, ты решишь, что все понял, а после, слушая его чтение, подумаешь, что заблуждался. Не позволяй ему убедить тебя, ссылаясь на мнимое превосходство, на то, что он якобы слышит поэзию. Поэзия так устроена, что не успеешь ты ее помянуть, как она сразу окажется в другом месте, сколько не ищи – не найдешь. Поэзии нет, ее не существует, и никогда не существовало. Только так ты почувствуешь биение ее сердца. Ты почувствуешь, что она нужна тебе, только когда она сама тебя выберет, а не наоборот.

un'altra parte, né se la cerchi la trovi. La poesia non c'è, non esiste, non è mai esistita. Allora la sentirai palpitare. Ne avrai bisogno quando è lei a sceglierti, non viceversa.

– In realtà se capisci un solo istante della poesia sei eterno. Non chi l'ha scritta, o le parole che son scritte, ma tu sei eterno . Non chi ripete, o chi dice rappresento la poesia, la religione, il canto sa davvero perché lui stesso sia lì, o che cosa stia facendo, o chi ce lo abbia messo. Se Dio ci ha dato la poesia, allora è quello stesso Dio che ride come un pulcino appena nato, è quel Dio che non sa nemmeno di essere Dio e non sa di essere poesia e che ti dà la possibilità di non credergli se è chiunque altro a parlartene al tuo posto, ma puoi in ogni istante vedere come ride, come se fosse uscito dal guscio, e scappare perché è troppo piccolo e fragile per restare a guardare, un minuto di più, un'esistenza troppo uguale e immutabile.

– Quando fossimo tutta poesia, nemmeno un Buddha s'affaccerebbe, non avremmo bisogno di nascere, o vivere, o moltiplicarci, nemmeno di morire avremmo bisogno. Ma rideremmo sempre come quel pulcino, come Dio fuori dall'uovo.

– Se tu fossi un poeta che smettesse di essere poeta, saresti pura poesia, perché non useresti il meglio per dire tutto. Dirai che l'essere umano è raro, pur sapendo che è unico, per lasciare spazio a chi ti risponde. Non si può dire cos'è la poesia, ma anche questo è poesia.

– Если ты понимаешь хоть самую малую часть стихотворения, ты вечен. Не тот, кто его написал, не написанные слова – вечен ты. Не тот, кто говорит, что воплощает поэзию, религию, пение: он сам не ведает, зачем он здесь, что творит, по чьей воле он здесь оказался. Если поэзия дана нам от Бога, это тот самый Бог, который смеется, словно новорожденный цыпленок, тот самый Бог, который сам не ведает, что он Бог, и не ведает, что он и есть поэзия. Тот самый Бог, который разрешает тебе не верить в него, если не ты сам расскажешь себе о нем, а кто-то другой. Зато в любое мгновение ты сможешь увидеть, как он смеется, словно он только что вылупился из яйца, и как он убегает, ибо он слишком маленький и хрупкий, чтобы задержаться еще на минуту и поглядеть на такую однообразную и неизменную жизнь.

– Будь все мы поэзией, сам Будда не пришел бы в этот мир, нам не нужно было бы рождаться, жить, размножаться, не нужно было бы умирать. Мы бы только смеялись, как тот цыпленок, как бог, вылупившийся из яйца.

Будь ты поэтом, который бросил писать, ты бы стал чистой поэзией, ибо ты не пытался бы использовать самое лучшее, что есть в мире, чтобы рассказать обо всем, что в нем есть. Ты бы сказал, что человек – это редкость, даже зная, что он уникален, чтобы оставить место тому, кто ответит тебе. Нельзя дать определение поэзии, но ведь и в этом поэзия.

Пока Будда так говорил, его внимательно слушали. Когда он закончил, повисло молчание, затем кто-то спросил:

Mentre il Buddha così parlava, l'uditorio tutto era attento. Quand'ebbe finito, ci fu un momento di silenzio poi qualcuno domandò:

– Buddha, alcuni dicono che stai morendo, che stai semplicemente aspettando la fine dell'esistenza, per questo il tuo animo è in pace. È così?

Il Buddha sentiva di poter rispondere a questa domanda. Lo fece in due modi. Prima senza parlare. Ed era già una risposta. Poi riprese in questi termini:

– La differenza è tra lottare e vedere. Il mio consiglio non è diverso dal consiglio di ogni altro. Lottate, lottate, lottate finché potete. Non perdetevi la speranza. Ma vi dico anche che se la perdetevi tanto meglio.

– Nei Vangeli – continuò – si son dimenticati di far ridere Gesù, non hanno perso la speranza di vederlo e tramandarlo seriamente perché fosse preso sul serio. Così come non hanno fatto sgranchire le gambe a un Buddha dalla posizione del loto. Eppure anche Buddha ama farsi da mangiare da solo, e fare pipì ogni tanto contro un muro, dopo una passeggiata. Non hanno perso la speranza di dipingerlo immerso nella spiritualità, come se non ci fosse spiritualità nel piangere, nel ridere, nel fare smorfie allo specchio.

– Sperate, vi esorto a farlo, ma non appena perderete la speranza starete subito meglio, senza speranza vivrete il presente senza angosce per il futuro; sarete centrati e profondamente intensi, come quando vi sorprendete con le lacrime sul

– Будда, говорят, что ты умираешь, что ты просто ждешь, когда закончится твое существование, и поэтому в душе ты спокоен. Это правда?

Будда почувствовал, что может ответить на этот вопрос. И он сделал это дважды. Сначала без слов. И это уже был ответ. Потом он сказал так:

– Разница в том, бороться или смотреть. Мой совет ничем не отличается от совета любого другого человека. Бороться, бороться, бороться, пока хватит сил. Не теряйте надежды. Но если потеряете – оно и к лучшему.

– Евангелисты, – продолжил он, – забыли написать, что Иисус смеялся: они не теряли надежду увидеть его и изобразили его серьезным, чтобы другие принимали его всерьез. Точно так же и Будду навеки усадили в позу лотоса, не позволяя ему встать и размяться. Но ведь Будда любил готовить себе еду сам и иногда мочился на стену после прогулки. А они хотели изобразить его одухотворенным, как будто нет одухотворенности в том, чтобы плакать, смеяться или корчить перед зеркалом рожи.

– Я призываю вас не терять надежды, но как только вы потеряете надежду, вам сразу станет легче: без надежды вы сможете жить в настоящем, не тревожась о будущем. Вы познаете суть вещей, испытаете сильные переживания, вы заметите на своем лице слезы и поймете, что радость дают не только надежда и воспоминания, в это мгновение вы поймете, отчего цветок так невыразимо красив, или отчего бабочка машет крыльями так бесшумно,

volto, e allora saprete che la bellezza non è data solamente dalla speranza o dai ricordi, ma in quel momento avete compreso perché il fiore è così indicibilmente bello, o perché la farfalla batte le ali con così indicibilmente poco rumore, o perché i pensieri sono indicibilmente complicati, e indicibilmente semplice è sentire. Io sono semplice perché non sto a sentire altro che il mio esistere.

– Quando il pulcino becchetta sparisce il politico, il prete, sparisce anche quello che stavi cercando, sparisce anche il tuo dispiacere, sparisce anche la tua colpa. Quando il pulcino becchetta è Dio che si manifesta, Dio o chiamatelo semplicemente amore, con la “a” piccolina. A voi basterà guardarlo e non avrete bisogno d’altro. Se osservate il pulcino che becchetta avrete gli stessi occhi per il fiore, vedrete che l’amore è anche in quella cosa, e dimenticherete le dottrine, i consigli, le ansie di chi vi corre dietro a elargire magnanimità. Se scovate ciò del pulcino nel fiore, vedete che anche nell’albero notate amore ed è la stessa cosa, nell’albero vedete perché il gioco di dominare o di essere dominati è paura di essere libertà, di amare, è paura di avere amore senza indicazioni restrittive, e se avete paura cercate guide, consolazione, promesse, nel prete, nel politico, nello scopo, e vi sembra prezioso ogni significato, ogni aiuto che vi danno, ogni promessa che vi fanno, o ogni complimento, vi sembra prezioso comandare ed essere comandati, vi sembra prezioso non lasciarsi in pasto alla libertà. Se vi liberate è tanto bene, se non vi liberate è tanto meglio, sapere o non sapere è davvero niente. Che io parli o che io non parli è davvero niente. Annusare un profumo è davvero niente. Ma se davvero provate ad assaporare il presente non capite più cos’è il passato, o cos’è il futuro. Diventate pazzi come me. E irradiare amore senza scopo, senza un

или отчего мысль так невероятно сложно выразить, и отчего так невероятно просто слушать. Я – простой человек, потому что я слушаю только свое существо.

– Когда цыпленок клюет зерно, исчезает политик, священник, исчезает то, к чему ты стремишься, исчезает разочарование и даже чувство вины. Цыпленок клюет зерно – и в этом являет себя Бог, Бог или просто любовь с маленькой буквы. Смотрите на него, и больше вам ничего не понадобится. Научившись смотреть на клюющего цыпленка, теми же глазами вы будете смотреть на цветок и увидите, что и в нем есть любовь, и забудете все поучения, советы и предостережения того, кто бежит вслед за вами, подавляя своим великодушием. Научившись видеть любовь в цыпленке и цветке, вы увидите ту же любовь и в дереве, вы поймете, почему игра в сильного и слабого – это боязнь свободы, боязнь любить, боязнь безграничной любви. Когда вы боитесь, вы ищете наставлений, утешений, обещаний у священника или политика, ищете высшую цель, вам дорого любое объяснение, любая помощь, любое данное обещание, любая похвала, для вас ценно то, что вы управляете кем-то и что кто-то управляет вами, для вас важно не доверяться свободе. Освободитесь вы – хорошо, а не освободитесь – и того лучше, знать или не знать – никакой разницы. Говорю я или нет – никакой разницы. Услышать запах – еще ничего не значит. Но если вы не попытаетесь услышать запах настоящего, вам никогда не понять, что такое прошлое, что такое будущее. Сойдите с ума, как я. Излучайте любовь без цели, без веской причины. Стоит ли это делать? Возможно, это единственное, чему стоит отдаться полностью, и тогда все

motivo valido, vi conviene? Forse è l'unica cosa che si può fare completamente, mettendo stupore in ogni cosa. Da fuori sembrate immobili, ma dentro è tutta una danza che fate.

Ciascuno di loro salutò il Maestro, e andarono a occuparsi delle loro faccende, silenziosi e pacifici.

Qualcuno fischiava, perché provava piacere nel proprio lavoro, felice come può esserlo un Buddha.

вокруг станет изумительным. Внешне вы будете казаться неподвижными, но внутри вас все будет танцевать.

Каждый из них попрощался с Учителем, и они, молчаливые и спокойные, пошли заниматься своими делами.

Кто-то насвистывал, потому что ему нравилась его работа, – счастливый, каким может быть только Будда.

Biografia

Daniele Tommasi è nato a Bussolengo (Verona) nel 1982. Dopo la maturità classica, ha iniziato una vita nomade, spostandosi come mimo clown – prima col teatro e poi con il circo – per l'Italia (prevalentemente con produzioni per ragazzi) e l'Europa. Scrive poesie e racconti, ed è autore di teatro. Costruisce case per bambole e piccole bambole artistiche.

Биография

Даниеле Томмази родился в г. Буссоленго (Верона) в 1982 году. После окончания классического лицея, он начал бродячую жизнь, играл клоуном–мимом – сначала в театрах, а затем в цирке – путешествуя по Италии (выступая главным образом в спектаклях для детей) и по Европе. Пишет стихи, рассказы и драматические произведения. Мастерит маленькие художественные куклы и кукольные дома.

Nota critica

Il racconto di Daniele Tommasi ci parla di alcuni episodi della vita di un Buddha (ovvero di un uomo “Illuminato”). Il titolo della narrazione – *Haiku* – è apparentemente straniante. In realtà, poiché etimologicamente la parola “Haiku” fa cenno a un *inizio*, al preludere (di una storia, di un’emozione), ecco che risulta molto aderente a questo racconto, un racconto che, come lo stesso autore suggerisce, “è contenuto in un altro racconto”, il quale a sua volta è “inizio” di un’altra narrazione ancora, e così via, senza una vera conclusione. Si compie in *Haiku* la duplice meraviglia della magnificenza dell’infinito che si dà una forma perfettamente umana (il Buddha) e dell’uomo stesso, cui è concesso (acquisendo la consapevolezza di essere un “Illuminato”) di respirare la pace dello spirito. Sono parole scritte nell’attesa di un’ardua alleanza tra anima e corpo. Ma tale alleanza non costituisce un fine. Al contrario, rappresenta l’infaticabile premessa alla conoscenza di ciò che – essenzialmente – siamo noi e sono gli altri. La sofferenza nasce in noi come retaggio fatale della vita, ma può stemperarsi in una leggera “danza”, suggerisce Tommasi, se riesce ad aderire alle aree di sconfinata interiorità che ci costituiscono. Va detto altresì che solo apparentemente il personaggio principale è il Buddha. Protagonisti in realtà sono i suoi discepoli e noi lettori, che via via prendiamo atto della divaricazione radicale tra il fine dell’esistenza individuale e il fine della natura, ovvero tra l’amore di sé (fondamento del desiderio di felicità proprio dell’uomo) e l’indifferenza della natura. Insomma, ci dice Tommasi, non è colmabile il divario tra l’essere per la felicità (come noi vogliamo) e il non poter essere in alcun modo felici (come impone la natura, nella sua indifferenza per le pene umane). E non ci tragga in inganno il “lieto fine” del racconto, perché anch’esso non è che un altro inizio, un altro preludio al destino che la natura ha in serbo per noi.

Flavio Ermini

Отзыв о рассказе

Даниеле Томмази повествует о нескольких эпизодах из жизни Будды (то есть «просветленного»). На первый взгляд, название – «Хайку» – уводит читателя в сторону, однако, поскольку по своей этимологии слово «хайку» связано с понятием «начала» или «пролога» (начала истории, возникновения чувства), оно как нельзя лучше выражает смысл этого рассказа, который, как говорит сам автор, «входит в другой рассказ, а он в другой – и так далее, до бесконечности». В «Хайку» рассказывается о двойном чуде: чуде величественной бесконечности, которая принимает обличие человека (Будды), и чуде человека, духу которого (когда этот человек осознает, что ему ниспослано «просветление») дано ощутить покой. Страдание – неизбежное следствие жизни, но если страдание сумеет затронуть бесконечные пространства нашего внутреннего мира, то, как уверяет Томмази, оно растворится в легком «танце». Следует также подчеркнуть, что главный герой рассказа – вовсе не Будда. В действительности, главные герои – его ученики и мы, читатели, постепенно осознающие, насколько глубока пропасть между целью жизни отдельного человека и целью природы, иными словами, между любовью к себе (на которой основано свойственное человеку стремление к счастью) и равнодушием природы. Томмази утверждает, что невозможно заполнить пропасть между стремлением жить ради того, чтобы быть счастливыми (как хочется нам), и абсолютной невозможностью достигнуть счастья (как постановила равнодушная к людским страданиям природа). Не стоит обманываться, поверив, что у этой истории «счастливый конец»: ведь это всего лишь очередное начало, очередное вступление к повести о судьбе, которую уготовила нам природа.

Флавио Эрмини

Giovani traduttori russi

Irina Artamonova è nata il 3 ottobre 1985 a Kemerovo. Nel 2007 si è laureata in Letteratura e Lingue moderne all'Università Statale di Kemerovo con indirizzo traduzione e insegnamento. Tra il 2007 e il 2011 ha conseguito la seconda laurea all'Università Statale di Tomsk, dove attualmente lavora come avvocato e traduttrice. Le è sempre piaciuto molto studiare le lingue straniere, soprattutto l'italiano. Nel tempo libero pratica sport e legge libri di argomento storico.

Anastasija Golubcova è nata il 26 ottobre 1987 a Severodvinsk. Nel 2011 si è laureata presso l'Università Linguistica di Mosca. Sta frequentando il Master in traduzione presso l'Istituto Letterario A.M. Gor'kij e vive a Mosca. È dottoranda presso l'Istituto di letteratura universale dell'Accademia delle Scienze della Russia. I suoi interessi riguardano la letteratura italiana e, in particolare, la traduzione della letteratura per l'infanzia, nonché di libri e articoli di tematica umanitaria.

Jana Kidenko è nata il 15 giugno 1989 a Tula. Frequenta il terzo anno di corso presso l'Istituto Letterario A.M. Gor'kij (Dipartimento di Traduzione letteraria). Le piace lo studio delle lingue straniere, viaggiare, apprendere cose nuove, crescere.

Молодые российские переводчики

Ирина Артамонова родилась 3 октября 1985 года в г. Кемерово. В 2007 г. закончила Кемеровский государственный университет по специальности «Переводчик, преподаватель». С 2007 по 2011 гг. получала второе высшее образование в Томском государственном университете. Сейчас работает юристом и переводчиком в Томске. Любимым увлечением всегда было изучение иностранных языков, особенно итальянского. В свободное время занимается спортом и читает исторические книги.

Анастасия Голубцова родилась 26 октября 1987 года в г. Северодвинск. В 2011 года закончила Московский государственный лингвистический университет. Живет в Москве, учится в магистратуре Литературного института имени А.М. Горького. Является аспиранткой Института мировой литературы РАН. Ее интересы – итальянская литература, а в частности, перевод литературы для детей, а также книг и статей гуманитарной тематики.

Яна Киденко родилась 15 июня 1989 года в г. Туле. Студентка 3-го курса Литературного института им. А.М. Горького (Отделение художественного перевода). Любит изучать иностранные языки, путешествовать, узнавать что-то новое, развиваться.

Marina Kozlova è nata il 15 ottobre 1990 a Baltijsk. Nel 2008 si è iscritta all'Istituto Letterario A.M. Gor'kij, dove sta frequentando un corso di traduzione dall'italiano. Ama la letteratura e la cultura italiane. Collabora con la rivista "Inostrannaja Literatura", e ha in corso di stampa una traduzione.

Anna Fedorova è nata a Mosca il 26 maggio 1981. Nel 2004 si è laureata in Drammaturgia presso l'Istituto Letterario A.M. Gor'kij. Vincitrice del concorso internazionale "Première" per i giovani drammaturghi. Dopo la laurea ha lavorato come sceneggiatore in diversi progetti televisivi. Scrive drammi e racconti di prosa, traduce dall'italiano. Sta per conseguire la seconda laurea con specializzazione in traduzione letteraria dall'italiano presso l'Istituto Letterario A.M. Gor'kij.

Марина Козлова родилась в г. Балтийске в 1990 году. В 2008 году поступила в Литературный институт им. А.М. Горького на семинар художественного перевода с итальянского языка. Увлекается итальянской литературой и культурой. Сотрудничает с журналом «Иностранная литература», и в данный момент готовит к публикации один из своих переводов.

Анна Федорова родилась в Москве в 1981 году. В 2004 году окончила Литературный институт им. А.М. Горького, по специальности «драматургия». Лауреат международного конкурса молодых драматургов «Премьера». После окончания института работала сценаристом в различных телевизионных проектах. Пишет пьесы, прозу, переводит с итальянского языка. В настоящий момент получает второе образование по специальности «художественный перевод с итальянского языка» в Литературном институте имени Горького.

МОЛОДЫЕ РОССИЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ
GIOVANI NARRATORI RUSSI

Андрей Антипин	Andrej Antipin
Наталья Николашина	Natal'ja Nikolašina
Дмитрий Фалеев	Dmitrij Faleev
Алёна Чурбанова	Alëna Čurbanova
Сергей Шаргунов	Sergej Šargunov

Андрей Антипин

Перевод Марии Изолы

Andrej Antipin

Traduzione in italiano di Maria Isola

ТОСКА

По ночам за окошком столярки падали акации. Сухо, словно семечки на раскалённой сковороде, трескались, ударяясь о тротуар, жёлтые дудочки. Вкрадчив и тосклив был этот раскрывающийся шёпот. А ещё недавно почерневшие от загара мальчишки, забравшись на забор, рвали с акации свистки и, пузырясь серебристой слюной и по-бурундучьи выдув щёки, что было сил дули в них, шорохась из конца в конец пыльных улиц...

Апатия, тревога и грусть на душе посещали об эту пору столяра Николая Горлова, Так всё ненужным виделось, как сквозь запотевшее стекло: столярка с её косой древесной пылью, эсэсэровские рубанки, надфили, ждущий лакировки ружейный приклад на верстаке... И даже курилось, лёжа на топчане у той стены, куда не доставало солнце и где он сам был незаметен палящим глазам шпаны, вяло, без особой боязни сронить пепел в стружки. Жизнь ли кончалась в нём? – ему шёл только шестой десяток, едва коровьим языком прилизало маковку и на висках обмело инеем волосы, которые и с рани были не богаты, а туг и вовсе сопрели и поползли драным пером; не было ли заделья душе? – но он двумя руками держался за столярную работу, хотя всё шло на раскоряк и давно подзабылся его труд, притёртый строгалюю–шлифовальными машинами, о которых он был слышан, но глазами увидеть боялся; похерилось ли здоровье? – в нём было

NOSTALGIA

La notte dalla finestrella della falegnameria si sentivano cadere le acacie. Nel cadere sul marciapiede le stipule gialle scricchiolavano con un rumore sordo, come semi in una padella arroventata. Il sussurro che ne derivava era malinconico e insinuante. E pensare che solo fino a poco tempo prima i ragazzini neri per l'abbronzatura si arrampicavano sullo steccato e staccavano i fischietti dalle acacie, per poi soffiarcì dentro con tutta la forza che avevano, spruzzando saliva argentata e gonfiando le guance come gli scoiattoli, mentre se ne andavano su e giù per le vie polverose...

A quell'epoca apatia, ansia e tristezza visitavano spesso il falegname Nikolaj Gorlov. Tutto gli sembrava inutile, era come se vedesse ogni cosa attraverso un vetro appannato: la falegnameria con la sua segatura, le pialle ancora dei tempi sovietici, le lime ad ago, il calcio del fucile sul bancone che aspettava di essere laccato... E quando se ne stava sdraiato sulla branda di legno lungo la parete dove non arrivava mai il sole e dove poteva restare invisibile agli ardenti occhi dei teppistelli, si percepiva una certa fiacchezza perfino nel suo fumare senza preoccuparsi di far cadere la cenere sui trucioli. Non c'era più vita in lui? Eppure non aveva ancora compiuto sessant'anni, la parte alta della sua testa era liscia come un uovo, e sulle tempie i capelli, che comunque non erano mai stati particolarmente folti, erano brizzolati e, ormai rovinati, si erano ritirati a mo' di pennello consunto. Non aveva di che occuparsi? No, si teneva aggrappato saldamente al suo lavoro di falegname, anche se tutto andava avanti a tentoni e lui già da un pezzo aveva cominciato a dimenticarsi del suo ultimo lavoro, smerigliato dalle pialle che conosceva ormai alla perfezione ma che ora temeva di guardare. La salute lo stava forse abban-

ещё полно сил, без верхонок разбирал острые пачки привозимых с пилорамы смолевых тяжёлых досок, а выбегая зимой из бани, синевя татуированным орлом на плече, легко, будто напёрсток, опрокидывал на себя ведро звенящей воды...

«Вы-ы-ы-у-у, вы-ы-ы-у-у!» выдували дудки, обступали, как стая волков, столярку. На что бабы здоровый народ, с утра до коров стоят на картошке в наклонку, но и они гнали свистунов крапивой. Невесёлой была подобранная с куста мелодия, унывно копала в душе, будто лунки под могильные кресты. Ох, он бы запил от горя! ох, наваял бы сорванцам по шее! Но водкой не на что было разжиться, которую, неделю висели руки полыми, а пацаны ни его самого, ни его срезанных до костяшек пальцев правой кисти не боялись. Всего и оставалось, что наглухо закрывать окошко, садиться на стульчик и затыкать уши обрубками пальцев. Он злился, чернел лицом, скрежетал зубами, порывался обломать акацию и удавиться в петле, качал головой, словно что-то отрицая. И ничего не делал, презирая себя за это. Только жадно пил из бочки, с брезгливостью тошноты чувствуя стук в железные зубы железного ковша, подцеплял из стоявшей па верстаке банки табак жёлтой щепотью, мастрил самокрутку и ждал с ужасом субботы, когда должно было всё решиться.

Последние перед этим дни стояли тёплые, уже не душные, с редкими облаками. Нежаден трепался ветерок в садовой прохладе, был золотист воздух, а в кастрюле, что выставил столяр на бочку с водой, рваными ноздрями хрипел квас из жжёных корок. Свистки набрались

donando? In realtà era ancora pieno di forza, spostava le taglienti pile di pesanti assi resinose in arrivo dalla segheria senza bisogno di guanti, e d'inverno, uscendo di corsa dalla sauna col suo livido tatuaggio a forma di aquila sulla spalla, si rovesciava addosso facilmente un secchio di acqua sonante, come se si trattasse di un ditale.

“Vuiuuu! vuiuuu!” soffiavano i fischietti, circondando come un branco di lupi la falegnameria. Che forza della natura, le donne, dal mattino presto fino al momento della mungitura se ne stavano piegate nei campi a raccogliere patate, cacciando a loro volta i fischiettatori con le ortiche. La melodia che si sollevava dai cespugli non era affatto allegra, era sconcertante e ti scavava l'anima come si scavano le buche sotto alle croci della tombe. Oh, come avrebbe voluto affogare il dispiacere nell'alcool! Oh, come gliele avrebbe date volentieri a quei mascalzoni! Ma la vodka era impossibile procurarsela, mancava già da un'intera settimana, e i ragazzini non avevano paura né di lui né delle dita tagliuzzate fino all'osso della sua mano destra. Non restava altro che chiudere ermeticamente la finestrella, sedersi sullo sgabello e tapparsi le orecchie con le dita. Si arrabbiava, si faceva tutto nero in viso, digrignava i denti e si sarebbe buttato a tagliare i rami all'acacia e ad impiccarsi a un cappio, scuotendo la testa come a negare qualcosa. E a conti fatti non combinava niente, e per questo si disprezzava. Si limitava a bere avidamente l'acqua dalla botte, sentendo con nauseante ribrezzo il tocco del mestolo di ferro contro i suoi denti di ferro, ad afferrare dalla scatoletta che stava sul bancone del tabacco in polvere gialla e ad arrotolarsi delle sigarette, aspettando terrorizzato il sabato, quando tutto avrebbe dovuto decidersi.

Gli ultimi giorni erano stati tiepidi, ormai già non più afosi, con rare nuvole. Un generoso venticello si agitava nella frescura del giardino, l'aria era dorata e nella pentola che il falegname aveva deposto sulla botte con l'acqua, gorgogliava rocamente il kvas ottenu-

воска и повалились от прыгающих по веткам воробьев, а в одну из ночей сами собой. Они уже не выдавали былой трели, пугали своим шорохом и столяр, едва дотянув до утра, с разбитой тяжёлой думой головой ходил сам не свой, всё теряя из рук. От безделья стерёг в смуглое окошко мальчишек, выбегал на крыльцо в спутавшей полоски тельняшке. Звал, когда они рассыпались за дорогу, сиплым, оттого что давно не говорил с людьми, голосом:

– Идите, варнаки, собирайте свистки! Я вас гонять не буду!

– Они уже не дуются! – отвечали ему и казали горсть сухих пустышек, ломающихся в руке. – Фуфло товар!

– Да где? Ты попробуй сперва, а потом вякай!

Со стыдом, казнясь за своё ребячество, столяр выгребал из кармана лучшую, как ему казалось, дудочку, по примеру сопляков расщеплял её ногтем с конца и обкусывал фиксой и, подмигнув, под смех и перегляды дул в неё до кашля, до слёз из покрасневших глаз. Но мелодия получалась короткой и дряблой, не вылетала вольной птицей, а выползала сонной гусеницей. Мальчишки, не стесняясь его, гоготали, до черни забив незрелой черёмухой рты, плевали в него из разобранных ученических ручек косточками в зелёном форсе:

– Ништяковский музон! Как в лужу пукнул! Сам от него и тащись!

– А ну, брысь отсюда, свистуны беззубые!

Нет, не мог он себе объяснить, в чём дело, отчего саднит на душе! И от этого неумения сказать, выразить, словить, будто муху в горсть, и разглядеть свою боль, узнать, чем она живёт и зачем, почему при-

to dalle bucce cotte. Le stipule si erano riempite di cera e i passeri che saltellavano sui rami le facevano cadere per terra, anche se durante una di quelle notti erano cadute da sole. Non emettevano più il trillo di una volta e con il loro fruscio spaventavano anche il falegname che, arrivato a stento alla mattina, con la testa devastata da quel pensiero insistente vagava per la stanza fuori di sé, facendo cadere qualsiasi cosa dalle mani. Per combattere l'ozio faceva la guardia ai ragazzini osservandoli dalla finestrella scura, usciva sul terrazzino d'ingresso con la sua maglietta a righe dalle strisce scomposte e non appena quelli scappavano via dalla strada li chiamava con la voce rauca di una persona che da tempo non parla con nessuno.

– Venite a raccogliere i fischietti, mascalzoni! Non vi cacerò via!

– Ormai non fischiano più – gli rispondevano loro e mostravano una manciata di oggetti cavi, che si sfaldavano fra le mani. – Sono una schifezza!

– Ma dove! Provate, prima di aprire la bocca!

Pieno di vergogna, come per punire il suo infantilismo, il falegname tirò fuori dalla tasca quello che gli era sembrato il fischietto migliore e, seguendo l'esempio dei mocciosi, ci fece con l'unghia un'apertura nella parte finale, morse la parte superiore e ammiccando fra le risa e gli sguardi dei ragazzi vi soffiò dentro tutta l'aria che aveva in corpo, fino a far lacrimare gli occhi arrossati. Ne uscì una melodia breve e fioca, che non spiccò il volo come un uccello libero ma si trascinò via come un'oca assonnata. I ragazzini sghignazzarono senza riguardo e riempitasi la bocca di ciliegie non ancora mature fino a farla diventare nera presero a sputargli addosso i noccioli contornati di verde attraverso i tubicini di alcune penne smontate.

– Che musica divina! Non ci capisci proprio niente! Vacci pure in estasi!

– Ahhh!! Andatevene via, fischiettatori sdentati!!

вязалась к нему, а ни к другому, мучился, как немтырь среди говорунов. Он редко отлучался из столярки, разве что в магазин за хлебом, и держал запертой изнутри дверь. Иногда приходил Шевелёв, который жил на Береговой, лязгал костяшками в стекло. У Шевелёва в посёлке была баба и баня, а в прошлом ходка за растрату имущества. Они и скорешились по одной статье на вольном поселении, а когда отбыли своё, остались тут же на столярных работах. Шевелёв помогал Горлову, а попросту торчал в столярке, не зная, чем повязать руки. Гели унять себя не получалось, Шевелёв запивал сам и подводил под монастырь его. Работа стопорилась, стаканились за верстаком, таскаясь за водкой через весь посёлок, привечали всех, кто шёл не пустой...

– Чего мышкуешь? – присаживаясь на порог и первым делом закуривая, выбив о колено мундштук из сплющенной алюминиевой трубки, хрипло от пьянства и высоких разговоров со своей бабой спрашивал Шевелёв.

Шевелёв подозревал Горлова в том, что он запасся левым заказом и день и ночь корпит над ним, чтобы втихушку просадить деньги. Он через плечо нет-нет, а поглядывал в чёрный провал мастерской, хищно шарил голубыми вязкими глазами по верстаку, но ничего такого не находил. «Наверное, заныкал под шконку», – догадывался Шевелёв.

– Жизнь кончается, Васька, вот что, – принимая пачку питерской «Примы» и выколупнув из неё сигарету, задумчиво отвечал Горлов, тычась

No, non riusciva proprio a spiegarsi cosa stesse succedendo, per quale motivo fosse così irritato!

E proprio per questa sua incapacità di dire, esprimere, dar voce, identificare il proprio dolore e capire di cosa si nutrisse e per quale motivo, il perché si fosse affezionato proprio a lui e non a un altro, si tormentava come un muto fra chiacchieroni. Si allontanava raramente dalla falegnameria, solo per andare a comprare il pane, e teneva la porta chiusa dal di dentro. A volte veniva a trovarlo Ševelëv, quello che viveva in via Beregovaja, e gli picchiava con le nocche sul vetro. Ševelëv al villaggio aveva una donna e una sauna, e alle spalle una condanna per appropriazione indebita di beni. Sulla base di uno stesso articolo si erano accordati per la deportazione volontaria, e dopo aver scontato la pena erano rimasti lì a lavorare come falegnami. Ševelëv aiutava Gorlov, ma in realtà se ne stava nella falegnameria senza sapere cosa fare. Non riuscendo a calmarsi, si dava al bere e vi trascinava dentro anche Gorlov. Il lavoro si arrestava, i due brindavano dietro al bancone e poi si trascinavano per tutto il villaggio in cerca di vodka, salutando tutti coloro che ne erano forniti.

– A che pensi? – chiese Ševelëv con voce rauca per l’ubriachezza e per le litigate con la sua donna, sedendosi sulla soglia e mettendosi subito a fumare, dopo aver svuotato, sbattendolo contro il ginocchio, il bocchino della sua pipa d’alluminio appiattita. Ševelëv sospettava che Gorlov si fosse procurato un lavoro abusivo e stesse sgobbando giorno e notte su di esso per poi sperperare di nascosto il guadagno. Gorlov di tanto in tanto lanciava delle occhiate allo scuro scantinato dell’officina e percorreva avidamente il bancone da lavoro con i suoi vischiosi occhi azzurri, senza trovarci niente di speciale. “Avrà nascosto tutto sotto alla sua branda”, tirava a indovinare Ševelëv.

– La vita sta finendo, Vas’ka, ecco com’è – rispose pensieroso Gorlov, accettando un

лицом с зажмуренными глазами в расшипереиную горсть шевелёвских пальцев, где клокотала зажжённая спичка. – Умирать скоро, душа на покой просится...

Он не обижался на мнительность Шевелёва, как Шевелёв прощал ему мелкий прибыток, который не шёл в общаг. Шевелёв позёвывал, сонно глядя на жёлтую дорогу, на пустоту неба над головой:

– Херомантия это всё, Орёл!

– Почему хиромантия?

– А как же не херомантия?

Дарма никогда не являлся Шевелёв, приносил в кармане початую бутылку. За ней по тайным каналам находил ещё, таская из дома то тазик огурцов, то кабачки, а то копая в огороде молодую картошку... Водка кончалась, Шевелёв уползал домой, а столяр день-другой умирал у себя, осушая ковш за ковшом, от горла до живота проливая струившеюся по губам воду. Вяло водил рубанком, забывая, что делает, долго пялился на стружку, убегавшую из-под лезвия. И думал о какой-то чепухе. Вот росло зачем-то дерево, набиралось от низу до верху зеленью, желтело и облезало по осени, а однажды его свалили, распилили – и дерева не стало, вышла из его жизни дребедень вроде стульчика или бабьей толкушки. Или вот ходил он весной в лес выбирать берёзу на заготовку, избродил всё утро, а таки нашёл одну ровную, прогонистую, снизу вовсе без сучков, и вдруг, вместо того чтобы ширкнуть её пилой и повалить, задумался: может быть, никто никогда не видел в лесу этой берёзы! Видел и хорошо знал этот

pacco di “Prima” pietroburghesi ed estraendone una sigaretta, per poi avvicinarsi col viso e gli occhi strizzati alla mano di Ševelëv, fra le cui dita fremeva un fiammifero acceso. – Fra poco moriremo, l’anima chiede pace...

Gorlov non si offendeva per l’ipocondria di Ševelëv, come anche Ševelëv gli perdonava sempre quelle piccole entrate che non andavano a finire nella cassa comune. Ševelëv sbadigliò, guardando con occhi assonnati la strada gialla e il vuoto del cielo sopra di lui.

– La cazzomanzia è tutto, aquila!

– Che c’entra la cartomanzia?

– E perché non la cazzomanzia?

Ševelëv non compariva mai a mani vuote ma portava sempre in tasca una bottiglia già aperta. Oltre a quella in qualche strano modo riusciva sempre a trovare dell’altro, e si portava dietro da casa una ciotola di cetrioli, di zucchini o delle patate novelle raccolte nell’orto. Poi la vodka finiva, Ševelëv se ne tornava a casa e il falegname continuava ad ammazzare le giornate nella sua officina, prosciugando un mestolo dopo l’altro e versandosi sulla pancia l’acqua che non riusciva a trangugiare.

Reggeva fiaccamente la pialla, si dimenticava di quello che stava facendo e fissava a lungo un truciolo fuoriuscito dalla lama tagliente. E pensava a qualche sciocchezza. Ecco, per qualche strano motivo un albero cresceva, si ricopriva da cima a fondo di verde, si ingialliva e in autunno perdeva le foglie; poi un bel giorno veniva abbattuto, segato e smetteva di esistere; dalla sua vita veniva fuori qualche assurdità del genere di uno sgabello o di uno schiacciapatate. Oppure pensava a come in primavera se n’era andato nel bosco a scegliere una betulla per i semilavorati, aveva vagato tutta la mattina e alla fine ne aveva trovata una bella dritta, sottile e senza nodi nella parte inferiore; e d’improvviso, invece di spazarla via con la sega e abbatterla, si era fermato a riflettere:

лес, часто собирал здесь грибы, но вот именно этой берёзы не приметил, не встал рядом с ней ногой, не обнял рукой её шершавого, убаювающего мельчайшей известью бока, не просверлил отверстия и не попил сока, – а он, единственный во всём человечестве, зачем-то нашёл, встал, прикоснулся и даже удавил в ней жизнь ради ружейного приклада, а вдобавок ещё полизал язвенно-белым языком серебристый от сочащейся влаги пенёк, пока его не облепили красные муравьи. Стало быть, эта берёза была придумана для него одного и, может быть, не только она, но и что-то или кто-то ещё, только он не умеет протянуть руку и взять! Но что? кто? где? Кем или чем дано?.. Но скоро должна была быть суббота, а Лёха-пастух, заказывая приклад, принёс ему механизмы ружья завернутыми в газету. Он бы выбросил её или пустил на распыл табака, который собирал в банку, выдавливая в неё подобранные на улице окурки, но в конце страницы приветил стих:

Не умирать, хотя и нет бессмертья,
Но, умерев, боюсь, что не легко
Вдруг оглянуться сквозь тысячелетья
И содрогнуться: как мы далеко!
Как далеко друг друга мы любили,
А нынче на космических ветрах –
Соринки, прах, щепоть карманной пыли
И жили-были, сказка в двух словах...

forse nessuno prima di lui aveva mai visto quella betulla! Certo molte persone avevano sicuramente visto quel bosco e lo conoscevano bene, ci venivano spesso a raccogliere i funghi, ma quella betulla in particolare non l'avevano mai notata, non si erano mai messi al suo fianco, non avevano mai abbracciato il suo tronco ruvido e ricoperto di bianca calce sottile, non lo avevano mai forato né avevano mai bevuto il suo succo; e invece lui, unico fra tutti gli uomini, per qualche strano motivo l'aveva trovata, si era fermato, l'aveva toccata e aveva perfino strangolato in lei la vita per farne un calcio di fucile, e come se non bastasse con la sua lingua bianca come un'ulcera ne aveva perfino leccato il ceppo argentato che stillava umidità, prima che si ricoprisse di formiche rosse. Forse quella betulla era stata pensata per lui solo e, forse, non solo lei, ma anche qualche altra cosa o qualcun altro, solo che lui non era in grado di tendere la mano e afferrarlo. Ma che cosa? Chi? Dove? A chi o a che cosa si doveva?

Ma presto sarebbe stato sabato, e il pastore Lëcha, che gli aveva commissionato il calcio di fucile, gli aveva già portato i meccanismi del fucile avvolti in un foglio di giornale. Lui era stato lì lì per gettare via il foglio o metterlo nel contenitore in cui raccoglieva il tabacco sfuso e in cui svuotava i mozziconi raccolti per strada, quando una poesia in fondo alla pagina aveva attirato la sua attenzione:

Non morire, benché non esista l'immortalità
Ma da morto temo non sarà semplice
Guardarsi improvvisamente indietro attraverso i millenni
E fremere: come siamo lontani!
Come ci siamo amati lontano l'uno dall'altra,
E ora nei venti cosmici –

Стихов столяр не любил, даже затасканного в зоне Есенина, а в заучивании складной писанины ещё со школы только и видел проку, что это развивало память. Однако этот стих из районки ему неожиданно глянулся, и он от скуки аккуратно выдрал его, щепочкой приколот к стене над топчаном. Иногда смотрел на простые ранящие слова, удивлялся, хотя и слабо соображал, как это человек может обратиться в «щепоть карманной пыли». «Должно быть, для красоты» – приходила догадка, как вообще мысли не давали покоя. Точно голодные цыплята в коробке на стук ногтя, они теснились в его голове, подавляя одна другую, пищали и долбили изнутри незримыми клювиками, прося жрать и сами пожирая его. И оттолкнуть их, заставить замолчать, как брошенных в налитую дождём ямку цыплят, могла только смерть. Он давно всё сообразил про неё, разглядел её со всех сторон, ничего в ней небывалого для себя не нашел, а страха её, хотя бы малейшего трепета перед ней не вызвал в сердце. Его не станет когда-нибудь, окошко столярки забьют досками, в гробу расползётся пожираемое червями лицо, одежда истлеет и со временем сгниют кости, а могила задуреет травой и провалит сопревшие полати, снова обратится в пустую землю и правнуки сегодняшних мальчишек будут играть на ней в футбол или копать червей – будто никогда и не чадил высокого неба столяр Николай Горлов! Но дум о смерти, об облаковой летучести жизни и о тягости ушедших дней, в которые он когда-нибудь заронится, как один за другим остались в них безвестные смертные до него, ужаснее и невозможнее было другое: как-нибудь, каким-

Pulviscoli, cenere, un pizzico di polvere d'una tasca
E c'era una volta, una fiaba in due parole...

Le poesie al falegname non piacevano, nemmeno quelle più banali del tipo Esenin, e nello studio delle belle lettere fin dai tempi della scuola non aveva visto altro che un buon mezzo per sviluppare la memoria. Nonostante ciò, quella poesia del giornale di quartiere lo aveva inaspettatamente colpito, e lui dalla noia la strappò accuratamente dalla pagina e la infilzò con una puntina nel muro sopra la sua branda di legno. A volte guardava quelle semplici ma affilate parole, e si stupiva, anche se riusciva a stento a concepire com'è che un uomo possa trasformarsi in un "pizzico di polvere da tasca". "Forse per bellezza" supponeva a volte, visto che i pensieri non gli davano pace. Come pulcini affamati in gabbia che al tocco di un'unghia si schiacciano l'uno sull'altro, così i pensieri si ammassavano nella sua testa, pigolando e perforandolo dal di dentro coi loro becchi invisibili, implorando cibo e divorandolo essi stessi. E metterli da parte, costringerli a tacere come tacciono i pulcini gettati in una buca piena di acqua piovana, avrebbe potuto solo la morte. Lui già da tempo aveva capito molte cose di lei, l'aveva analizzata da diversi punti di vista senza trovarvi nulla di nuovo, e proprio per questo il suo cuore a quel pensiero non provava né terrore né il più minuscolo tremito. Un bel giorno avrebbe smesso di esistere, la finestrella della falegnameria sarebbe stata inchiodata con delle assi, nella bara il suo viso mangiato dai vermi si sarebbe disfatto, i suoi vestiti si sarebbero ridotti in polvere e col passare del tempo le sue ossa sarebbero andate in putrefazione; la tomba si sarebbe ricoperta d'erba, e una volta sprofondato il marcio pancaccio, si sarebbe trasformata nuovamente in semplice terra, su cui i pronipoti dei ragazzini di oggi avrebbero giocato a calcio o scavato in cerca di vermi – come se il falegname Nikolaj Gorlov non fosse mai

нибудь высшим разумом знать *потом* и дырявым для истины земным естеством догадываться *теперь*, что он на веки, до скончания мира и даже после того, остался позади, в бездне, спичечным огоньком клокочущий у ветреного мальчишки в горсти, и на восходах будущих солнц его уже не будет, и недоумевать, как такое могло произойти, глядеть вперёд отсюда и назад от той загробной черты, но не видеть в мелькающих лицах своих очертаний, этих вдавленных корявых туб, покатога лба и угрюмых, близко смотрящих глаз...

В субботу с утра небо было в тёмных, будто жжёных с порохом, тучах, он кончил дело раньше задуманного и после обеда приспал от скуки. Но дождя не вышло, только сухим ветром щедро намело на крышу листья тополей. Оттого ли, что было пасмурно, с пробуда ли, но открывшему глаза столяру ещё острее показалось осеннее в природе, хмурее, с низким дымным небом, день. На лужку перед столяркой, как обычно об эту пору, приезжий рыбак в закатанных под коленами броднях ловил кузнечиков, поводя по выстриженной телятами траве сачком из куска тюли. Кузнечики глупо прыгали в сетку, но застревали копытцами в мелкой ячее, стрекотали, а он извлекал их по одному и отрывал им задние ноги, прежде чем посадить в бутылёк. Столяр отвернулся от окошка; руки его тряслись, чистое бельё с вечера было собрано в сумку, а бриткое лезвие и помазок он спросит у Шевелёва. Можно было идти, но Горлов не спешил, постучал об верстак банкой, вытрясая табак, но газетки не обнаружил, содрал со стены стишок и, ухмыляясь, скрутил в трубку. За дверьми, рассевшись на завалинке и

esistito. Ma più del pensiero della morte, della nebulosa volatilità della vita e del peso dei giorni passati in cui prima o poi si sarebbe lasciato cadere anche lui, come uno dopo l'altro vi erano caduti senza lasciare traccia altri mortali prima di lui, la cosa più terribile e insopportabile per lui era un'altra: il riuscire in qualche modo, con l'aiuto di un intelletto superiore, a cogliere il *dopo*, ma allo stesso tempo con la propria natura terrena non all'altezza della verità intuire *adesso* che lui sarebbe rimasto indietro per sempre, fino alla fine del mondo e anche oltre, sarebbe rimasto in un abisso, fiammella tremolante di un fiammifero in mano a un ragazzino scapestrato; e al sorgere dei soli futuri lui non ci sarebbe stato più, e si chiedeva come potesse accadere una cosa simile, come potesse guardare avanti da qui e indietro da quella linea dopo la morte senza vedere nei visi che gli baluginavano attorno i suoi tratti, quella fronte inclinata e quegli occhi cupi che ti guardavano da vicino...

Il sabato mattina il cielo era ricoperto di nuvole scure, come di povere da sparo bruciata. Gorlov terminò il lavoro prima del previsto e dopo pranzo fece un pisolino per la noia. Ma di pioggia non ne cadde, solo un vento secco riversò sul tetto una grande quantità di foglie di pioppo. Forse proprio perché il tempo era così cupo, forse anche a causa del risveglio, non appena il falegname riaprì gli occhi la natura gli sembrò essere ancora più autunnale, e il giorno ancora più tetro, con quel cielo basso e fumoso. Nel praticello davanti alla falegnameria, com'era abitudine a quei tempi, un pescatore forestiero con i cosciali rimboccati sotto al ginocchio pescava grilli, trascinando sull'erba brucata dai vitelli una reticella ottenuta da un pezzo di tulle. I grilli saltavano stupidamente nella rete, si impigliavano con le zampette nei minuscoli fori del tessuto e stridevano; il pescatore li tirava fuori uno a uno e gli staccava le zampette posteriori, per poi gettarli in una bottiglia. Il falegname volse le spalle alla finestra: le sue mani tremavano,

крылечке, тяжело отдыхали потными грудями бабы. Они шумно и давно ждали с лугов скотину, клевали семечки и несли вздор, вынужденные из нагретых резиновых галош босые запылённые ноги.

– ...Собрались выносить его, ну, попятно, сперва венки, потом гроб, табуретки, а про крышку–то забыли! Крышку–то надо было наперёд гроба! Вернулись за крышкой, а это первый грех. Дальше пошло, слушай! Мотыка сидел на кузове, кидал ветки, а веток–то до кланбища не хватило! Третье: земля лишняя осталась, не всю забросали на могилу. И ещё одно плюсуй: руки–то у Степана не остыли, а это уж точно к новому покойнику. И что ты думаешь? Недели не прошло, а Витька у них утонул, пьяный из лодки вывалился в реку, запутался в сети! А понесли бы сразу крышку, так ничего бы и не было...

Столяр не любил баб за их гам и хохот, за мокрый пот под мышками, за сплетни, ради которых они кучковались у столярки задолго до урочного часа, за то, что ломали акацию на пруты, а коли случался дождь, лезли в двери или с прилипшими к ногам подолами трусили под навес, где он пилил хлам. Па улице он старался обходить их краем дороги, свернуть в проулок, утопая галошами в грязи, а если прошмыгнуть не удавалось, понуро здоровался и брёл не оглядываясь, чуя шилья бабьих глаз под лопатками. Но от ворот не воротил, если искали в нём помощника, молча принимал за работу бутылку водки, пакушку листового чая или курево, а от несознательных открещивался: «Мне этого на дух не надо!». Может быть, он и в столярке–то стал жить, забросив клетушку в посёлке, потому, что по

la biancheria pulita era già stata messa nella borsa la sera prima, mentre la lama e il pennello per farsi la barba li avrebbe chiesti a Ševelëv. Era pronto per partire, ma non aveva fretta; sbatté il contenitore contro il tavolo, si versò del tabacco e non trovando carta da giornale strappò la poesia dal muro e con un sorrisetto ironico si arrotolò una sigaretta. Fuori dalla porta, sparse sul terrazzino e sugli scalini d'ingresso, respiravano pesantemente le donne dai petti sudati. Stavano aspettando già da un pezzo l'arrivo del bestiame dai prati, masticavano semini e si raccontavano delle stupidaggini, togliendo dalle soprascarpe di gomma riscaldate dal sole i piedi impolverati.

– Si sono radunati per portarlo via e, ovvio, prima le corone, poi la bara, gli sgabelli, ma del coperchio si sono dimenticati! Il coperchio doveva precedere la bara! Sono tornati indietro a prendere il coperchio, e questo è stato il primo peccato. Ma non è tutto, sta un po' a sentire. Mot'ka sedeva sul cassone e lanciava i rametti, ma i rametti sono finiti prima di arrivare in cimitero! E terzo: è avanzata della terra, non l'hanno gettata tutta nella tomba. E aggiungi ancora una cosa: le mani di Stepan non si erano raffreddate del tutto, e questo è senza ombra di dubbio presagio di un nuovo morto. E pensa un po'? Non è passata nemmeno una settimana e il loro Vit'ka è affogato: era ubriaco ed è caduto dalla barca nel fiume, si è impigliato nella rete. Se avessero portato subito il coperchio non sarebbe successo niente...

Al falegname le donne non piacevano: non sopportava il rumore delle loro voci, il loro risolino, le macchie di sudore sotto le loro ascelle e i pettegolezzi per cui si trattenevano a piccoli gruppi presso la falegnameria ben oltre l'ora stabilita; non le sopportava perché rompevano l'acacia in verghe, e in caso di pioggia entravano dalla porta o, con l'estremità dei vestiti che si attaccava alle gambe, correvano sotto la tettoia dove lui segava il ciarpame. Lungo la via cercava di evitarle camminando sul bordo della strada,

старому русскому оберегу отшагнула столярка к дороге, встала на перешейке сёл. Здесь не лезли с трепотней и было бы совсем хорошо, когда бы со светом и вечером не прогоняли стадо, не падали бы по ночам акации, буравя память и нагоняя смертную тоску, да парни не донимали бы в темноте, водя под навес тискать девчонок.

Загомонили с улицы, повскакивали, оправляя платья: из-за огородных жердей заревели морды коров и светлоглазых телят, ещё не отходивших от материнского пуза. Крепко, как от сыромятного ремешка, пахло в окошко скотским потом и горячей мочой. Наплыло шипучее, запорашивающее волосы, чёрное облако. Длинный обветренный парень в белой, в красных точках раздавленных комаров, рубашке, сидя на рыжей кобыле, на спине которой, позади седла, болтался скатанный дождевик и бренчал прожжённый котелок, расплескивал над головой жало свитого из бечевы кнута, остро выпуская его на сухие зады шелудивых быков, бодавших друг друга под угор.

– Ну, нагнал, Лёшка, мошки, не мог влугу оставить! – отмахиваясь сломенной полынью, прищурено хохотали бабы и отперхивали чёрные комочки, до крови сцарапывали жалимые обнаженные ноги.

– Ништяк! – задниками кирзовых сапог сажая лошади в дышащие бока, и под широкого козыр ка сней бейболки «Речфлот» миролюбиво отвечал пастух.

Горлов пождал, пока, плюхая себе под ноги, пройдёт стадо, и бабы, обточив языки, разбредутся по дворам, и с вещами подался на выход. Ветер, словно бы выталкивая его на крыльцо, быстро подул сквозня-

svoltando nelle stradine o affondando con le soprascarpe nel fango; se però non gli riusciva di sgattaiolare via salutava abbattuto e proseguiva senza voltarsi, percependo sotto alle scapole lo sguardo dei loro occhi, come un punteruolo. Ma se venivano a chiedergli aiuto non voltava le spalle, e in cambio del lavoro accettava silenziosamente una bottiglia di vodka, un pacco di tè in foglie o di tabacco, ma rifiutava categoricamente qualsiasi proposta indecente. “Non ne ho bisogno!” Forse aveva abbandonato la casetta al villaggio e aveva iniziato a vivere nella falegnameria perché questa si era ritratta verso la strada e si era ritrovata al bivio fra due villaggi, in una posizione che anticamente era ritenuta una sorta di talismano portafortuna. Qui non veniva gente a chiacchierare e sarebbe stato del tutto perfetto se la mattina e la sera non ci avessero fatto passare il bestiame, se di notte non fossero cadute le acacie, trapanandogli la memoria e riempiendolo di una nostalgia mortale, e se i ragazzi non vi avessero rincorso le ragazze, abbracciandole al buio sotto la tettoia.

Dalla strada arrivò un baccano, tutti saltarono su, aggiustandosi i vestiti: da dietro i palletti degli orti muggirono i musì delle vacche e dei vitelli dagli occhi chiari non ancora del tutto svezzati. Dalla finestrella giungeva un forte odore di sudore animale e di piscio caldo, simile all’odore di un cinturino di pelle non conciata. Sopraggiunse una spumeggiante nuvola nera, somigliante a dei capelli sparsi. Un ragazzo slanciato con una camicia bianca, puntellata qua e là del rosso del sangue delle zanzare uccise, a cavallo di una giumenta color rame sul dorso della quale, dietro alla sella, sobbalzava un impermeabile arrotolato e tintinnava una gavetta consunta, faceva volteggiare sopra la testa la lingua della frusta di spago attorcigliato, lasciandola ricadere incisivamente sul posteriore dei tori rognosi, che si davano cornate a vicenda.

– Eh, Lěška, alla fine li hai radunati i tuoi moscerini, non sei riuscito a lasciarli nei cam-

ком в отпахнувшееся с проволочного крючка окошко, когда столяр с видимой волей отворил дверь. Он закрыл мастерскую на висячий замок, но ключ, размыслив, брать не стал, оставил в замке, повернув его скважиной к двери.

Пастух, отъехавший за огороды, услышал его и потягом узды завернул кобылью морду обратно, подскакал к крыльцу, чтобы спешиться. – Готов мой приклад, дядя Коля? Я к тебе несколько раз заезжал, но не достучался...

– После, после, – махнул Горлов рукой, не глядя в изъеденные мошкой и дымом глаза пастуха, давая понять, что разговора нынче не будет. Он спустился с крыльца и в обход лошади направился в посёлок.

– А ты далёко собрался?

– После переговорим...

С тополей сыпалась мёртвая листва, лопалась под ногами, как пустые спичечные коробки. Горлов наступал на неё устало, хотя особой работой не разжился в это лето: так, выстрогать и насадить топорщице, сладить дюжину граблей в покосы или сколотить ящики под цветы... На дорогах дымились коровьи шевляки, обсиженные гудящими мухами. В зелёной плёнке блестели закисшие лужицы давнего дождя, дыша тяжёлым паром. В лужах плавилась пиявка и тёмно-синие облака. Стебли высоких трав уже посохли и набрались квёлой желти, но та трава, что пониже, была полна марающей зелени. Его всегда удивляло, что тут, меж высохшей и живой травой, между желтизной и зеленью, и есть черта между жизнью и смертью, которую немисли-

pi! – Ridacchiarono le donne salutandolo con dei rametti di assenzio, socchiudendo leggermente gli occhi e grattandosi le crosticine nere fino a far sanguinare le gambe nude piene di punture.

– Sicuro! – Rispondeva pacificamente il pastore da sotto la larga visiera blu del cappellino della “Rečflot”, dando dei colpetti con i suoi stivali alti ai fianchi ansimanti della cavalla. Gorlov attese il passaggio del bestiame e che le donne, finito di affilare le lingue, si fossero disperse nei vari cortili; poi prese le sue cose e si avviò verso l’uscita.

Quando il falegname, con evidente convinzione, spalancò la porta, il vento, quasi spingendolo fuori sul terrazzino, fece subito corrente attraverso la finestrella aperta e fissata con il gancetto. Gorlov chiuse la falegnameria con un lucchetto, ma dopo averci pensato un po’ decise di non portare con sé la chiave, e la lasciò nel lucchetto, limitandosi a girarne il foro verso la porta.

Nel sentirlo, il pastore, che aveva già superato gli orti, con uno strattone alle redini volse indietro il muso della cavalla e galoppò verso il terrazzino.

– È pronto il mio calcio, zio Kolja? Sono già passato varie volte, ma non mi hai mai aperto... – chiese dopo essere smontato da cavallo.

– Più avanti, più avanti – rispose Gorlov con un cenno della mano, senza guardare gli occhi tormentati dai moscerini e dal fumo del pastore per fargli capire che non aveva voglia di parlare. Scese dal terrazzino e superato il cavallo si diresse verso il villaggio.

– Stai andando lontano?

– Ne parleremo più avanti...

Le foglie morte cadevano dai pioppi, scoppiettando sotto i piedi come vuote scatole di fiammiferi. Gorlov ci camminava sopra con fare stanco, sebbene durante l’estate non si fosse procurato particolarmente tanto lavoro: solo piallare e introdurre il manico di

мо переступить и через какую только бабочки летают, да кузнечики прыгают, пока им не вырвут ноги и не напялят на крючок. Но нет ничего, ничто не преградит дороги, никто не окрикнет напослед, не вышагнет из сумерек матушка в цветном платке и не застит светлой рукой глаза! Горлов понял это наверно, в тишине столярки не раз вскидывая к груди стволы Лёшкиного ружья и только не умея осознать, для чего бы это всё – этот день с облаками, ветерок в волосах и падающие акании – могло быть сейчас же оставлено, что вместе с тем страхась задуматься, оборвать незримо протянутую нить, ничего не ощутив, не осмыслив, не задержавшись на мгновение на краю... Стоя в реке, держа одной рукой гибкое выдвижное удилище, упёртое концом в живот, знакомый рыбак подкуривался, от ветра запахнувшись лицом в разворот куртки, под мышку. Он был похож на дремлющего аиста, уткнувшего клюв под крыло с тем, чтобы с утренним солнцем сняться с золотой от гальки отмели и улететь далеко, в пухнувшую от дождевых стрел даль. Не затаив дыхание, а вздрагивая ноздрями часто и крупно, Горлов смотрел на рыбака, пока он ещё был здесь, на сверкающую в воздухе фиолетовую жилку и реку в рваных оспах осенней остуды, гадал, клюнет или нет. Не клевало; так и должно было случиться.

– Зря стоишь, иди домой! – негромко крикнул он рыбаку, но рыбак не расслышал или попросту поленился обернуться, а, может быть, чего-то побоялся, как вообще страшно услышать чужой шёпот за спиной. Со смертью жены стало допекать Горлова душевное беспокойство, от

un'acchetta, mettere a posto una dozzina di rastrelli per la fienagione e preparare delle casse da fiori... Sulle strade gli escrementi di vacca ricoperti di mosche ronzanti emanavano vapore. Le pozzanghere rimaste dalle ultime piogge, ricoperte da una pellicola verde, brillavano e svaporavano. In esse nuotavano le sanguisughe e le nuvole blu scuro. I fusti di erba alta si erano già seccati e ricoperti di un debole giallo, ma l'erba più bassa era invece piena di un verde sporco. Lo stupiva sempre che proprio lì, fra l'erba essiccata e quella ancora viva, tra il giallo e il verde, scorresse la linea di demarcazione tra la vita e la morte, che era impensabile oltrepassare e oltre la quale potevano volare solo le farfalle, o che solo i grilli potevano saltare, almeno fino a quando non gli avessero tolto le zampette e non li avessero appesi ai gancetti. Ma non ci sarebbe stato niente, proprio niente a sbarrarti la strada, nessuno a urlare all'ultimo minuto; nessuna donna sarebbe uscita dalle tenebre con un vestito a colori e ti avrebbe coperto gli occhi con la sua mano lucente! Probabilmente Gorlov questo lo aveva capito quando, nel silenzio della falegnameria, aveva portato più volte al petto le canne del fucile di Lěška, senza però riuscire a capire per quale motivo tutto quello, quel giorno nuvoloso, il venticello nei capelli e le acacie che cadevano avrebbe potuto essere interrotto in quel preciso istante; oltre a ciò aveva anche paura di spezzare quell'invisibile filo teso senza sentire nulla, capire nulla, senza soffermarsi un minutino sull'orlo... In piedi nel fiume, reggendo con una sola mano la lenza mobile e flessibile appoggiata con un'estremità alla sua pancia, un pescatore di sua conoscenza stava fumando una sigaretta, riparandosi il viso dal vento nell'apertura della giacca, sotto l'ascella. Era simile a una cicogna sonnecchiante, che aveva ficcato il becco sotto l'ala, per poi levarsi ai primi raggi del sole dal fondo di ghiaia dorata e volarsene via lontano, verso quelle nubi gonfie di pioggia. Senza trattenere il respiro, ma al contrario dilatando spesso le narici, Gorlov guardava ora il pescatore,

какого он и на зоне не мучался. Это с тех пор он искал уединения, чурался женщин и тихо, не показываясь, любил детей, которых так и не насадил на земле, как те акании у столярки. И думал от горя и тоски о жене со страхом, что когда-нибудь он воззрится на прожитое и увидит, что со дня погребения Полины прошло десять, двадцать, тридцать, а то и больше лет – и каково-то будет ему чувствовать и видеть эту пропасть! Да и как вообще такое могло бы случиться, чтобы Полина осталась так далеко? «Сорок лет, как я схоронил Полину!» – однажды должен был сказать он, и мысль об этом, о неотвратимости этого, не лезла в него, витала в воздухе, была кругом, везде, куда бы он не взглянул, стояла зримо, как столб солнечной пыли, даже если он закрывал глаза. И сам себя спустя сорок лет Горлов зрел в фиолетовой дымке и тоже не мог взять сердцем, что когда-то ему будет столько лет, сколько теперешним старикам, и он подумает с грустью: полвека назад я вышел из столярки, был тёплый пасмурный день... Не могло такого быть! Где будет его столярка? Куда денутся бабы? Неужели в воздухе будут витать такие же чёрные мошки? Разве всё это будет? А если нет, то как же он так спокойно скажет: полвека назад? Нынче ночью, страдая не столько от смерти Полины, сколько томясь не иссякающей памятью о ней, он задремал, а уже через миг вскинулся оттого, что от ветра голодно лязгнуло стекло в окошке. Как всегда после короткого забытья, мир резко, остро увиделся ему, будто в первые часы жизни. И он вдруг выхватил неоткуда, что смерть мгновенна, а вот похороны длятся столько, сколько человеку требуется

fin tanto che era ancora lì, ora la venatura violetta che scintillava nell'aria, e ora il fiume, e tirava a indovinare se il pesce avrebbe o meno abboccato. Non abboccava: evidentemente doveva andare così.

– È inutile che te ne stai lì, vattene a casa! – gridò al pescatore, ma quello non sentì o semplicemente non ebbe voglia di girarsi, oppure ebbe paura, visto che è abbastanza spaventoso sentire un sussurro sconosciuto alle proprie spalle.

Dopo la morte della moglie una sorta di inquietudine, che non lo aveva torturato nemmeno quando era stato in prigione, aveva cominciato a infastidire l'animo di Gorlov. Da quel giorno aveva cominciato a cercare la solitudine, a evitare le donne, e silenziosamente, senza darlo a vedere, ad amare i bambini che non aveva fatto in tempo a seminare, come quelle acacie nei pressi della falegnameria. E per il dolore e la nostalgia della moglie, con un certo terrore pensava che sarebbe arrivato il momento in cui si sarebbe voltato a guardare la propria vita e avrebbe visto che dal giorno della sepoltura di Polina erano già passati dieci, venti, trenta e forse ancora più anni. Come sarebbe stato percepire e vedere quell'abisso? E in generale come era potuto accadere che Polina restasse tanto lontano? "Sono quarant'anni che ho sepolto Polina" avrebbe dovuto ammettere prima o poi, e questo pensiero, la sua ineluttabilità non penetrava in lui, ma vagava nell'aria, tutt'intorno a lui, e restava visibile ovunque guardasse, anche quando chiudeva gli occhi, come una colonna di polvere di sole. E lui stesso, immaginandosi quarant'anni più tardi in quella nebbiolina viola, non riuscì a sua volta a capacitarsi del fatto che un giorno avrebbe avuto tanti anni quanto gli attuali vecchi e avrebbe pensato con tristezza: cinquant'anni fa sono uscito dalla falegnameria, era un giorno tiepido e cupo... Una cosa simile non poteva accadere! Dove sarebbe stata la sua falegnameria? Dove si sarebbero cacciate le donne? Nell'aria avrebbero ronzato quegli stessi mosce-

для осознания себя во времени и в мире, где всё те же метели и морозы, капель и ручьи, дивный рост трав и жёлтое увяданье, но уже без любимого человека. О, сколько раз он терзался этим и не умел, а, может, стыдился назвать свою печаль: первый дождь без Полины, первая трава без Полины, первый снег без Полины... Это было больно и страшно, тем паче что круг этих явлений, которые идут, те же, что и века назад, но уже без Полины, был столь широк, что он не успевал «хоронить» Полину для всех этих изменений в мире. Стоило ему взяться за новую работу – он брался за неё после Полины, ехал ли он на пилораму, дрожа в кузовке, – он ехал после Полины, собирался ли в город, шёл ли в баню или попросту пил – всё после Полины. Вся жизнь его однажды стала после Полины и он силился, но не мог представить, как вообще жизнь будет после него самого? Останется такой же? – но зачем он тогда жил? ради чего столярничал? шёл по улице? крикнул рыбаку «Зря стоишь?» и почём ведал, что «зря»?...

Низкая, в сером переднике с чёрными от земли коленами, старуха – теща Шевелёва – согнувшись крючком, ржавой крышкой от железной банки с краской подкапывала в огороде молодую картошку, таская на межу тяжёлую зелёную ботву в гроздях балаболок. Разогнувшись до ломоты в глазах, чтобы дать телу утоление, она увидела опёршегося о прясла Горлова и замерла, слеповато приглядывая его, пока не всплеснула рукой: «А-а, Колька!».

– Не знаю, оставлять нынче, нет ли картоху на посад или уж не дотягну до весны, раньше сгину? Однако, ведёрко оставляю! – сказа-

rini neri? Sarebbe davvero accaduto? E se no, allora lui come avrebbe potuto dire con tranquillità: cinquant'anni fa?

Adesso la notte, soffrendo non tanto per la morte di Polina quanto per l'inestinguibile ricordo di lei, si assopiva e si risvegliava di scatto un attimo dopo a causa dell'insistente rumore del vento contro il vetro della finestrella. Come al solito, dopo un breve periodo di oblio, il mondo gli apparve in modo più brusco e duro, come nelle prime ore di vita. E improvvisamente tirò fuori da chissà dove che la morte era qualcosa di momentaneo, mentre il lutto durava fintanto che l'uomo non fosse riuscito a concepire se stesso nel tempo e in quel mondo in cui ci sarebbero state le stesse tempeste di neve e le stesse gelate, lo stesso sgocciolio dai tetti e gli stessi ruscelli, la stessa incredibile crescita dell'erba e il suo stesso giallo appassimento, ma non più la persona amata. Oh, quante volte si era tormentato per questo motivo, e non era stato in grado, o forse se ne vergognava, di dare un nome al proprio dolore: la prima pioggia senza Polina, la prima erba senza Polina, la prima neve senza Polina... Era una cosa dolorosa e spaventosa allo stesso tempo, tanto più che l'insieme degli avvenimenti che accadevano come accadevano secoli fa, con la sola differenza che ora accadevano senza Polina, era talmente ampio che egli non faceva in tempo a "seppellire" Polina in vista di quei cambiamenti. Bastava che cominciasse un nuovo lavoro che ecco, aveva cominciato ad occuparsene dopo la morte di Polina; se andava a segare le assi, sobbalzando sul carro, ci andava dopo la morte di Polina; se si dirigeva in città, ai bagni o anche semplicemente a bere, tutto questo accadeva ormai dopo Polina. A un certo punto tutta la sua vita era diventata dopo Polina, ed egli si sforzava ma non riusciva comunque a immaginare come sarebbe stata la vita dopo di lui. Sarebbe rimasta la stessa? Ma allora perché era vissuto? In nome di che cosa aveva fatto il falegname? Aveva camminato

ла запросто старуха, привыкшая думать за всех одна и говорить в единственном числе, и стала, чихая, вытирать изгибом извазёканных в земле кистей под белым, со старушечьи маленькими норками, носом. – Как живёшь-то, Николай?

– Хреново, тётка Маруся! – не затаился Горлов. – Васька дома?

– А куда ему провалиться?! Украл из сумочки двадцатку, купил и потаскиват из горла...

От высокого воротника выпущенной рубахи у Шевелёва закатались витки на сухой шее, дымно-седые нестриженные волосы разнеслись по обе стороны большой головы, будто обдуваемые ветром, на руках набрякли стержнями ученических чернил толстые вены. Шевелёв с храпом всем дряблым горлом, с долгой оттяжкой колол дрова. Баня уже топилась, чёрный пепел бился из трубы в жестяной искрогаситель. Со вчера они сговорились, что он придёт к Шевелёву мыться; Горлов всегда, каждую субботу, ходил к Шевелёву в баню.

– Воды принести? – Горлов, зайдя в ограду, повесил сумку на забор. – Здорово тебе!

Рубаха распахнулась на волосатой груди Шевелёва, где мокла в поту синева наколок: «Тюрьма не школа, прокурор не учитель!». Он бухнул колуном в чурку.

– Башка-то у колона расшаталась! Давал Цыгану дров наколоть, так он всё колунище расщепил – бил-то помимо чурки!

– Жестью оббей, – равнодушно сказал Горлов, глядя на уродливый тупой колун с таким же уродливым колунищем.

per la strada? Urlato al pescatore: “È inutile che te ne stai lì” e in base a cosa sapeva che era “inutile”?

Nell’orto, con un grembiule grigio annerito dalla terra in prossimità delle ginocchia, una vecchietta, la suocera di Ševelëv, curvata a gancio, dissotterrava con il coperchio arrugginito di un barattolo di vernice di ferro le patate novelle, trascinando sul bordo dell’orto i pesanti fusti verdi delle piante di patate. Raddrizzandosi con un leggero capogiro, per concedersi un po’ di tregua, la vecchietta vide Gorlov appoggiato alla parete dello steccato e si irrigidì, guardandolo fissamente per cercare di capire chi fosse, fino a quando batté le mani: – Ah, Kolja!

– Non so, lasciare un po’ di patate per la semina? O alla primavera non ci arriverò e morirò prima? In ogni caso ne lascerò un secchiello – concluse infine la vecchietta, ormai abituata a pensare per tutti e a parlare al singolare, e cominciò, starnutendo, ad asciugarsi con le nocche delle mani sporche di terra il naso bianco, con piccoli buchi da vecchia.

– Come va, Kolja?

– Uno schifo, zia Marusja! – Non si trattenne Gorlov. – Vas’ka è in casa?

– E dove altro potrebbe essere? Mi ha rubato venti rubli dalla borsa, se l’è comprata e ora è tutto un bere a canna.

L’alto colletto della camicia di Ševelëv era arrotondato più volte sul suo collo secco, i suoi canuti e spettinati capelli colore del fumo si distribuivano da entrambe le parti della sua grande testa, come se ce li avesse sospinti il vento, e sulle sue mani le grosse vene si gonfiavano come cartucce d’inchiostro. Ševelëv stava tagliando la legna, intervallando agli sbuffi della sua flaccida gola delle lunghe pause. La sauna si stava riscaldando e dal tubo usciva della cenere nera sul parascintille di latta. Il giorno prima avevano deciso che sarebbe andato da Ševelëv a fare la sauna. A dire il vero ci andava ogni sabato.

– Закуривай, – сели с Шевелёвым на лавочку, отдыхаясь от усталости: Шевелёв от работы, а Горлов от жизни.

В соседней ограде, рядом с низким штакетником, играли на песке пузатый, лет пяти, мальчик в жёлтых босоножках и девочка с пухлыми губами и алым бантиком на макушке. Он то и дело окликал её одной и той же шуткой: «Лерка, тебя спрашивали!». – «Кто?» – простодушно вертела головой девочка, поливая из синей леечки траву вдоль тропинки. – «Двое с носилками, один с топором!» – баском отвечал мальчик. Как только девочка перестала обращать на него внимание, он подскочил и отнял у неё леечку. Она, в обиде вывернув губёнки, закричала на него, распахнувшись в стеклянном плаче круглый ротишко: «Ондай! Слысыс, Колька, ондай, говолю!». Он бегал вокруг неё, воздев на вытянутой руке леечку: «Не ондам! Не ондам!». Девочка крутилась, цеплялась сзади за резинку его шортов, а из леечки лилось на её голову, на зелёное платьице. На крики выплеснулась из дому молодая женщина, приезжая учительница с фиолетовыми от очков косточками переносицы, увела их за руки, что-то громко шепча...

На улице померкло, верно, туча набежала на солнце. Но вместе со стуком двери – Галина, дёрганая жена Шевелёва, выносила под угол помои – Горлов сообразил, что задремал на сугреве, привалившись к тёплой бане, и кепка съехала ему на глаза. Он с прищуром глянул на Шевелёва, который сидел в задумчивости и ничего не замечал вокруг, потом на пустую ограду шевелёвских соседей, где с ветки тополя, покачавшись, плюнулся па завалинку широкий лист.

– Devo portare dell’acqua? – chiese Gorlov, entrando nel recinto e appendendo la borsa allo steccato. – Salve!

La camicia si aprì sul petto peloso di Ševelëv, svelando un’azzurra frase tatuata tutta coperta di sudore “La prigionia non è una scuola, il procuratore non è un maestro!”. Ševelëv conficcò la scure nel ceppo.

– La testa della scure si è allentata! L’ho prestata allo Zingaro per tagliare un po’ di legna, e lui mi ha rovinato tutto il manico, picchiava fuori del ceppo!

– Rivestila di latta – rispose con indifferenza Gorlov, guardando la scure smussata tutta sformata, col manico altrettanto sformato.

– Accenditi una sigaretta – si sedettero entrambi sulla panchina, riposandosi: Ševelëv dalla stanchezza del lavoro e Gorlov dalla stanchezza della vita.

Nel cortile vicino, accanto a una bassa palizzata, giocavano sulla sabbia un panciuto bambino di cinque anni con dei sandali gialli e una bambina dalle labbra tumide e un fiocco rosso in testa. Il bambino di tanto in tanto richiamava l’attenzione della bambina sempre con lo stesso scherzo: “Lerka, ti stanno chiamando!” “Chi?” – ingenuamente voltava la testa la bambina, mentre con un annaffiatoio blu continuava ad innaffiare l’erba lungo il sentiero. “Due con la barella e uno con l’ascia!” rispondeva il bambino con voce baritonale. Non appena la bambina smise di prestargli attenzione lui saltellò verso di lei e le strappò di mano l’annaffiatoio. Lei, offesa, ritirò le labbra e cominciò a gridargli contro, spalancando la tonda boccuccia in un pianto vitreo: “Vidammelo! Hai scentito Kol’ka? Vidammelo ho detto!” Lui le correva attorno, tenendo in alto l’annaffiatoio con la mano tesa. “Non te lo vidò! Non te lo vidò!” La bambina girò più volte su se stessa, poi si aggrappò all’elastico dei pantaloni del bambino, sul didietro, e dall’annaffiatoio l’acqua le si riversò sulla testa e sul vestitino verde. Alle urla sbucò fuori dalla casa

– Как, Васька? – стряхнув длинный пепелок сигареты, дотаявшей от его дремотного дыхания, спросил Горлов.

– В норме. Мать вот только на Орловщине померла...

– Да ты что?! Которого числа?

Шевелёв, думая о другом, вспучил на лбу толстые складки кожи, с придыханием, застигнутый врасплох, соображая и не умея вспомнить, а из его полураскрытого рта невольно выпорхнуло: «О–о–о?!».

– А когда футбол по телику казали?

С Шевелёвым нечего было говорить о тоске, его обгладывала своя тоска –мысль о необходимости сменить паспорт, ибо прежний пришёл в негодность, так как Шевелёв записывал на его страницах метражи, будь то длина оконных наличников, ширина дверей или размеры кладбищенской ограды.

За порчу документа ему выписали штраф, обязали в скорейший срок уплатить и он гадал, где взять деньги. И всё же Горлов поведал о своей думе, о том, что ночью падали акации и листья ронялись на крышу столярки. Шевелёв, как всегда, понял по–своему, имея ввиду своё беспокойство о том, что Горлов мог проведать о его манипуляции с тещиной сумкой:

– А чем я тебе помогу? Пить ты щас не пьёшь, да у меня и нету, Галька последнее в раковину вылила...

– Пришла тётка Маруся с огорода, неся в ведёрке молодые красные картошки в песке, спросила у Шевелёва, извлекая из травы у заплота пустую бутылку:

una giovane donna, la maestra venuta da fuori, con le impronte violacee degli occhiali sul naso, e se li portò via tenendoli per mano, farfugliando qualcosa ad alta voce.

Si fece improvvisamente scuro, o meglio il sole fu coperto da una nuvola. Ma allo sbattere della porta (Galina, la nervosa moglie di Ševelëv, era uscita a stendere il bucato) Gorlov si rese conto che stava sonnecchiando al calduccio, appoggiato alla sauna, e che il berretto gli era scivolato sugli occhi. Strizzando gli occhi guardò prima Ševelëv, che sedeva tutto immerso nei suoi pensieri senza notare quello che accadeva attorno a lui, e poi il recinto vuoto dei vicini dei Ševelëvy, dove una larga foglia di pioppo, dopo essersi dondolata un po' sul ramo, cadde proprio in quell'istante sul terrazzino.

– Come va, Vas'ka? – chiese Gorlov, facendo cadere un lungo pezzo di cenere dalla sigaretta, ormai quasi interamente consumata a causa del suo dormiveglia.

– Nella norma. Mia madre è appena morta dalle parti di Orlov.

– Ma che dici! Che giorno?

Ševelëv, che stava già pensando ad altro, corrugò la fronte e, colto all'improvviso dalla domanda e non riuscendo più a ricordarsi di cosa si stava parlando, si lasciò involontariamente sfuggire dalla bocca semiaperta un "Ooo?"

– Quando hanno mostrato la partita in televisione?

Con lui era inutile parlare di nostalgia: Ševelëv ne aveva già abbastanza dei suoi, di problemi: il pensiero di dover cambiare passaporto, visto che quello precedente era ormai fuori uso, dato che sulle pagine aveva appuntato delle metrature, vuoi la lunghezza degli stipiti della finestra, vuoi la larghezza delle porte o le misure dei recinti cimiteriali. Per aver rovinato il documento gli avevano inflitto una multa da pagare al più presto, e lui stava cercando di farsi venire in mente da dove tirare fuori i soldi. Nel frattempo anche Gorlov continuava a pensare alle sue cose, alle acacie che cadevano di notte e

– Покончал? А баню стопил? Пойду тогда после всех, пошаркаю душеньку, а то, может, нынче помирать...

Глотов уже пожалел, что завёл этот разговор. Морщась и злясь на себя, что морщится, а не может держать себя нормально, стал объяснять, что живого места в себе не найдёт, которое бы не болело, будто очухался после драки и единой целой косточки не чувствует, былого стержня нет.

– Лом проглоти, – надумав, что продаст свою шапку и внесёт деньги за порчу паспорта, без обиды посоветовал ему Шевелёв. Он задавил окурочку в пальцах и, как от праздного разговора, подался в баню налаживать воду в шайки, гремел в открытую дверь тапками.

... Мылись вместе; Шевелёв, как прежде, поскоблил ему шею станком, а когда выбежал в предбанник за дровами, Горлов, холодея, швырнул в печку и станок, и помазок.

– Пойдём, я с Гальки бутылку стрясу! – после бани предложил Шевелёв, сонно и красно стоя посреди ограды, но Горлов отказался.

Он уже выходил за ворота, когда оглянулся, окликнул Шевелёва, поднимавшегося с полотенцем через плечо па крыльцо:

– Васёк! Завтра приходи с утра хлам пилить, – не зная, что сказать ему напоследок, чем запомниться, Горлов выложил недуманное. – Заодно и колун приноси, есть у меня новое колунище...

К вечеру таки перепал небольшой дождь, над кромкой чёрного леса алой окалиной медленно остывали облака. Горлов шёл в сумерках по посёлку в белой чистой рубахе и в чёрных, подвязанных дерма-

alle foglie che si accumulavano sul tetto della falegnameria. Ševelëv, come al solito, capì la cosa a modo suo data la sua preoccupazione che Gorlov scoprisse quello che aveva combinato con la borsa della suocera.

– Come ti posso aiutare? Bere tu adesso non bevi, e in ogni caso non ne avrei, Gal’ka mi ha svuotato l’ultima nel lavandino...

Dall’orto arrivò zia Marusja, portando un secchiello di patate rosse novelle, e tirando fuori dall’erba vicino allo steccato una bottiglia vuota chiese a Ševelëv:

– Finito? La sauna è pronta? Quando avrete finito voi ci andrò anch’io, mi tirerò un po’ su, altrimenti potrei morire anche subito...

Gorlov si era già pentito di aver iniziato quel discorso. Fece una smorfia e si arrabbiò con se stesso perché la faceva, perché non riusciva a comportarsi normalmente, e cominciò a spiegare che non c’era un solo posto in lui che non gli dolesse, come se si fosse appena risvegliato dopo una rissa e non si sentisse un solo ossicino intero.

– Ingoiati un piccone – gli suggerì senza malizia Ševelëv, che nel frattempo aveva pensato di vendere il suo berretto e di utilizzare il ricavato per il passaporto. Spense la cicca fra le dita e come per porre fine a un discorso inutile si diresse verso la sauna per versare l’acqua fredda nella tinozza, rumoreggiando con le bacinelle a porta aperta.

... Si lavarono assieme. Come al solito Ševelëv gli raschiò il collo col rasoio di sicurezza, e quando corse a prendere la legna nello spiazzo antistante la sauna, Gorlov, tremando dal freddo, gettò nella stufa sia il rasoio sia il pennello per la barba.

– Andiamo, mi farò dare da Gal’ka una bottiglia! – propose Ševelëv dopo la sauna, stando in piedi tutto rosso e assonnato in mezzo al recinto; ma Gorlov rifiutò.

Stava per uscire dal cancello quando si voltò e chiamò Ševelëv, che stava già salendo i gradini del terrazzino con l’asciugamano buttato sulla spalla.

тиновым ремнём, брюках, весь чистый и банный, только голову нёс дурной. Обходя тусклые лужи с отражением жёлтых шаров надворных лампочек, он с волнением и жалостью к себе слышал хлопанье дверей, чужую мирную жизнь и тихое простое счастье быть вместе, собираться вечером за столом. Кто-то, бурча под нос, лязгнул о землю эмалированной чашкой. Дворовый пёс, скользя по проволоке цепью, вылез из будки и стал, давясь, глотать кашу, брякая о чашку вертяком. Горлов подумал, что видит этого пса в последний раз. Ещё ему вспомнилось, как в детстве они с братом Ленькой давили мотоциклом собаку. Собака была с их двора, глухая Найда, Лёнька подговорил свести Найду в лес, а взамен взять щеночка. Они сели на мотоцикл «Иж-Юпитер» старой модели, свистнули Найду. Она по привычке побежала впереди мотоцикла, высунув розовой язык, который трепетал и заворачивался на бегу. Ошалев пи с того ни с сего, они нагнали газу и в поле с хохотом нагнали Найду, надавили колесом с хвоста и пересекли от зада до морды. А сейчас и Леньки давно не было в живности, убился спяну о бортик машины... Он уже подошёл к столярке, когда услышал шорох под навесом. Две тени сбились у стены, как струи дождя, жадно хватая ртом губы друг друга и до дрожи, томливо чувствуя близость тесных горячих тел. Потом та тень, что повыше, за руку поволокла другую, упирающуюся, в овраг, куда Горлов валил мягкие стружки.

«Пусти!» – говорила маленькая хрупкая тень, у которой задрался подол и стала видна смуглая нога.

– Vas’ka! Domani mattina vieni a segare un po’ di ciarpame – gli disse non sapendo come congedarsi da lui, come farsi ricordare, e disse la prima cosa che gli venne in mente: – E porta anche la scure, ho un manico nuovo...

Alla fine verso sera piovve un pochino, sopra il nero contorno del bosco le nuvole si dissolvevano lentamente in scaglie purpuree. Al crepuscolo Gorlov attraversò il villaggio con indosso la sua camicia bianca pulita e dei pantaloni neri legati con una cintura di similpelle, tutto pulito e fresco di sauna, anche se in testa continuava ad avere dei brutti pensieri. Evitando le torbide pozzanghere in cui si riflettevano i globi gialli dei lampioni, ascoltava angosciato, provando pena per se stesso, lo scricchiolio delle porte, la pacifica vita altrui e la silenziosa semplice felicità di stare assieme, di ritrovarsi la sera dietro al tavolo per la cena. Qualcuno, brontolando tra sé e sé, lasciò cadere per terra una ciotola smaltata. Una cane da cortile, facendo scorrere la catena lungo il filo, uscì dalla cuccia e cominciò, quasi soffocandosi, a inghiottire la kaša, sbattendo la catena contro la ciotola.

Gorlov pensò che stava vedendo quel cane per l’ultima volta. E gli venne anche in mente come da piccoli lui e suo fratello Len’ka avevano schiacciato un cane con la moto. Il cane, Najda la sorda, veniva dal loro cortile, e Len’ka tentava di convincere a portarlo nel bosco per poter prendere al suo posto un cucciolo. Si erano seduti su una Iž-Jupiter di vecchio modello, e avevano fischiato a Najda. Quella era corsa davanti alla moto, come faceva di solito, con la lingua rosa a penzoloni che sobbalzava e si rivoltava durante la corsa. D’un tratto avevano dato gas e avevano iniziato a rincorrere Najda nel campo fra le risate, le avevano preso la coda con la ruota e l’avevano schiacciata dal sedere fino al muso. E adesso anche Len’ka da un bel pezzo non era più tra i vivi, era morto ubriaco andando a sbattere contro il fianco di una macchina...

Горлов хотел покашлять, но пожалел их дикую радость, скорую первую близость и, пождав, когда тени прыснули в темноту, в холодную нежность травы, провернул в замке ключ...

Под утро снова повалился дождь, да так мелко, словно не капли, а сырой воздушный пух падал с неба, увлажнил набирающиеся багрью листья рябин и свалявшуюся пыльную траву – и замолк. Но небо было ещё хмурее, чем вчера, и прогалов в этих тёмных, то тягуче-дымных, то обжаро-розовых тучах уже не было, не проблескивала синь, и небеса казались Горлову ниже, почти сев на крышу столярки, а будущая жизнь тем унылей. И листва на прохладном ветру отрывалась чаще, акации шумели суше, было холодно по-сентябрьски на дворе, стыл и мертвенно свеж воздух. Горлов, не спавший всю ночь, вышел на улицу, свернул крышку с бочки, стоявшей под желобом, и обмыл лицо ледяной водой. Ёжась от холода и подбирая гачи, чтобы не замочить в росе, он сбегал до ветру и поскорю вернулся в столярку. Не зажигая света, Горлов нащупал под [иконкой стволы, соединил их с механизмом, длинным болтом привинченным к прикладу. Стволы были коротки, он же и обрезал их треснувшую раздутость, когда Лёха на утиной охоте черпанул в них мокрой пашни. Он поискал рукой на полке дробовой пайковый патрон, вложил его в правый ствол и мягко лязгнул потёршимися замками. Дыхание не обмерло в нём, когда он подошёл с ружьём к окошку и улыбнулся, при отблесках августовской зарницы уставив глаза в чёрные зрачки пустых стволов. До последнего мига его что-то волновало, что-то мельтешило в памяти,

Si stava ormai avvicinando alla falegnameria quando sentì un fruscio sotto la tettoia. Due ombre si fusero sulla parete, come due rivoli di pioggia, afferrando avidamente con la bocca le rispettive labbra, tremando e percependo languidamente la vicinanza dei propri due corpi caldi. Poi l'ombra più alta prese l'altra, che faceva resistenza, per mano e la trascinò dentro al fossato dove Gorlov gettava i trucioli morbidi. "Lasciami" diceva l'ombra più piccola e più fragile, la cui sottana si strappò scoprendo una gamba abbronzata. Gorlov voleva tossicchiare, ma ebbe compassione della loro selvatica gioia, della loro imminente prima vicinanza e, aspettando fino a che le ombre non furono schizzate via nelle tenebre, nella fredda morbidezza dell'erba, girò la chiave nel lucchetto...

La mattina piovve ancora. Si trattò di una pioggia così sottile che non si poteva parlare di gocce ma di umida polvere che cadeva dal cielo, e inumidiva le foglie di sorbo che si stavano ricoprendo di rosso e l'arruffata erba polverosa. Poi tutto a un tratto finì. Ma il cielo era ancora più cupo del giorno prima, e non c'erano più squarci in quelle scure nubi a volte densamente fumose e volte di un rosa acceso; l'azzurro non riusciva a farsi largo, e il cielo sembrava a Gorlov ancora più basso, quasi seduto sul tetto della falegnameria; e con lui anche la vita futura sembrava ancora più triste. Sospinte dal vento fresco, le foglie si staccavano sempre più spesso, le acacie facevano un rumore ancora più secco, nel cortile c'era un freddo settembrino e perfino l'aria si era raffreddata. Gorlov, che non aveva dormito per tutta la notte, uscì, tolse il coperchio dalla botte sotto alla grondaia e si lavò il viso con l'acqua gelata. Con la pelle d'oca dal freddo e tirandosi su i pantaloni per non bagnarsi di rugiada, corse fino alla latrina e ben presto rientrò nella falegnameria. Senza accendere la luce trovò, tastando sotto l'icona, le canne del fucile e vi unì il meccanismo avvitato con un lungo bullone al calcio del fucile. Le canne erano corte: era stato lui infatti a tagliarne la parte eccessiva che si era ammaccata quando Lecha durante la caccia

как залетевший меж стёкол ночной мотылёк. Но он не давал себе воли задуматься и только, ничего не понимая, по-звериному остро, как битое стекло, ощущал эту свою боль, суку-тоску, эту грядущую пустоту себя на этом дивном, синем, оставляемом свете. От случайной догадки он едва не вскрикнул, разволновался, руки его пошатнулись; теряясь, в какой ствол дослан заряд, столяр зажмурился и пальцами левой вытянутой руки с силой оттолкнул оба спусковых крючка.

alle anatre ci aveva fatto entrare troppa terra umida. Con una mano cercò sulla mensola la cartuccia a pallini, la inserì nella canna di destra e con leggerezza maneggiò le chiavi di chiusura tutte sfregiate. Il suo respiro non si fermò allorché si avvicinò alla finestrella col fucile in mano e sorrise quando tra i riflessi dell'alba di agosto i suoi occhi presero a fissare le nere pupille delle canne vuote. Fino all'ultimo momento ci fu qualcosa che lo preoccupò, un qualche ricordo che gli balenò davanti agli occhi, come una farfalla notturna incastrata tra i doppi vetri. Ma lui non si concesse il lusso di pensarci su e si limitò, senza capirci nulla, ad ascoltare quel suo dolore indicibilmente acuto, come un vetro rotto, quella carogna della sua nostalgia e il vuoto che lo attendeva nello straordinario mondo blu che stava per abbandonare.

La casuale intuizione per poco non gli strappò un urlo, si agitò, le sue mani tremarono; non ricordandosi in quale canna avesse infilato la cartuccia, il falegname strizzò gli occhi e con le dita della mano sinistra premette con forza entrambi i grilletti.

Биография

Андрей Антипин родился 19 августа 1984 года в селе Подымахино, Усть-Кутского района, Иркутской области. Мама – библиотекарь, отец – заведующий детским сектором в поселковом Доме культуры. В 2008 году закончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Живет в посёлке Казарки, что по реке Лене, и работает в школе, правда, не учителем, как можно было бы предполагать, а ночным сторожем. Любит охоту и рыбалку.

Biografia

Andrej Antipin è nato il 19 agosto del 1984 nel villaggio di Podymachino, nella provincia di Ust'-Kutsk, regione di Irkutsk. Sua madre lavora in biblioteca, suo padre è impiegato alla Casa della cultura del villaggio e coordina l'attività ricreativa dei bambini. Nel 2008 si è laureato all'Università Statale di Irkutsk, presso la Facoltà di filologia e giornalismo. Vive nel villaggio di Kazarki, in riva al fiume Lena, e lavora in una scuola: contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, non fa il maestro, ma la guardia notturna. È appassionato di caccia e pesca.

Отзыв о рассказе

Андрей Антипин живет в Иркутской области, в Восточной Сибири. Оттуда с берегов озера Байкал в большую русскую литературу пришли прозаик Валентин Распутин и драматург Александр Вампилов. Антипин ощущает себя преемником плотного реалистичного письма, где важны каждая психологическая деталь и подробная жизнь пейзажа. Одинокий деревенский столяр Горлов, потерявший смысл жизни, написан автором с пристальным сочувствием. Тоска, охватившая его душу разлита по всему пространству рассказа, и закономерно приводит героя к трагическому исходу. Сквозь личное здесь просвечивает и социальное. Можно сказать, что *Тоска* – метафоризация социальной невостребованности многих простых людей новой России.

Евгений Сидоров

Nota critica

Andrej Antipin vive nella regione di Irkutsk, nella Siberia Orientale. Quelle terre, sulle rive del lago Bajkal, hanno dato alla grande letteratura russa il prosatore Valentin Rasputin e il drammaturgo Aleksandr Vampilov. Antipin è conscio di essere un erede della loro scrittura densa e realistica, nella quale contano soprattutto i dettagli psicologici e la precisione delle descrizioni paesaggistiche. L'autore ritrae con attenzione e partecipazione il personaggio di Gorlov, il falegname del villaggio ammalato di solitudine, la cui vita ha perso qualsiasi senso. L'angoscia che pervade la sua anima impregna tutto lo spazio del racconto, e inevitabilmente porta il protagonista al tragico finale. Tra le righe di una storia personale, si colgono grandi problemi sociali. Si potrebbe dire che *Nostalgia* è una metafora di quel sentimento di emarginazione sociale che avvertono tante persone semplici nella nuova Russia.

Evgenij Sidorov

Наталья Николашина

Перевод Аличе Гизи

Natal'ja Nikolašina

Traduzione in italiano di Alice Ghisi

ОЧЕРЕДЬ

Катя с трудом открыла массивную дверь УФМС и в нерешительности остановилась на пороге. На нее смотрели пятьдесят пар глаз с абсолютно одинаковым выражением затравленности и скрытой агрессии.

– Ничего себе, сколько наводу! – пробасил от изумления Катин пятилетний сынишка и прикрыл рот ладошкой.

– Кто последний на временное проживание? – поникшим голосом спросила Катя.

– По записи, – ответили несколько угрюмых голосов.

Катя оказалась двенадцатой.

– Значит так, Костик, – обратилась она к сыну. – Видишь тот секретный объект в самом дальнем углу.

Секретный объект представлял собой обшарпанную тумбочку, видимо выставленную в коридор за ненадобностью и, покосившийся на бок от тяжелой и неблагодарной работы стул.

– Задание первое: занять объект немедленно. Выполняй.

– Так точно, – обрадовался Костик и в следующую секунду уже сидел на стуле, который как будто тоже оживился и старался показать всем своим видом, что он еще ничего.

– Отлично. Объект занят. Задание номер два: оставаться на месте как можно дольше. От этого зависит, будет ли сегодня на ужин пицца или нет.

– Будет, ой... так точно.

LA FILA

Katja aprì a fatica la massiccia porta dell'Ufficio Servizio Immigrazione Federale e si fermò sulla soglia indecisa. La guardavano cinquanta paia d'occhi con un'espressione del tutto identica, da animali braccati e implicitamente aggressiva.

– Accipicchia, quanta gente! – disse, con tono grave per lo stupore il figlioletto di cinque anni di Katja e si coprì la bocca col palmo della manina.

– Chi è l'ultimo per il domicilio provvisorio? – chiese Katja con la voce che si faceva sempre più bassa.

– C'è la lista – risposero alcune voci cupe.

Katja risultò la numero dodici.

– Allora, Kostik, le cose stanno così – si rivolse lei al figlio. – Vedi quell'obiettivo segreto nell'angolo più lontano?

L'obiettivo segreto si presentava come un mobiletto tutto logoro, chiaramente buttato nel corridoio perché non serviva più a nulla con una sedia diventata sbilenca sul fianco per il pesante e ingrato lavoro.

– Primo incarico: occupare immediatamente l'obiettivo. Eseguire!

– Signorsì! – si entusias mò Kostik e un attimo dopo era già seduto sulla sedia, la quale pure sembrò come riprendere vita e sforzarsi di far vedere in tutto il suo aspetto che valeva ancora qualcosa.

– Perfetto. Missione compiuta. Incarico numero due: restare sul posto il più a lungo possibile. Da questo dipende se oggi ci sarà o meno la pizza per cena.

– Ci sarà... ohi ohi... signorsì.

– И наконец, третье задание, – Катя достала из пакета альбом для рисования и цветные карандаши. – Нарисовать план комнаты и все что покажется тебе подозрительным.

– Как это подозрительным?

– Ну, например, вон тот дядя вполне может быть шпионом, а та тетя наверняка свалилась с Луны. Тебе нужно их нарисовать, но так, чтобы они ничего не заметили. Рисуй все, что тебе кажется необычным и интересным. Понятно?

– Понятно, – хитро улыбнулся Костик.

– Ну, все, тайный агент, выполняй. Я буду стоять вон у той двери. Ко мне обращаться только в самых крайних случаях.

– Каких?

– Если нас захватят пришельцы или ты захочешь в туалет. Помни, для тебя самое главное оставаться незамеченным.

– Как всегда, – вздохнул Костик.

Катя подошла к своей очереди.

– Интересно, я успею, – подумала она вслух.

– Судьба, так успеешь, – улыбнулся молодой узбек, надеясь, что завяжется разговор.

Катя усмехнулась. Усмешка вышла горьковатой, но в тоже время слегка надменной, подчеркивающей Катину самодостаточность. По этой усмешке можно было прочитать, что Кате жаль, что судьба давно отступилась от нее, но она и не ждет ничего свыше, она сможет все сама. Вообще Катя и судьба были в непростых отношениях. После того как Катя окончила школу, у

– E infine, terzo incarico. – Katja tirò fuori da un sacchetto un album da disegno e delle matite colorate. – Disegnare la pianta della stanza e tutto ciò che ti sembrerà sospetto.

– Sospetto come?

– Be', per esempio, guarda là quel signore, può proprio essere una spia, e quella signora invece di sicuro è venuta dalla Luna. Tu devi disegnarli, ma in modo che loro non se ne accorgano. Disegna tutto quello che ti sembra insolito e interessante. Capito?

– Capito – sorrise furbetto Kostik.

– Be', allora è tutto, agente segreto, eseguire! Io starò là, vicino a quella porta. Rivolgersi a me solo in caso di estrema necessità.

– Quali?

– Se ci portano via gli extraterrestri o se ti scappa di andare in bagno. Ricordati, per te la cosa più importante è restare invisibile.

– Come sempre – sospirò Kostik.

Katja si avviò verso la sua fila.

– Uhm... chissà se faccio in tempo – pensò ad alta voce.

– Se è destino, allora farai in tempo – le sorrise un giovane uzbeko, per attaccar bottone.

Katja ridacchiò. Il sorrisetto le uscì amarognolo ma nello stesso tempo leggermente sprezzante, il che metteva in rilievo la sua indipendenza. Da questo sogghigno si poteva dedurre che a Katja dispiacesse che da tempo il destino si fosse allontanato da lei, ma non si aspettava nemmeno nulla dal cielo, lei sarebbe riuscita a fare tutto da sola. In generale Katja e il destino non erano in buoni rapporti. Dopo che Katja aveva terminato la scuola, fra loro era cominciata la guerra fredda. Katja aveva ignorato il destino e il destino Katja. Nello stesso tempo lei dava alla sorte l'ingiurioso appellativo di donnaccia da marciapiede e, per come le pareva, aveva per ciò tutte le sue buone ragioni. Un

них завязалась холодная война. Катя игнорировала судьбу, а судьба Катю. Причем Катя обидно обзывала судьбу продажной женщиной. И она, как ей казалось, имела на это все основания. Когда-то Катя была ребенком, и ее подруга Оля тоже была ребенком. Две девочки сверстницы с литературными способностями из одной большой союзной республики. Они вместе ходили в литературный кружок во Дворце пионеров, вместе участвовали в конкурсах, печатались в газетах. Только родители Оли всегда гордились своей дочкой и готовили ей светлое будущее своими руками, а родители Кати жили, как Бог даст, никогда не воспринимая Катю с ее литературными способностями всерьез. Вот так и вышло, Оля после школы – во ВГИК, на сценариста, а Катя – в местный Пединститут на учителя русского и литературы. И не перст Божий указал Оле на двери ВГИКа, просто ее судьба шла в комплекте вместе с родителями, а вернее родители купили Оле ее судьбу, как машину или дачу. Хотя, может быть, и было решено где-то в запредельных мирах, что Оля родиться именно в этой семье, а Катя именно в той. Кто его знает, но так или иначе Ольга уже давно гражданка Российской Федерации, работает на Мосфильме, пишет сценарии к документальным фильмам. Катя отстала от Ольги как минимум лет на десять и все что у нее есть – это двенадцатый номер и слабая надежда, что сегодня она наконец-то сдаст документы.

– Никого не пущу без очереди, хоч стреляйте в меня, хоч режьте, не пущу. Я здесь с полшестого утра.

– Мне только узнать...

– Всем лишь узнать.

– Мне спросить только...

tempo Katja era piccola e anche la sua amica Olja era una bambina. Due ragazzine della stessa età, con doti letterarie, provenienti da una grande repubblica dell'Unione. Frequentavano insieme il circolo letterario alla Casa dei Pionieri, partecipavano insieme ai concorsi e pubblicavano sulle riviste. Solo che i genitori di Olja andavano sempre fieri della loro figlia e le stavano preparando un "radioso avvenire" con le loro mani, mentre i genitori di Katja vivevano alla giornata, senza prendere mai sul serio le sue capacità letterarie. E così successe che Olja, dopo la scuola, entrò all'Istituto Statale di Cinematografia, al corso per sceneggiatori; Katja invece all'Istituto Pedagogico locale, a quello per maestri di lingua russa e letteratura. E non fu la mano divina a mettere Olja davanti alla porta dell'Istituto Statale di Cinematografia, semplicemente il suo destino andava a braccetto con i genitori o, a essere più esatti, i genitori avevano comprato a Olja il suo destino, così come la macchina o la *dača*. Anche se può darsi che fosse stato già deciso da qualche parte, in mondi altri, che Olja nascesse proprio in quella famiglia e Katja invece in quell'altra. Chi lo sa, ma ad ogni modo Olja, già da tempo cittadina della Federazione Russa, lavora alla Mosfil'm e scrive sceneggiature per documentari. Katja era rimasta indietro rispetto a Olja minimo di dieci anni e tutto quello che possiede ora è il numero dodici e la tenue speranza di consegnarli oggi, finalmente, i documenti.

– Non faccio passare nessuno senza fare la fila, sparatemi pure addosso, sgozzatemi, mica faccio passare. Io son qua dalle cinque e mezza del mattino.

– Devo solo sapere...

– Tutti devono solo sapere.

– Devo solo chiedere...

– Tutti devono chiedere. Ma neanche morta, non faccio passare lo stesso – tuonò per tutto il corridoio una donna non più giovane.

– Всем спросить. Вот, хоч убийте, все равно не пущу, – звенела немолодая баба на весь коридор.

Катя обратила внимание на ноги этой женщины. Мощные, крепкие, как будто литые, они походили на две колоны, которые и впрямь не сдвинуть с места, разве только с применением техники. Такими ногами, наверное, хорошо стоять на своем. Барабанить в двери. Выбивать свою маленькую правду. Такие ноги не надорвутся и не сломаются.

Катя посмотрела на часы, стрелки показывали девять минут десятого. Инспектора еще не начинали приема. Первый посетитель зашел в кабинет в десять минут десятого. Значит, выпало десять минут. Десять минут, за это время можно принять документы у одного человека. Можно облегчить жизнь целому человеку, чтобы ему не пришлось ждать следующего приемного дня и ни свет, ни заря занимать очередь, а заняться другими важными делами, может даже и не важными, а просто приятными. Но и это важно. Инспектора смотрят на посетителей, как космонавты на Землю, как-то уж очень масштабно. И отчасти видят, отчасти догадываются, что в тесном плохо проветриваемом помещении образовалось непривлекательное пестрое пятно, неясного происхождения, которое медленно расплывается в разные стороны, распространяя тупую энергию безрадостного ожидания. Пятно не таит в себе никакой опасности и, следовательно, не заслуживает особого внимания. Единственно хочется, чтобы оно быстрее рассосалось как-нибудь само по себе.

Катя пристроилась на лавочке напротив входной двери. Кто-то догадался открыть ее настежь. В дверной проем была видна часть дороги, за ней на-

Katja prestò attenzione alle gambe della donna. Possenti, massicce, come fossero di metallo fuso, assomigliavano a due colonne che davvero non si sarebbero mai mosse dal loro posto, forse solo con l'impiego di qualche macchina. Con gambe del genere di sicuro è facile non cedere. Prendere a calci le porte. Far venir fuori la propria piccola verità. Gambe così non si lacerano e non si spezzano.

Katja guardò l'orologio, le lancette indicavano le nove e nove minuti. Gli ispettori non avevano ancora cominciato a ricevere. La prima persona entrò nell'ufficio alle nove e dieci. Vuol dire che erano stati buttati via dieci minuti. Dieci minuti, il tempo necessario per prendere i documenti di una persona. Potrebbe essere semplificata la vita di un uomo, se non gli toccasse aspettare il giorno successivo di ricevimento e alle prime luci dell'alba prendere il suo posto in fila; potrebbe occuparsi di altre faccende importanti, forse nemmeno importanti ma semplicemente piacevoli. Ma anche questo ha una sua importanza. Gli ispettori guardano le persone come gli astronauti la Terra, cioè su vastissima scala. E in parte vedono, in parte indovinano che nell'angusto locale mal aerato si è formata una macchia multicolore poco attraente, dalla provenienza indefinita, che lentamente si sparge in direzioni diverse, emanando un'energia cupa di triste attesa. La macchia in sé non nasconde alcun pericolo e di conseguenza non merita nessuna particolare attenzione. L'unica cosa che si vorrebbe è che in qualche modo si riassorbisse da sola il più in fretta possibile.

Katja si sistemò su una panchetta di fronte alla porta d'ingresso. Qualcuno aveva pensato bene di lasciarla spalancata. Nel vano si vedeva parte della strada e dietro il lungofiume con rari, pigri passanti e gente che correva tutta elegante, e ancora più in là la striscia del fiume torbido e veloce. Sull'altra riva c'erano delle tende dai colori sgargianti. Da queste di tanto in tanto sgattaiolavano fuori persone arruffate e felici.

бережная с редкими ленивыми прохожими и подтянутыми бегунами, а еще дальше лента быстрой мутной реки. На том берегу стояли яркие палатки. Из них время от времени вылезали лохматые счастливые люди.

На пороге появились девушка и парень. Совсем юные, лет по двадцать. Спелые и сочные, как южные фрукты, совершенно непонятной национальности. Для азиатов слишком раскрепощенные, возможно турки или даже латиноамериканцы. Сейчас модно из Южной Америки переезжать в Россию.

Девушка походила одновременно на всех звезд латиноамериканских сериалов. Что-то среднее между Софи Лорен и Дженифер Лопес. Высокие скулы, огромные глаза, большой рот как у Софи Лорен, маленький слегка приплюснутый нос и блестящие прямые темные волосы как у Дженифер Лопес. Парень высокий, угловатый, смуглый, горячий и одновременно сентиментальный. О последнем качестве говорил его шифоновый сиреневый шарф, кокетливо, почти по-женски обмотанный вокруг шеи. Девушка и парень заняли свою очередь, кое-как объяснившись на русском языке. Что заставило их покинуть свою страну нужда, суровые родители, коварная неудовлетворенность тем, что имеешь? Чего они ищут, когда на их лицах, в их взглядах обращенных друг к другу все уже и так написано.

Парень и девушка сели в уголок на скамейку, достали фотоаппарат видимо, для того чтобы посмотреть фотографии. Они часто смеялись и переговаривались на своем очень нежном языке. Казалось, их язык состоял только из гласных и сонорных звуков. Хотя, возможно, язык был самым обыкновенным, просто на нем говорила их первая чрезмерная нежность. Глядя на эту пару, можно было подумать, что их абсолютно не волнует, где они находятся,

Sulla soglia comparvero un ragazzo e una ragazza. Assolutamente giovani, sui vent'anni. Maturi e succosi come frutti del sud, di una nazionalità per niente chiara. Per essere asiatici erano troppo disinvolti, forse erano turchi o addirittura latino-americani. Adesso va di moda trasferirsi in Russia dall'America del Sud.

La ragazza assomigliava nello stesso tempo a tutte le stelle dei serial televisivi latino-americani. Una sorta di via di mezzo fra Sofia Loren e Jennifer Lopez. Zigomi alti, occhi enormi, bocca larga come Sofia Loren, naso piccolo e leggermente schiacciato, capelli scuri lisci e lucidi come Jennifer Lopez.

Il ragazzo era alto, spigoloso, olivastro, focoso e nel contempo romantico. Quest'ultima qualità era rivelata dalla sua sciarpa di chiffon color lilla, avvolta attorno al collo in modo civettuolo, quasi femminile. La ragazza e il ragazzo occuparono il loro posto nella fila, dopo essersi spiegati alla meglio in russo.

Che cosa li ha costretti a lasciare il proprio paese: necessità, genitori severi, una subdola insoddisfazione di ciò che avevano? Di che cosa stanno andando in cerca quando nei loro visi, nei loro sguardi rivolti l'uno verso l'altro tutto è già scritto?

Il ragazzo e la ragazza si sedettero in un angolino su una panchina, tirarono fuori la macchina fotografica, evidentemente per guardare le foto. Spesso ridevano e parlottavano nella loro lingua dolcissima. Pareva che fosse composta solo da vocali e suoni sonori. Fosse pure la lingua più ordinaria, in essa semplicemente si esprimeva la loro prima, sconfinata tenerezza. Guardando quella coppia si poteva pensare che non li preoccupasse assolutamente dove si trovassero, quale numero avessero nella fila e se i loro documenti quel giorno sarebbero stati ritirati o no. Vivevano nella propria capsula protettiva, che dal punto di vista grafico si poteva ingenuamente raffigurare a forma di cuore. "L'amore" pensò Katja. Già cominciava a sembrarle che questo mondo consi-

какие по счету в очереди, и примут ли у них сегодня документы или наоборот. Они существовали в своей защитной капсуле, которую графически наивно можно было изобразить в форме сердца. «Любовь», – подумала Катя. Ей уже стало казаться, что этот мир состоит из сплошной бюрократии, которая сродни сибирской язве. Бюрократия способна возрождаться и процветать при любых условиях. И даже если захоронить, все то, что поражено ею, она будет жить в земле еще сто лет. Однажды кто-нибудь, не ведая, начнет рыть эту землю, чтобы построить на ней дом. Несчастный.

Катя наблюдала за девушкой и парнем. И в ее душе разливалась светлая, никак не зависящая от ее способности разбираться в людях, уверенность, что они мечтали о своей большой семье, куче похожих друг на друга ребятишек. И им кажется, что все так легко и осуществимо. Это их Обоюдная Истина – веселая, танцующая, не обремененная никакими разрушающими демонами. Как, скажем, Мосфильм.

Почему у них с Сергеем было все по-другому? Почему не было легкости? Почему в их языке было так много шипящих и твердых согласных и не одной гласной? Почему жизнь постоянно ставила их перед выбором, где только одному грозил выигрыш? А над головой, как Дамоклов меч висела Карьера. Катина карьера.

Время от времени из кабинета выходила старший инспектор, она занималась гражданством. Если бы Катю впоследствии попросили описать эту женщину, она бы описала ее как нечто состоящее из неистово покрашенных малиновой помадой губ, грудей напоминающих две баллистические ракеты и высоких амбициозных каблучков. Она уверенно и дерзко дефилировала по коридо-

stesse in un'infinita burocrazia, imparentata con l'antrace. La burocrazia è capace di rinascere e fiorire in qualsiasi condizione. E perfino se si seppellisce tutto ciò che ne è stato danneggiato, lei vivrà nella terra ancora per cento anni. Una volta qualcuno inconsapevolmente comincerà a scavare questa terra per costruirci una casa. Misero lui.

Katja osservava la ragazza e il ragazzo. E nella sua anima si faceva largo la chiara certezza, per nulla dipendente dalla sua capacità di intendersi della gente, che quelli stessero sognando la propria grande famiglia e un mucchio di ragazzini simili l'uno all'altro. E a loro sembra che tutto sia così facile e fattibile. Questa è la loro Reciproca Verità – allegra, danzante, non gravata da alcun demone distruttore. Come la Mosfil'm, diciamo così.

Perché per lei e Sergej tutto era andato in modo diverso? Perché non c'era stata leggerezza? Perché nella loro lingua c'erano state così tante consonanti sibilanti e sorde e nessuna vocale? Perché la vita li aveva messi continuamente davanti a una scelta dove solo uno correva il rischio di guadagnarci? E sopra la testa pendeva come una spada di Damocle la Carriera. La carriera di Katja.

Di tanto in tanto dall'ufficio usciva l'ispettore superiore, era lei che si occupava della cittadinanza. Se in seguito avessero chiesto a Katja di descrivere la donna, lei l'avrebbe tratteggiata come qualcosa che consisteva in labbra furiosamente truccate con rossetto color lampone, seni che facevano venire in mente due missili balistici e ambiziosi tacchi alti. Sfilava per il corridoio sicura e insolente, invadendo senza tante cerimonie ora un ufficio ora un altro con tutte le sue aggressive protuberanze. In generale l'ispettore superiore faceva un'impressione abbastanza demoniaca. Ma ciò nonostante, sulla sua strada spuntava sempre qualche persona. Alcune indugiavano prima su un piede poi su un altro, lanciavano sguardi, cercavano di spiegare qualcosa. L'ispettore superiore o annuiva

ру, бесцеремонно вторгаясь всеми своими агрессивными выпуклостями то в один кабинет, то в другой. Вообще старший инспектор создавала достаточно демоническое впечатление. Но, несмотря на это, на ее пути постоянно вырастали какие-то люди. Они переступали с ноги на ногу, заглядывали в глаза, пытались что-то объяснить. Старший инспектор либо кивала головой в знак согласия, либо мотала – в противном случае, давая возможность просителям самим додумывать ее образ, наделяя теми или иными качествами. По соседству тоже образовалась кучка ожидающих, которые сдавали документы на получение гражданства. К ней не спеша, словно прогуливаясь по Ялтинскому дореволюционному бульвару, подошел мужчина лет шестидесяти. Брюки у мужчины были на подтяжках – довольно комическая деталь. Все сглаживается в памяти со временем, остаются только детали. Кто-то очень умный сказал однажды, «истина в деталях».

– Кто крайний? – спросил мужчина театрально поставленным голосом.

– Я, – раздался чей-то недовольный ответ.

– Ну что ж, придется держаться за Вами.

Мужчина положил какую-то папку под мышку, скрестил руки за спиной и продолжил гулять по коридору, насвистывая себе что-то под нос. Для своего возраста он имел на удивление прямую осанку. Мужчина подходил к кабинетам, основательно изучая таблички на дверях, читал внимательнейшим образом информацию на стендах. Кате показалось, что мужчин не настоящий, что это не он. На самом деле он играет роль, создавая образ мужчины в подтяжках с папкой подмышкой. Как будто внутренний режиссер говорит ему: «Так хорошо, а сейчас скрести руки за спиной и не спеша, насвистывая

con la testa in segno di assenso o la scuoteva in caso contrario, dando la possibilità ai postulanti di completare da sé la sua immagine, attribuendole queste o quelle qualità. Anche lì vicino si era formato un mucchio di gente che aspettava, che doveva consegnare i documenti per acquisire la cittadinanza. Ad esso si avvicinò un uomo di sessant'anni, senza fretta, come se stesse facendo due passi lungo un viale della Jalta pre-rivoluzione. L'uomo aveva i pantaloni con le bretelle – un particolare piuttosto comico. Con il passare del tempo tutto si attenua nella memoria, restano soltanto i dettagli. Qualcuno di molto intelligente una volta ha detto che “la verità sta nei dettagli”.

– Chi è l'ultimo? – chiese l'uomo con una voce impostata da attore di teatro.

– Io – risuonò la risposta scontenta di qualcuno.

– Be', allora vorrà dire che starò dietro di lei.

L'uomo mise una cartella sotto il braccio, incrociò le mani dietro la schiena e continuò a passeggiare per il corridoio fischiettando qualcosa sotto i baffi. Per la sua età aveva un portamento sorprendentemente eretto. L'uomo si avvicinava agli uffici studiando a fondo le targhe sulle porte, leggeva attentissimamente le informazioni agli stand. A Katja sembrò che l'uomo non fosse vero, che non fosse lui. In realtà egli stava recitando un ruolo, creando il ritratto di un uomo con le bretelle e la cartella sotto il braccio. Come se un regista interiore gli stesse dicendo: “Bene così, adesso incrocia le mani dietro la schiena e, senza fretta, fischiettando una melodia *rétro*, avvicinarti allo stand e fai finta di leggere con attenzione”. Katja si rallegrò di questo smascheramento.

All'improvviso in un cadenzato mezzo sussurro echeggiò la sua distinta voce da baritono:

– È un'indecenza!

Alcune persone addirittura trasalirono per la sorpresa. Dopodiché il suo regista interiore gli chiese di ripetere quelle parole ancora una volta.

старомодную мелодию, подойди к стенду и сделай вид, что внимательно читаешь его». Кате стало весело от такого разоблачения.

Вдруг в мерном полусшепоте, раздался его внятный баритон:

– Безобразие!

Некоторые люди даже вздрогнули от неожиданности. После чего его внутренний режиссер видимо попросил еще раз повторить это слово.

– Это просто безобразие! Как смеют они, – он потряс папкой в сторону кабинетов, – заставлять людей ждать в таких, простите, скотских условиях. Мы часами простаиваем в очередях, а у них здесь, пардон, даже туалета нет.

Внутренний режиссер показал ему пальцем на платок, торчащий из кармана, а потом на лоб. Он вынул носовой платок из кармана и вытер пот со своего порядком облысевшего лба. Люди активно закивали в знак согласия.

– А ведь, сколько пришлось побегать, попотеть. Чтобы только получить разрешение на временное проживание собрал сорок, вы только подумайте, сорок бумажек из разных инстанций. И им все мало, вот еще целая папка документов, чтобы получить гражданство. В доказательство этого он потряс ею перед чьим-то лицом. – Когда? Когда, ответьте мне придет конец этому безобразию?

Мерный полусшепот превратился в возмущенный гул:

– Надо увольнять таких работников!

– Надо написать письмо президенту!

– Надо все снять на видеокамеру и выложить в интернет!

– И ведь никто не борется с этим, у всех хата с краю, – подвел итог оратор в подтяжках. – А они...

– È semplicemente un’indecenza! Come si permettono quelli – agitò la cartella in direzione degli uffici – di far aspettare la gente in queste condizioni, scusate, da bestie. Noi facciamo la fila per ore e qua loro non hanno nemmeno, pardon, un bagno.

Il regista interiore gli indicò col dito il fazzoletto che sporgeva dalla tasca e poi la fronte. Lui tirò fuori il fazzoletto dalla tasca e si asciugò il sudore dalla fronte, diventata parecchio stempinata. Le persone presero ad annuire attivamente in segno di assenso.

– E infatti quanto tocca correre e sudare. Solo per ricevere il permesso per il domicilio provvisorio ho raccolto quaranta, figuratevi, quaranta scartoffie di enti diversi. E per loro è sempre poco, ecco ancora una cartella intera di documenti per avere la residenza.

– A dimostrazione di questo la agitò davanti al viso di qualcuno. – Quando? Quando, rispondetemi, avrà fine questa indecenza?

Il cadenzato mezzo sussurro si trasformò in un mugugno indignato:

– Bisogna licenziare impiegati del genere!

– Bisogna scrivere una lettera al presidente!

– Bisogna riprendere tutto con la videocamera e metterlo su internet!

– E nessuno infatti combatte contro di loro, tutti se ne lavano le mani – tirò le somme l’oratore con le bretelle. – Ma loro...

A quel punto dall’ufficio uscì la guardia. L’uomo si compiacque dell’improvvisazione azzeccata, puntò il dito contro la guardia e concluse in modo trionfale:

– Ma loro sono delle sanguisughe!

– Ma lei come si permette? – sbraitò la guardia. – Adesso le faccio una multa per oltraggio a pubblico ufficiale e la facciamo finita! La smetta di fare rumore, disturba chi lavora –. Dopodiché la schiena larga e impassibile della guardia sparì dietro la porta di un altro ufficio.

Тут из кабинета вышел охранник. Мужчина обрадовался подходящему экспромту, ткнул в охранника пальцем и торжествующе закончил:

– А они – кровопийцы!

– Вы что себе позволяете! – гаркнул охранник, – Сейчас наложу на Вас штраф за оскорбление официального лица и делу конец! Прекратите шуметь, мешаете работать. После чего широкая невозмутимая спина охранника скрылась за дверью другого кабинета.

Мужчина в подтяжках хотел было что-то возразить, но видимо внутренний режиссер не задал ему никакой команды, и он просто беспомощно несколько раз открыл рот, не издав при этом ни звука. После чего как ни в чем не бывало, заложил руки за спину и пошел открывать для себя какой-то новый стенд.

Вошла бабка похожая на сейф – квадратная и непробиваемая, набитая деньгами и чужими документами. Катя знала эту бабку, она оформляла нелегальные прописки. Почему считается, что балерина – это прекрасно и возвышенно, а бабка – риэлторша – отталкивающе и даже пугающе. Дюймовочка и жаба. Однако жабы тоже иногда бывают балеринами в своем деле. Бабка была профессионалом, работала четко, грамотно, без лишних слов, не говоря уже о том, что помогала людям, таким как Катя, у которых ни кола, ни двора, один голый энтузиазм. За деньги конечно, но она же риэлторша, а не мать Тереза. И потом Катя приехала в Россию, чтобы делиться своими литературными способностями, повышать культуру населения, пусть Катя не Ломоносов конечно, но ни чем, ни хуже Ольги. Она может стать отличным литературным работником. Выходит, бабка-риэлторша выступала косвенным посредником благородных идей.

L'uomo con le bretelle avrebbe voluto ribattere qualcosa ma si vede che il regista interiore non gli aveva dato nessun comando, e lui aprì semplicemente la bocca qualche volta, impotente, senza emettere alcun suono.

In seguito, come se non fosse successo niente, mise le braccia dietro la schiena e andò a scoprire qualche nuovo stand.

Entrò una nonnetta simile a una cassaforte – quadrata e irremovibile, imbottita di soldi e documenti altrui.

Katja conosceva la nonnetta, lei sbrigava le pratiche di residenza illegali. Non si capisce perché si ritiene che essere una ballerina sia bellissimo e nobile, invece essere una nonnetta-agente immobiliare sia repellente e perfino spaventoso. Come Mignolina e il rospo. Eppure anche i rospi a volte possono essere ballerine nel loro campo.

La nonnetta era una professionista, lavorava in modo preciso, senza errori, senza troppe parole, per non parlar del fatto che aiutava le persone come Katja, senza letto né tetto e piene solo di puro entusiasmo. Per i soldi, certo, lei era un agente immobiliare, mica Madre Teresa. E poi Katja era arrivata in Russia per condividere le sue doti letterarie, innalzare il livello culturale della popolazione, Katja di certo non sarà Lomonosov ma neanche peggio di Olja. Lei avrebbe potuto lavorare in modo eccellente nel campo letterario. Ne risultava che la nonnetta-agente faceva da intermediario indiretto di idee nobili.

La fila quel giorno si muoveva in modo sorprendentemente veloce. Le persone entravano nell'ufficio cordiali, scodinzolando, ma, spesso senza trattenersi, uscivano esasperate o avviliti, con la coda tra le gambe. Trovandosi già da un po' di tempo in Russia, Katja aveva scoperto che i semplici russi non abbienti assomigliano ai cani randagi, invece quelli che hanno almeno un pochino di soldi e di potere ai lupi. Gli stessi modi di fare, gli stessi principi, la stessa scuola di sopravvivenza.

Очередь в тот день на удивление быстро двигалась. Люди заходили в кабинет ласковые, виляя хвостами, но, часто не задержавшись, выходили озлобленными или пришибленными, поджавши хвост. Находясь уже какое-то время в России, Катя сделала для себя открытие, что простые неимущие русские похожи на дворняг, а те, кто хотя бы немножко при деньгах и власти, на волков. Те же повадки, те же принципы, та же школа выживания.

Подошла Катина очередь.

– Здравствуйте, я принесла недостающие медицинские справки.

– Присаживайтесь, как Ваша фамилия, – устало вздохнула инспектор.

Тихо работал кондиционер, инспектор искала Катину папку с документами, а старший инспектор, та, что похожа на дьяволицу, что-то писала. Инспектор долго не могла найти Катину папку.

– Зачем вы едете к нам? Вас что эшелонами там грузят? – безучастным голосом спросила инспектор.

Катя даже не сразу разобрала, был ли это вопрос или повествовательное предложение. Потом все-таки сориентировалась, что это вопрос, а «вы» – это лично Катя и все те, кто в коридоре.

Катя собиралась что-то ответить, но в это время в коридоре слышались признаки борьбы.

– Если Вы сейчас зайдете без очереди в кабинет, я закричу на весь коридор.

– Кричите, сколько угодно, только дайте пройти, у меня срочное дело.

– Да, не пущу я Вас.

– Что такое? – вышла из кабинета инспектор. – Дайте человеку пройти, он на две минуты. – Проходите, Рустам Тимурович.

Arrivò il turno di Katja.

– Salve, ho portato i certificati medici mancanti.

– Si accomodi, come fa Lei di cognome? – sospirò stancamente l'ispettore.

Il condizionatore funzionava silenziosamente, l'ispettore cercava il faldone di Katja con i documenti, mentre il suo superiore, quella che assomigliava a una diavolessa, stava scrivendo qualcosa.

L'ispettore per un po' non riuscì a trovare la cartella di Katja.

– Come mai venite da noi? Com'è, vi ci caricano con i convogli? – chiese l'ispettore con voce indifferente.

Katja lì per lì non capì neanche se questa fosse una domanda o un'affermazione. Poi però dedusse che era una domanda, e che il “voi” si riferiva a Katja in persona e a tutti quelli che stavano nel corridoio. Stava per rispondere qualcosa, ma in quel momento proprio di là si sentirono dei segnali di lotta.

– Se Lei adesso entra in ufficio senza fare la coda, io mi metto a urlare per tutto il corridoio.

– Urli quanto le pare, solo mi faccia passare, ho un affare urgente.

– Sì, non la faccio passare.

– Che succede? – uscì dall'ufficio l'ispettore. – Faccia passare questa persona, ne ha per due minuti. Venga, Rustam Timurovič.

– È il purgatorio! – alitò in modo lascivo una signora possente.

– No, è peggio, mi creda, io ho già visto la morte in faccia – ribatté freddamente alla signora un uomo con gli occhiali.

– Io così non ce la faccio più! – prese a lagnarsi un giovanotto con i jeans strappati. – Io mi darò fuoco sulla soglia del vostro ufficio!

– Piantatela con questo casino. – L'ispettore chiuse giudiziosamente la porta dietro di sé.

– Это чистилище! – выдохнула сладострастно какая-то могучая дама.

– Нет, это хуже поверьте мне, я умирал, – сдержанно опроверг даму мужчина в очках.

– Я больше так не могу! – отчаянно заголосил молодой человек в рваных джинсах. – Я совершу акт самосожжения на пороге вашего кабинета!

– Прекратите балаган, – инспектор резонно закрыла за собой дверь.

– Да девочки вашей работе не позавидуешь, – Рустам Тимурович, одернул свой прекраснейший замшевый пиджак и бросил подробный взгляд на Катю.

– Да совсем озверели, – томно заметила дьяволица. – Рустам Тимурович, у меня все готово, но я Вас попрошу, дождитесь обеда, сами видите, что твориться.

– Видимо придется, подождать. Ладно, девочки, держитесь, – Рустам Тимурович довольно подмигнул, улыбнулся Кате и потянулся к дверной ручке.

– Стойте, – предостерегающе одернула его Катя.

Рустам Тимурович неприятно вздрогнул.

– В чем дело?

– Не выходите, Вас могут укусить, – Катя выглядела абсолютно адекватно. Инспектора прекратили копошиться в бумажках и замерли.

– Как? Кто? – моментально поверил Рустам Тимурович.

– Озверевший из эшелона, – без тени смущения заявила Катя.

Инспектора перестали дышать от изумления.

– Какой озверевший? Из какого эшелона? – Рустам Тимурович приобрел совершенно обескураженный вид.

– Eh sì, ragazze, il vostro lavoro non è da invidiare. – Rustan Timurovič si aggiustò la magnifica giacca scamosciata e lanciò uno sguardo penetrante a Katja.

– Sì, sono proprio diventati delle bestie – osservò annoiata la diavolessa. – Rustan Timurovič, io ho tutto pronto, ma la prego, resti ad aspettare fino alla pausa di pranzo, vede da sé cosa sta succedendo.

– Si vede che mi toccherà aspettare. E va be' ragazze, tenete duro. – Rustan Timurovič ammiccò soddisfatto, sorrise a Katja e si allungò verso la maniglia della porta.

– Fermo – lo richiamò Katja mettendolo in guardia.

Rustan Timurovič sobbalzò sgradevolmente.

– Cosa c'è?

– Non esca, la possono mordere. – Katja aveva un'aria assolutamente consapevole.

Gli ispettori cessarono di affacciarsi fra le carte e rimasero immobili.

– Come? Chi? – Rustan Timurovič ci credette all'istante.

– Quello del convoglio che è diventato una bestia – dichiarò Katja senza ombra di imbarazzo.

Gli ispettori smisero di respirare per lo stupore.

– Quello che è diventato una bestia chi? Di quale convoglio? – Rustan Timurovič assunse un'aria completamente scoraggiata.

– Il convoglio in cui ci hanno portato martedì mattina. Lui è qui in fila. La sta aspettando per morderla o forse anche mangiarla. Lei è bello in carne.

– Ma non si vergogna, così bella e così svitata – si offese Rustan Timurovič, aprì la porta e ripiegatosi su se stesso come un atleta prima del salto, fece un passo verso l'ignoto.

– Ecco firmi qua e qua, fra un mese riceverà il permesso per il domicilio provvisorio, le arriverà una lettera – disse a mitraglia l'ispettore.

– В котором нас привезли во вторник утром. Он здесь в очереди. Поджидает Вас, чтобы укусить или даже съесть. Вы довольно упитан.

– Как не стыдно такая красивая и такая ненормальная, – обиделся Рустам Тимурович, открыл дверь и, сгруппировавшись, как спортсмен перед прыжком, шагнул в неизвестность.

– Распишитесь вот здесь и здесь, через месяц получите РВП, Вам письмо придет, – протараторила инспектор.

– Спасибо, до свидания, – скромно ответила Катя

– До свидания! – поспешила проститься инспектор. – Перерыв пять минут, – крикнула она, когда Катя выходила из кабинета.

Катя вышла на улицу, не осознавая до конца, что произошло. Ей захотелось бежать, и она побежала.

Счастливые лохматые люди на другой стороне реки ныряли в воду, издавая первобытные крики.

– Grazie, arrivederci – rispose sommessamente Katja.
– Arrivederci! – s'affrettò a salutare l'ispettore. – Pausa di cinque minuti – gridò, mentre Katja usciva dall'ufficio.
Katja uscì per strada senza rendersi conto fino in fondo di ciò che era accaduto. Le venne voglia di correre e si mise a correre.
Persone felici e arruffate si tuffavano dall'altro lato del fiume, lanciando grida da primitivi.

Биография

Наталья Николашина родилась в 1983 году в г. Павлодар (Казахстан). Там же выросла, окончила университет и стала переводчиком английского языка. Работала в Республиканском наркологическом центре по специальности, а потом – на курсах преподавателем. Сейчас живет в России, в Челябинской области. Работет в книжном магазине «КнигаЛэнд» продавцом–консультантом. Ее основные увлечения – литература и кино. Очень любит природу, походы, горы.

Biografia

Natal'ja Nikolašina è nata nel 1983 a Pavlodar (Kazakistan). Qui cresciuta, si è laureata e ha cominciato a lavorare come traduttrice dall'inglese. Ha collaborato con il Centro Tossicologico della Repubblica del Kazakistan e ha insegnato in un istituto linguistico. Attualmente vive in Russia, nella regione di Čeljabinsk, e lavora nella libreria “Kniga-land”. È appassionata di letteratura e di cinema. Le piace molto la natura, soprattutto la montagna, dove ama compiere lunghe escursioni a piedi.

Отзыв о рассказе

Психологически точный, достоверный по деталям, емкий при небольшом объеме, рассказ молодого автора поражает зрелым мастерством. Управление Федеральной миграционной службы, куда приводит свою героиню и ее пятилетнего сына Наталия Николашина – один из кругов ада, в который страна ежедневно ввергает тысячи, десятки тысяч вынужденных кочевников. Декорации учреждения, где каждая роль – первого плана, независимо от того, кто выступает в ней – сытый инспектор или проситель, – выстроены сценографически безупречно и подчеркивают всевластие чиновника и бессилие тех, кто от него зависит. Казалось бы, рутинная банальная ситуация, лишенная драматургии... Так бы оно и было на самом деле, если бы не игра в шпионы, придуманная отчаявшейся Катей для сына, и не Катина остроумная выходка в сцене с «блатным» Рустамом Тимуровичем. Катина победа тем весомее, что начало рассказа едва ли предвещало ее.

Евгений Солонович

Nota critica

Il racconto di questa giovane autrice colpisce per la sua matura maestria: la precisione nel ritratto psicologico, la verosimiglianza dei dettagli, la capacità di gestire un testo di lunghezza contenuta. Gli uffici direzionali del Servizio Federale per la Migrazione, dove Natal'ja Nikolašina fa arrivare la sua protagonista assieme al figlioletto di cinque anni, ci appaiono come un girone infernale in cui lo Stato fa sprofondare ogni giorno decine di migliaia di nomadi forzati. L'ambientazione dell'ufficio, dove ogni ruolo è in primo piano indipendentemente da chi lo interpreta – che si tratti di un satollo ispettore o di un questuante –, è costruita in maniera scenograficamente perfetta e riesce a evidenziare tanto il potere assoluto dei funzionari governativi, quanto l'impotenza dei cittadini sottomessi al loro arbitrio. La situazione potrebbe sembrare banale nella sua quotidianità, priva di una linea drammaturgica... se non fosse per la *spy-story* che la disperata Katja inventa per il figlio o per il brillante *escamotage* nella scena con il “raccomandato” Rustan Timurovič. La vittoria di Katja è resa ancor più significativa dal fatto che nulla, all'inizio del racconto, la faceva presagire.

Evgenij Solonovič

Дмитрий Фалеев

Перевод Мануэля Боскиеро

Dmitrij Faleev

Traduzione in italiano di Manuel Boschiero

ПО ЗАКОНУ ТУНДРЫ

Каждый человек, если у него есть чувство собственного достоинства или вообще что-то высокое внутри, может убить. Потому что не плюй. И даже не пыли. Такая история случилась с моим другом по имени Дэн; вернее, приятелем, дружить я разучился.

Прияатель был весёлый обаятельный человек. Он верил в то, что ему удобно, по жизни шёл легко, всерьёз не заморачивался и делал, что делалось. Тем более удивительнее его жестокость и обстоятельства, вызвавшие её.

Он работал геологом на северах. Триста километров за полярным кругом. Зима – девять месяцев, сплошные метели. Минус шестьдесят пять градусов по Цельсию – совершенно не рекорд. Морозы выламывают, выходишь и начинается – лицо хрустит. Лето короткое, как божья коровка, с тучами гнуса, а женщины – роскошь, какой бы мачо и красавец ты ни был, потому что их практически нет. От всего этого заметно суровеешь.

С Дэном мы жили в одном общежитии, хотя в разных комнатах, – в четвёртом корпусе; всего их было девять, и все одинаковые – двухэтажные бараки, стоящие на сваях, на вид не отличишь, однако, у каждого была своя особенность или знаменательность, признанная всеми и закреплённая за ним, как прозвище за пальцем – безымянный, указательный... Наш славился вахтёром. Это был молодой, спивающийся хант. Из тундры его вытащила не тяга к знаниям и большому миру, а слабость к алкоголю. Он любил бездельничать и праздно болтать, но отлично знал окрестности и нравы местных жителей,

LA LEGGE DELLA TUNDRA

Ogni persona, se ha il sentimento della propria dignità o in generale qualcosa di elevato dentro di sé, può uccidere. Perché non puoi sputare addosso. E nemmeno coprire di fango. Una storia simile è accaduta a un mio amico di nome Dan; più propriamente, un mio buon conoscente, io ho rinunciato per sempre all'amicizia.

Era una persona allegra e affascinante. Credeva in quello che voleva, viveva la vita con spensieratezza, non prendeva sul serio le scocciature, faceva quel che andava fatto. Per questo risultano ancor più sorprendenti la sua violenza e le circostanze che l'hanno ispirata.

Lavorava come geologo al Nord. Trecento chilometri oltre il circolo polare. L'inverno dura nove mesi, e ci sono continue tormentate di neve. Meno sessantacinque gradi non è affatto un record. Il gelo annienta, esci di casa e incomincia: il volto scricchiola. L'estate è effimera, come una coccinella, con nugoli di moscerini, e le donne sono un lusso, per quanto tu sia *macho* o bello, in pratica non ce n'è. Tutto questo ti rende decisamente rude.

Io e Dan vivevamo nello stesso studentato, anche se in stanze diverse, nell'edificio numero quattro, in totale erano nove, ed erano tutti uguali: baracche di due piani, poggiate su palafitte, non distinguibili a prima vista, ma ognuna aveva una propria particolarità o un tratto significativo, riconosciuto da tutti e assegnato a essa, come i nomi delle dita: anulare, indice. Il nostro edificio era celebre per il suo custode. Era un giovane ubriacone, che apparteneva al popolo dei *Chanty*. A spingerlo fuori dalla tundra non era stata la passione per le scienze o per il vasto mondo, ma la debolezza nei confronti dell'alcool.

так что временами его забирали с собой в экспедиции – общага таким образом лишалась вахтёра, и все говорили: «Домовой уехал»; его так называли. Он на самом деле жил при бараке не столько как служащий (служба была плёвая, пустая служба), сколько некий атрибут, элемент репутации, без которого представить себе четвёртый корпус было невозможно – всё равно что Париж без Эйфелевой башни; натурально – домовый. Без него бы было скучно – он вносил оживление в наши северные будни (чего стоил один только легендарный зелёный пиджак, в котором Домовой появлялся в выходные!), а вот должность вахтёра, занимаемая хантом, была явно излишней. Мы прекрасно обошлись бы и без этой должности. Я мог оставить незапертой дверь в комнату с деньгами, положив их на виду, и уйти хоть на месяц спокойным за то, что никто их не возьмёт. Воров в посёлке не было.

Вообще я заметил: плохие люди на Севере не задерживаются – он их вымывает. Там всё на виду, и плохим быть стыдно. Никто их не гонит. Они сами уезжают. Как крысы. В город. В городах можно всё, отрицательные качества приносят деньги, а на Севере ты держишься на одной взаимовыручке, на братских чувствах, силе воли и порядочности; если их в тебе нет – приходится худо. Так что эти два года меня окружали всё хорошие люди, только пили они крепко. Мне с этим повезло: когда я приехал, на третий что ли день, одному инженеру из нашего корпуса с диагнозом «обморожение» ампутировали ступню – он пьяный слишком долго находился на улице, загулял и не помнил, ничего не почувствовал.

Его несчастье, так нелепо заработанное и необратимое, оказалось столь наглядным, то есть так повлияло, что я, совершенно незнающий меру в алко-

Amava bighellonare e parlare a vanvera, ma conosceva perfettamente i dintorni e le usanze delle popolazioni locali, perciò a volte prendeva parte alle spedizioni: la casa dello studente rimaneva così senza guardiano, e tutti dicevano: “Domovoj se n’è andato”; così lo chiamavano, spiritello domestico. Lui viveva in realtà presso la baracca non tanto come dipendente (il lavoro era una sciocchezza, un incarico inutile), quanto come attributo, elemento della reputazione, senza il quale non era possibile immaginarsi il quarto edificio – esattamente come Parigi senza la torre Eiffel; un vero *domovoj*. Senza di lui sarebbe stata una noia: portava un po’ di vita nei nostri giorni lavorativi nordici (bastava solo vedere la sua leggendaria giacca verde, con la quale Domovoj compariva nei giorni festivi!), ma la funzione di guardiano, che il *chant* ricopriva, era perfettamente inutile. Noi ce la saremmo cavata anche senza. Potevo tralasciare di chiudere a chiave la porta della camera con i soldi poggiati in bella vista e andarmene tranquillo sia pure per un mese, perché nessuno li avrebbe presi. Di ladri nel centro abitato non ce n’erano.

In generale ho notato che le persone cattive non resistono al Nord: le spazza via. Là tutto è visibile e a essere cattivi ci si vergogna. Nessuno li caccia via. Se ne vanno da soli. Come i ratti. Vanno in città. Nelle città tutto è lecito, le qualità negative procurano soldi, ma al Nord sopravvivono solo grazie all’aiuto reciproco, grazie ai sentimenti fraterni, alla forza di volontà e all’onestà. Se non li possiedi le cose vanno male. Sicché in questi due anni sono stato circondato sempre da brave persone, solo che bevevano molto. Io sono riuscito a evitare di farlo: quando arrivai, mi pare dopo due giorni, a un ingegnere del nostro edificio amputarono un piede con la diagnosi di congelamento: ubriaco, era rimasto all’aperto troppo a lungo, aveva fatto baldoria e non ricordava, non aveva avvertito nulla.

голе дома, вдруг её нашёл и за неё уцепился, как за планку турника, и уже не отпускал.

А Дэна отпустил. Интересно, если бы я поехал тогда с ними – помешал бы я ему? Дэн вообще-то был человеком, которому сложно помешать.

Нас познакомил Том Уэйтс. Это случилось на второй неделе моего пребывания за полярным кругом. Я шёл по коридору и внезапно услышал альбом «Rain Dogs» – музыка играла из-за двери с номером «21». Я подумал: «очко», – и с интересом постучал.

Мужской голос:

– Открыто.

И я зашёл.

Дэн валялся на кровати, заложив руки за голову, в верхней одежде, кровать была застелена. До этого случая я уже видел его в столовой, но мы с ним не общались, я даже не знал, из какого он корпуса. Оказалось, из нашего.

У окна на табуретке сидела девушка и чистила картошку, спуская кожуру в небольшую кастрюльку, поставленную на пол. Она была хантыйка: как многие из них, коренастая, маленькая, несимпатичная – с плоским лицом, губы узкие и бледные, крылья носа и ноздри широко расставлены. Зато косы – роскошные. Чёрный цвет из них можно было отжимать, как масло из подсолнуха, но они бы вряд ли потускнели от этого.

Я очень надеялся, что ничем не выказал своего удивления при виде девушки, а она в свою очередь даже не взглянула тогда на меня, словно я и не входил.

– Хорошая музыка, – сказал я с порога в оправдание визита. – Такое тут редкость, не ожидал.

La sua disgrazia, capitata in modo così assurdo e irrimediabile, si rivelò esemplare, cioè influi su di me così tanto che io, che a casa con l'alcool non conoscevo misura, all'improvviso la trovai e mi ci aggrappai come alla barra di un timone, e non la mollai più. Ma Dan invece l'ho lasciato andare. Mi piacerebbe sapere, se fossi andato con loro – lo avrei fermato? Dan era una persona difficile da fermare.

Ci conoscemmo grazie a Tom Waits. Accadde la seconda settimana della mia permanenza oltre il circolo polare. Io stavo camminando in corridoio e improvvisamente sentii l'album *Rain Dogs*: la musica proveniva da dietro la porta della stanza numero 21. Io pensai: "Bingo". E mi misi a bussare incuriosito.

Una voce maschile:

– È aperto.

E io entrai.

Dan era sdraiato sul letto con le mani dietro la testa e il cappotto addosso; il letto era rifatto. Prima di allora l'avevo visto in mensa, ma non avevo legato con lui, non sapevo nemmeno di che edificio fosse. Si rivelò essere del nostro.

Su uno sgabello accanto alla finestra era seduta una ragazza che pelava le patate, lasciando cadere le bucce in una piccola pentola, poggiata sul pavimento. Apparteneva al popolo dei *Chanty*: come molti di loro era robusta, piccola e non bella – con un viso piatto, labbra sottili e pallide, le ali del naso e le narici allargate. Però aveva delle trecce folte. Si sarebbe potuto spremere per ricavare colore nero, come l'olio da un girasole, non avrebbero perso brillantezza.

Io speravo tanto di non aver mostrato il mio stupore alla vista della ragazza, e lei a sua volta non aveva gettato nemmeno uno sguardo su di me, come se non fossi entrato.

– Bella musica – dissi io dalla soglia per giustificare la mia visita.

– А она говорит, что поёт собака, – произнёс Дэн. – У него душа пса. Это не ругательство. Она собак любит, – он встал мне навстречу. – Дэн. Айга.

Я тоже представился. Девушка по-прежнему сидела над кастрюлькой, опустив голову, как будто избегала со мной всякого контакта.

Потом я убедился, что у женщин её племени – это знак уважения, ритуальная вежливость.

Хантыйки живут в тундре, далеко от посёлка. Одеваются, как куклы: сапожки, рубашечки – всё узорно вышито, пушная оторочка, воротники – на зависть столице. Но быт у них тяжёлый. Они быстро стареют. Никогда не моются – и не уговаривай! У них в обычае – натирать своё тело оленьим жиром. Вместо трусов они носят подвязки из кусков свиной кожи. Откуда мне известно? А проходят геологи – через стойбища, партией, забирают с собой одну или двух – уж одна-то или две непременно согласятся (у них распутство почему-то не считается серьёзным грехом, если грех не с животным), таскают по общагам. Они любят сувениры. У одной на руке я видел застёгнутыми пять мужских часов – на память от каждого. Она к ним относилась и как к украшениям, и как к оберегам, а спросишь: «Сколько времени?» – не понимает. Такие они есть. Ночное дело любят. Я жил с одной неделю. Разгорячив меня бесстыжими руками и желая, чтоб мои руки были столь же бесстыжими в отношении её, Чонка в какой-то момент отворачивалась лицом к стене и лежала на боку. Другие позы она не одобряла. «Мужчина не должен видеть глаз женщины во время этого, иначе он сам захочет стать женщиной». Секс для Чонки был исполнен мистики – всё равно что обряд. От неё я узнал, что влагилице по-хантски называют тем же словом, что и чум, в котором камлают шаманы.

Una cosa simile è rara qui, non me l'aspettavo.

– E lei dice che è un cane che canta – disse Dan. – Che ha l'anima del cane. Non è un'offesa. Lei ama i cani – mi venne incontro. – Dan. Ajga.

Anch'io mi presentai. La ragazza stava seduta come prima china sulla pentola, come se evitasse ogni contatto con me.

Poi ho capito che per le donne del suo popolo è un segno di rispetto, una cortesia rituale.

Le donne dei *Chanty* vivono nella tundra, lontane dai centri abitati. Si vestono come bambole: stivaletti, camicette – tutto decorato con disegni ricamati, il bordo di pelliccia, i colletti da far invidia alla capitale. Ma le loro condizioni di vita sono pesanti. Invecchiano in fretta. Non si lavano mai – e non cercare di convincerle! Da loro c'è l'usanza di strofinarsi il corpo con grasso di renna. Al posto delle mutande indossano un intreccio di pezzi di pelle di maiale. Come faccio a saperlo? I geologi passano per gli accampamenti, in gruppo, ne prendono con sé una o due – una o due accettano sempre (da loro la dissolutezza per una qualche ragione non è ritenuta un peccato grave, se non si compie con animali), – le portano nelle case dello studente. Loro amano i souvenir. Al braccio di una ho visto allacciati cinque orologi maschili: in ricordo di ogni uomo. Lei li trattava come ornamenti e talismani, ma se le chiedevi: “Che ora sono?” non capiva. Loro sono fatte così. Amano gli affari di letto.

Io ho vissuto con una per una settimana. Dopo aver risvegliato in me il desiderio con le sue mani spudorate, per rendere le mie mani altrettanto spudorate su di lei, Čonka a un certo punto si girava con il volto verso la parete e si sdraiava sul fianco. Non accettava altre posizioni. “L'uomo non deve vedere l'occhio della donna in quei momenti, altrimenti lui stesso vorrà diventare donna.” Il sesso per Čonka era pieno di mistica, come

Все эти необычности разрушали клетку моего мировоззрения, и я просыпался уже чуточку другим, чем был вчера утром, значит, день прошёл не зря, я сдвинулся вперёд, чему-то научился. К тому же с Чонкой это было приятно. Ни одна из моих прошлых девушек не имела такие вороные косы. Когда я однажды попросил их распустить, Чонка сказала, что женщины у них пускают волосы, если чувствуют смерть, а она сейчас не чувствует и не хочет её звать. Домовой про Чонку говорил «косатая». Она тоже не мылась. Могла часами смотреть в окно, дожидаясь моего возвращения с работы, ни о чём не думая.

Помню, как однажды Домовой вернулся из своей очередной вылазки в Тайгус, ближайший к нам центр, куда летал вертолётom – других путей не было, разве только на упряжках. В Тайгусе Домовой гулял всегда одинаково – в зелёном пиджаке, снимал номер в гостинице, с двуспальной кроватью, и русских проституток – обязательно блондинок. Составляя коллекцию, он фотографировал их на сотовый – тот у него был с цветными стразами, верх безвкусицы, а коллекция сплошь одни груди и ляжки, всё, кроме лиц, – шлюхи это позволяли, а, может, он приплачивал им за сговорчивость или наливал. Вернувшись, он хвастался:

– Отличные девушки, ты посмотри.

Я как раз стоял у вахты, дожидаясь соседа, пока тот соберётся, чтобы вместе с ним идти на станцию, но сосед задерживался.

Домовой тем временем выбрал на мобильном один из снимков и подсунул его мне. Я отмахнулся:

– И не показывай.

un rito. Ho saputo da lei che nella lingua dei *Chanty* la vagina viene chiamata con la stessa parola usata per la tenda degli sciamani.

Tutte queste cose inusuali rupero la gabbia della mia visione del mondo, e io mi svegliai già diverso rispetto a quello che ero la mattina precedente: significava che il giorno non era passato invano, ero andato avanti, avevo imparato qualcosa. Inoltre stare con Čonka era piacevole. Nessuna delle mie precedenti ragazze aveva trecce corvine come quelle. Quando una volta le chiesi di sciogliersi i capelli, Čonka disse che da loro le donne se li sciolgono solo quando sentono la morte vicina, e lei non la sentiva in quel momento, e non la voleva chiamare. Domovoj chiamava Čonka “trecciona”. Nemmeno lei si lavava. Poteva guardare fuori dalla finestra per ore, aspettando il mio ritorno dal lavoro, senza pensare a niente.

Ricordo che una volta Domovoj tornò da una delle sue ennesime gite a Tajgus, il centro più vicino a noi, dove andava in elicottero; altre strade non c'erano, forse solo con la slitta. A Tajgus Domovoj faceva baldoria sempre allo stesso modo: indossando la sua giacca verde, prendeva una stanza in albergo con un letto matrimoniale e delle prostitute russe – rigorosamente bionde. Ne faceva collezione e le fotografava con il cellulare ornato di strass colorati, che era il colmo del *kitsch*. La collezione comprendeva solo seni e cosce, tutto tranne il viso: le puttane glielo permettevano, e forse lui le pagava di più per renderle più malleabili o le faceva bere. Rincasato, si vantava:

– Ragazze magnifiche, guarda.

Io ero proprio al posto di guardia, aspettavo che un mio vicino si preparasse per andare con lui alla stazione, ma lui tardava.

Nel frattempo Domovoj scelse sul cellulare uno degli scatti e me lo mise sotto il naso. Io lo scacciai:

– Ma non mostrarmela.

Тогда он вздохнул надо мной, как над блаженным, и, нажимая на кнопки, сам стал переглядывать – в который уже раз?

– И не тошно тебе? – спросил я насмешливо, хотя без порицания.

Он закрыл мобильный, убрал его в карман, но продолжал ухмыляться. Мне стало неприятно, что я стою с ним рядом – до того грязная была ухмылочка, кривая, вонючая, как будто смаковала не самый разврат, а некий его признак, сладковатый душок, становясь от этого вдвое омерзительней.

Когда она исчезла, мне продолжало казаться, что ухмылка осталась у него на лице, хотя её там не было и я её видел всё равно что сквозь стену; она прилипла к моим глазам. Видимо, была за ней какая-то сила – совсем небезвредная, извращение, порча.

После случая с Дэном Домовой вообще предстаёт в моей памяти исключительно с этой неприглядной ухмылочкой, как будто у него нет другого выражения не только для лица, но и для души.

А «косатая» Чонка перебралась к соседу – он зашёл ко мне за книгой, а ушёл вместе с девушкой, не забыв, впрочем, и книги. Мы делили их по случаю. Никто не говорил: «Тут запрет, она моя». Мы делились женщинами, как на походе – едой, сигаретами, по-мужски, по-братски. Такие были правила. Север есть Север.

* * *

За всеми этими пёстрыми подробностями почему-то никак не получается рассказать о Дэне.

Allora lui tirò un sospiro come se si trovasse davanti un malato di mente, e schiacciando i tasti si mise lui stesso a riguardarle: quante volte l'aveva fatto?

– Ma non ne hai la nausea? – gli chiesi beffardamente, ma senza biasimarlo.

Chiuse il cellulare, lo mise in tasca, ma continuò a sogghignare. Stargli accanto divenne spiacevole per me, il suo ghigno era così sporco, storto, fetido, come se avesse assaporato non la dissolutezza vera e propria, ma solo un suo tratto, l'odore dolciastro, diventando per questo tre volte più disgustoso.

Quando il ghigno scomparve, continuava a sembrarmi che gli fosse rimasto sul viso, anche se non c'era, e lo vedevo anche attraverso una parete; mi si era attaccato agli occhi. Evidentemente c'era una forza dietro quel ghigno: assolutamente maligna, un'anormalità, una malattia.

Dopo quello che è successo tra lui e Dan, Domovoj appare sempre nella mia mente solo con questo squallido ghigno, come se non avesse altra espressione non solo del viso, ma anche dell'anima.

La “trecciona” Čonka si trasferì dal vicino: lui era venuto da me a prendere un libro e se ne andò con la ragazza, senza dimenticare, comunque, il libro. Le dividevamo a seconda dei casi. Nessuno diceva: “Qui c'è un divieto, lei è mia”. Noi ci dividevamo le donne, come nell'esercito il cibo, le sigarette, da uomini, da fratelli. Queste erano le regole. Il Nord è Nord.

* * *

Al di là di tutti questi dettagli pittoreschi, chissà perché non si riesce proprio a raccontare di Dan.

Серый человек, к которому привыкли и от которого в принципе не ждут ничего особенного, вдруг что-нибудь сморозит и это о нём помнится отчётливо, как пик, а от Дэна ждали – услышать, увидеть, ввязаться вместе с ним во что-то интересное. Он всегда был на подъёме, стабильно в тонусе, обладая тем счастливым характером, который как будто приземлённый, устойчивый, но в то же время колоритный, яркий. Я не помню Дэна унылым или скучным, но сказать, что он среди всех остальных резко выделялся – тоже неправильно. Хорошая компания – не больше и не меньше. В герои Дэн не лез, хотя он был храбр, не любил тянуть одеяло на себя, хотя был независим. Обаятельный безбожник. Душа застолья. Всегда на людях, везде с людьми.

Дэн умел, как никто разрядить обстановку, двумя-тремя фразами отвести грозу; если слов не хватало, готов был действовать. На Дне Оленевода мы с ним разнимали четырёх пьяных хантов, устроивших потасовку. Как раз проводились традиционные весенние гонки. Полста экипажей на оленьих упряжках боролись за «Буран», который в итоге достался ханту – я забыл его имя, но он оказался старшим братом Айги. После победы молодой оленевод завернул в наш корпус, и они втроём, с ним Дэн и Айга, напряженно и долго о чём-то спорили, после чего хант уехал один.

Это был конец марта. Его разнообразило и другое событие – на окраинах посёлка, у помоек и свалок, стал появляться белый медведь. Он выходил сюда из тундры кормиться и представлял опасность. Дэн был не охотник, но пошёл с охотниками в ночную засаду. Животное убили, Дэн был в восторге, хотя сам не выпустил по медведю ни пули – не потому что он растерялся, а что-то случилось с самим ружьём, перемерзло оно что ли? – Дэн нажал на спуск,

Un uomo mediocre, al quale si è abituati e dal quale in linea di principio non ci si aspetta niente di particolare, all'improvviso fa un'uscita stupida, che viene ricordata distintamente, come il suo massimo, e da Dan ci si aspettava di sentire, di vedere, di prendere parte assieme a lui a qualcosa d'interessante. Non si faceva mai pregare due volte, era sempre pieno d'energia, avendo quel carattere allegro che era come se fosse concreto e stabile, ma nello stesso tempo anche fuori dalle righe, vivace. Io Dan non lo ricordo triste o malinconico, ma non si può nemmeno dire che si distinguesse nettamente da tutti gli altri. Una piacevole compagnia – né più né meno. Non voleva fare l'eroe, anche se era coraggioso, non pensava solo a se stesso, ma era indipendente. Un affascinante senzadio. Un'anima festaiola. Sempre in mezzo alla gente, ovunque in compagnia.

Dan sapeva calmare le acque come nessun altro, con due tre frasi allontanare la tempesta; se le parole non bastavano, era pronto a passare ai fatti. Nel giorno della Festa dell'Allevatore della Renna io e lui dividemmo quattro *Chanty* ubriachi, che avevano scatenato una rissa. Proprio in quell'occasione avvenivano le tradizionali corse primaverili. Cinquanta equipaggi su tiri di renne combattevano per il titolo di "Tempesta", che alla fine toccò a un *chant* – ho dimenticato il suo nome, ma era il fratello maggiore di Ajga. Dopo la vittoria il giovane allevatore di renne fece un salto nel nostro edificio, e in tre, lui, Dan e Ajga, discussero animatamente e a lungo di qualcosa, dopo di che il *chant* se ne andò da solo.

Era la fine di marzo, e il mese fu movimentato da un altro avvenimento: nei dintorni del centro abitato, nei pressi di immondezze e discariche, fece la sua comparsa un orso bianco. Si era spinto fin qui dalla tundra per cibarsi e rappresentava un pericolo. Dan non era un cacciatore, ma si unì a loro nella battuta notturna. L'animale venne ucciso. Dan era euforico, sebbene non avesse sparato all'orso nemmeno un proiettile – non

но выстрела не последовало, а потом было поздно – с заданием справились другие участники. Дэн простодушно иронизировал над своей незадачей:

– Зато теперь можно рассказывать истории – «Когда я охотился на белого медведя, ружьё заклинило...». Это же красиво.

Он сам был красивый. Помню его лёгкость, спонтанную удачливость, любовь к импровизации. За всем этим казалось, что он ничего на свете не ценит. В том числе и Айгу. Я не помню их вместе, не помню их рядом. Она в него верила, а он от этого удобно устроился. Никто не завидовал – всё это как-то подразумевалось само собою, что одни перебиваются от раза до раза, а у Дэна всё есть, и это нормально.

Он умел расположить, выбирать слова, любил шум, посиделки, сам играл на гитаре, песни которые вряд ли понравились бы Тому Уэйтсу, но нам они нравились.

Домовой, который для всех находил образное выражение, про Дэна заметил: «У него удача зашита в брюхе».

Свою работу (полярного геолога) Дэн романтизировал по мере возможностей как своих, так и её, но всё фундаментальное было ему чуждо. Он в общем-то не был человеком науки, хотя и защитил в своё время кандидатскую.

Я слышал от него: «Скорее бы заделаться старым дураком, чтобы ничего от себя не требовать», однако, у меня было впечатление, что он и сейчас – при всей своей энергии – никуда не рвётся и ничего ему не надо, кроме как хорошо провести время, а это не самая большая морока и по части ответственности – кот заплакал.

Так или иначе, а с Дэном у меня нашлось больше общего, чем с кем-либо

perché si fosse confuso, ma perché era capitato qualcosa al suo fucile, si era congelato o che? – Dan aveva premuto il grilletto, ma non era seguito lo sparo, e poi era troppo tardi: portarono a compimento la missione altri partecipanti alla battuta. Dan ironizzava con semplicità sulla propria sfortuna:

– Però ora si può raccontare la storia: “Mentre davo la caccia all’orso, si è inceppato il fucile”. – Proprio bello.

Lui stesso era bello. Ricordo la sua leggerezza, la sua naturale fortuna, l’amore per l’improvvisazione. Oltre a tutto questo sembrava che non gl’importasse di nient’altro al mondo. Nemmeno di Ajga. Io non li ricordo assieme, non li ricordo l’uno accanto all’altra. Lei aveva fiducia in lui, e di conseguenza lui si era sistemato comodo. Nessuno lo invidiava: la cosa in qualche modo si capiva da sé, alcuni si arrabattano di volta in volta, ma Dan aveva tutto, ed era normale. Lui sapeva attirare, scegliere le parole, amava la confusione, le serate, suonava persino la chitarra, canzoni che difficilmente sarebbero piaciute a Tom Waits, ma che a noi piacevano.

Domovoj, che per tutti trovava un’espressione figurata, di Dan aveva osservato: – Lui il successo ce l’ha cucito addosso.

Il proprio lavoro (di geologo polare) Dan lo romanticizzava nei limiti delle proprie possibilità e di quelle del lavoro stesso, ma tutti i suoi fondamenti gli erano estranei. In generale lui non era uomo di scienza, anche se aveva finito il dottorato.

Lo sentii dire: – Sarebbe meglio diventare un vecchio stupido, per non pretendere niente da se stessi –, però avevo la sensazione che lui anche in quel momento, con tutta la sua energia, non aspirasse a nulla e non gli servisse niente, tranne che trascorrere piacevolmente il tempo, e questa non era la scocciatura più grande; e per quanto riguarda la responsabilità: una miseria.

ещё из моих северян. Я уже давно никого из них не видел, ни с кем не общаюсь, но произношу с неизменным теплом – мои северяне.

Такая была жизнь.

После встречи с Чонкой я стал внимательнее относиться к хантам. Они занимались разведением оленей. Продавали русским пушнину и ягоды, вышитую одежду – это был их бизнес.

Необычный народ. Ханты верили в духов. Лечились у шаманов. Церквей у них не было, потому что вся тундра считалась церковью – тут холм священный, там Лосиное Озеро, Долина Смерти...

Ни разу не видел я ханта в сапогах или, скажем, в берцах – обувь шили сами: на мягкой подошве, – это было обязательно; каблуков не признавали.

– Почему у вас так?

– Чтобы тундру не портить.

Тундра – святое. Она и убийца, и покровитель.

Новорождённого оставляют на ночь в непротопленном чуме и смотрят – выживет? или не выживет? Если умирает – не достоин тундры, она его не хочет, и он не нужен на белом свете.

Вообще впечатляло – какая бешеная заповедная мудрость этих древних обычаев. И в то же время дикость – без конца и без края.

Ханты жрали рыбу прямо из проруби – смотреть противно. От такой гастрономии в печени у них заводились черви, избавиться от которых было несколько способов, но ханты, как правило, предпочитали следующий – пить «чиколон», то есть одеколон. Некоторые лечились им «для профилактики».

Sia come sia, in Dan io trovai molte più cose in comune che con qualsiasi altro della mia gente del Nord. È già da molto tempo che non vedo nessuno di loro, né mi tengo in contatto, ma dico con immutato calore: “La mia gente del Nord”.

Così era la vita.

Dopo l'incontro con Čonka io iniziai a trattare i *Chanty* con maggiore considerazione. Si occupavano di allevamento delle renne. Vendevano ai russi pellicce, fragole e abiti ricamati: questa era la loro economia.

Un popolo curioso. I *Chanty* credevano negli spiriti. Si facevano curare dagli sciamani. Chiese da loro non ce n'erano, perché tutta la tundra era considerata una chiesa: qui c'era una collina sacra, là c'era il Lago delle Alci, la Valle della Morte.

Non ho mai visto una volta un *chant* con gli stivali, oppure, diciamo, con gli anfibi: le calzature se le cucivano da soli; su una suola morbida, era obbligatorio: i tacchi non erano ammessi.

– Perché da voi è così?

– Per non rovinare la tundra.

La tundra è sacra. È sia assassina che protettrice. Il neonato viene lasciato per una notte in una tenda non riscaldata e si osserva: sopravvivrà oppure no? Se muore significa che non è degno della tundra, lei non lo vuole, e lui non è necessario su questa terra.

In generale faceva impressione quanta inaudita e segreta saggezza ci fosse in quelle antiche usanze. E nello stesso tempo quanta barbarie: infinita e sconfinata.

I *Chanty* mangiavano il pesce appena uscito dal buco nel ghiaccio: ripugnante da vedere. A causa di tale gastronomia nei loro fegati si formavano dei vermi, per liberarsi dei quali esistevano diversi metodi, ma i *Chanty* di norma preferivano il seguente: bere il čikolon, cioè acqua di colonia. Alcuni si curavano così “a scopo profilattico”.

Любопытные вещи; кому ни расскажешь – все удивляются, но, несмотря на это, жизнь моя на севере текла однообразно, день следовал за днём, и иногда мне казалось, что я нахожусь в добровольном заключении. В чём-то так и было. Экзотика приелась, полярное сияние не вызывало никаких эмоций, кроме – да, ничего, явление природы. К тому же я начал страдать бессонницей, хотя раньше не страдал, и ночами напролёт глотал детективы: тупые, занятные – уже не различалось. Причины понятны.

Письма от матери – да друг раз написал – примиряли с действительностью, хотя были ни о чём; я читал, улыбался. «Сынок», «Холерыч» (моя школьная кличка) – откуда эти строки?

– Валить отсюда надо, – сказал я Дэну.

Он мне ответил:

– Думаешь, там лучше?

И всё-таки первым уехал он.

Дурное известие привёз брат Айги, победитель гонок. Он был настроен весьма решительно. За ним стояли слова шамана. Их мать заболела. Духи разгневались. Айга должна возвратиться домой.

Нет, она не может – по крайней мере, сейчас, вот деньги на таблетки, насколько всё серьёзно?

– Поедем – увидишь.

Она не поехала, а брат, разозлившись, не стал рассказывать. Через две недели он приехал снова и мрачно объявил, что мать по-прежнему не встаёт с постели, но смерть уже в чуме – скончалась их младшая сестрёнка Кори. Тундра требует Айгу обратно, семья восстановится. Та кусала губы.

Cose curiose; tutti quelli a cui le racconti si meravigliano, ma, nonostante questo, la mia vita al Nord scorreva monotona, i giorni si susseguivano gli uni agli altri, e qualche volta mi sembrava di trovarmi in carcere volontario. In un certo senso era così. L'esotico mi era venuto a noia, l'aurora boreale non suscitava più nessuna emozione – sí, insomma nulla, un fenomeno naturale.

Inoltre iniziai a soffrire d'insonnia, sebbene prima non ne soffrissi affatto, e per notti intere divoravo libri gialli: stupidi o impegnati, ormai non faceva alcuna differenza. Il perché era evidente.

Le lettere di mia madre – e di un amico che mi ha scritto una volta – mi riconciliavano con la realtà, anche se non erano un granché; leggevo e sorridevo. “Figlio mio”, “Piccola peste” (Il mio soprannome della scuola) – da dove provenivano quelle righe?

– Bisogna levare le tende – dissi a Dan.

Mi rispose:

– Pensi che là sia meglio?

E tuttavia lui fu il primo ad andarsene.

Il fratello di Ajga, il vincitore della corsa, portò una brutta notizia. Era in uno stato d'animo molto risoluto. Era forte delle parole dello sciamano. La loro madre si era ammalata. Gli spiriti si erano adirati. Ajga doveva tornare a casa.

No, lei non poteva: per lo meno non ora. – Ecco i soldi per le medicine, quanto è grave la situazione?

– Vieni e lo vedrai.

Lei non andò, e il fratello, infuriato, non glielo disse. Due settimane dopo venne di nuovo e disse cupamente che la madre come prima non si alzava dal letto, ma che la morte era già nella tenda: era morta la loro sorella minore Kori. La tundra voleva che

Провожать я не пошёл, но видел от двери – Айга уезжала с распущенными косами.

– Долго не протянет, – сказал Домовой.

– Почему?

– Мылась.

– ?!

– Тундра не простит. Наши духи от неё отвернутся.

Так и случилось. Айга умерла в середине осени от той же лихорадки и на той же лежанке, что и сестра. У хантов нет кладбищ, и вообще эта тема – под строгим запретом, но Дэну хотелось во чтобы то ни стало побывать на могиле: «Я спать не смогу, если к ней не съезжу», но никто из хантов не горел желанием его туда везти и показывать дорогу – это шло вразрез с их исконными порядками и суевериями, не переломишь. Убедившись в этом, Дэн нашёл человека, который наплевал на все суеверия – он купил Домового! Тот сначала поломался для пущей важности, но в итоге согласился – вылазки в Тайгус обходились недёшево, а Дэн давал щедро. Сговорились с шофёром. Тот рассчитал, что свободен в пятницу. И машина свободна.

Как по-хантски – не знаю, но русский перевод названия той местности, куда они направились, – Последний Лес.

У хантов не принято хоронить покойников – они привязывают их на деревья, чтоб ни волк, ни песец, ни медведь не достали, а деревьев такой высоты немного, их величина и исключительная редкость – первый залог, что они тут неспроста, шаманы сюда ездят просить помощи у мёртвых.

Думаю, для Дэна это стало сюрпризом. Шофёр рассказывал, что он так и не

Ajga tornasse indietro, la famiglia si sarebbe rimessa in sesto. Lei si morse le labbra. Io non andai ad accompagnarli, ma vidi dalla porta che Ajga se ne andava con le trecce sciolte.

– Non vivrà a lungo – disse Domovoj.

– Perché?

– Si è lavata.

– ?!

– La tundra non la perdonerà. I nostri spiriti romperanno con lei.

E così accadde. Ajga morì a metà autunno per la stessa febbre e sullo stesso letto di sua sorella. I *Chanty* non hanno cimiteri, e in generale questo argomento era rigidamente vietato, ma Dan voleva ad ogni costo andare sulla sua tomba. – Io non posso dormire se non vado da lei –, ma nessuno dei *Chanty* moriva dalla voglia di accompagnarlo e di indicargli la strada: era in contrasto con regole e superstizioni secolari, impossibili da infrangere. Convintosene, Dan trovò una persona che se ne fregava di tutte le superstizioni: comprò Domovoj! Lui all'inizio fece il prezioso per apparire più importante, ma alla fine acconsentì: le gite a Tajgus costavano molto, e Dan lo pagò generosamente. Si misero d'accordo con un autista. Quello faceva conto di essere libero il venerdì. Anche la macchina era libera.

Come si dica nella lingua dei *Chanty* non so, ma in russo la traduzione del nome di quel luogo dove si diressero era “L'ultima foresta”.

I *Chanty* non usano seppellire i morti: li legano sugli alberi, perché né un lupo né una volpe polare né un orso possano raggiungerli, e di alberi di una simile altezza non ce n'è molti, la loro grandezza e la loro assoluta rarità sono la prima garanzia che non sono lì senza una ragione; gli sciamani ci vanno a chiedere aiuto ai morti.

смог подойти к деревьям, хотя порывался – неоднократно, это было заметно. В нём происходила внутренняя борьба, с которой он не справился, не мог переступить, а когда он обернулся, то увидел Домового – хант всё снимал на камеру в «мобильном». Это срезало махом. Как отчеркнуло.

Домовой, спохватившись, спрятал телефон, и вот тут, как мне кажется, у него на лице возникла совершенно такая же ухмылочка, которая однажды испачкала меня. Возможно, она всего лишь промелькнула, но этого хватило – последняя капля, переполнившая чашу, ведь у Дэна за спиной находилось дерево, в кроне которого – зловеще, как русалка – раскинулась Айга, и она смотрела на него оттуда.

Говорят, тогда он его и убил. Шофёр не выдал, потому что понял и потому что это был Север. Официально Домовой пропал без вести. Вскоре после следствия Дэн рассчитался и уехал от нас по неизвестному адресу, оставив мне «бумбокс» и коллекцию дисков.

Такая была жизнь.

Penso che per Dan questo sia stato una sorpresa. L'autista disse che proprio non aveva potuto avvicinarsi agli alberi, sebbene si fosse sforzato più volte di farlo, si vedeva. Era in preda a un dissidio interiore che non riusciva a risolvere, non poteva passarci sopra, e quando si girò, vide Domovoj: il *chant* stava riprendendo tutto con la videocamera del cellulare. Questo tranciò di netto ogni indecisione. Come se qualcuno l'avesse cancellata. Domovoj, accortosi di aver sbagliato, nascose il telefono, e allora, almeno mi immagino, sul suo viso comparve proprio lo stesso identico ghigno che una volta mi aveva insudiciato. È possibile che il ghigno sia solo balenato, ma questo bastò: l'ultima goccia che fece traboccare il vaso, perché dietro la schiena di Dan c'era l'albero, sulle cui fronde era distesa in modo sinistro, come una *rusalka*, Ajga, e lo guardava da lassù. Dicono che fu allora che lo uccise. L'autista non lo denunciò perché comprese e perché questo era il Nord. Ufficialmente Domovoj risultò disperso. Subito dopo le indagini Dan si licenziò e si allontanò da noi verso una destinazione sconosciuta, lasciandomi lo stereo e la collezione di dischi. Così era la vita.

Биография

Дмитрий Фалеев родился 3 января 1981 года в г. Иваново. Окончил Ивановский государственный университет. Специальность – «Журналистика». Любит природу и путешествовать. Изучает историю и культуру цыган–котляров. Очень любит природу и путешествии. Увлекается горным туризмом.

Biografia

Dmitrij Faleev è nato il 3 gennaio 1981 a Ivanovo, dove si è laureato in Giornalismo all'Università Statale. Studia la storia e la cultura degli zingari calderai. Ama la natura e i viaggi. È appassionato di turismo di montagna.

Отзыв о рассказе

Жизнь и трудная работа на Севере, в тундре организуют рассказ Дмитрия Фалеева, поле рассказа. Трудной работе дается и место, и время, и лаконичное описание. Но главную прелесть текста несомненно составляет колорит, знание колорита.

Достаточно прочитав половину абзаца, чтобы понять с кем и с чем читатель имеет дело: «...Хантыйки живут в тундре, далеко от посёлка. Одеваются, как куклы: сапожки, рубашечки – всё узорно вышито, пушная оторочка, воротники – на зависть столице. Но быт у них тяжёлый. Они быстро стареют. Никогда не моются – и не уговаривай! У них в обычае – натирать своё тело оленьим жиром. Вместо трусов они носят подвязки из кусков свиной кожи. Они любят сувениры. У одной на руке я видел застёгнутыми пять мужских часов – на память от каждого. Она к ним относилась и как к украшениям, и как к оберегам, а спросишь: «Сколько времени?» – не понимает. Такие они есть. Ночное дело любят...»

Разумеется, если писатель знает свой предмет и умеет подчеркнуть неслучайные краски, его рассказы глядятся очень выигрышно и победительно сравнительно с другими. Что и произошло с рассказом Дмитрия Фалеева *По закону тундры*.

Несомненно это один из лучших рассказов, присланных на конкурс.

Владимир Маканин

Nota critica

La vita e il duro lavoro al Nord, nella tundra, sono alla base del racconto di Dmitrij Faleev, sono il “campo” del racconto. Quel duro lavoro occupa spazio, tempo e una laconica descrizione. E la bellezza del testo risiede soprattutto nel suo colore locale, nella conoscenza della realtà descritta.

Basta leggere mezzo paragrafo per capire con chi, e con che cosa, ha a che fare il lettore: “[...] Le donne dei *Chanty* vivono nella tundra, lontane dai centri abitati. Si vestono come bambole: stivaletti, camicette – tutto decorato con disegni ricamati, il bordo di pelliccia, i colletti da far invidia alla capitale. Ma le loro condizioni di vita sono pesanti. Invecchiano in fretta. Non si lavano mai – e non cercare di convincerle! Da loro c’è l’usanza di strofinarsi il corpo con grasso di renna. Al posto delle mutande indossano un intreccio di pezzi di pelle di maiale. Come faccio a saperlo? I geologi passano per gli accampamenti, in gruppo, ne prendono con sé una o due – una o due accettano sempre (da loro la dissolutezza per una qualche ragione non è ritenuta un peccato grave, se non si compie con animali), – le portano nelle case dello studente. Loro amano i souvenir. Al braccio di una ho visto allacciati cinque orologi maschili: in ricordo di ogni uomo. Lei li trattava come ornamenti e talismani, ma se le chiedevi: “Che ora sono?” non capiva. Loro sono fatte così. Amano gli affari di letto. [...]”.

È evidente che la conoscenza della materia e la capacità di metterne in rilievo i colori giusti conferiscono allo scrittore un notevole rilievo e danno ai suoi racconti un grande spessore. Proprio come accade nel caso de *La legge della tundra*.

Indubbiamente è uno dei migliori racconti presentati al concorso.

Vladimir Makanin

Алёна Чурбанова

Перевод Марии Гатти Раках

Alëna Čurbanova

Traduzione in italiano di Maria Gatti Racah

БУХГАЛТЕР, МИЛЫЙ МОЙ БУХГАЛТЕР

Рассказ о современном супермене

Олег Андреевич был молодой бухгалтер со строгой морщиной на стальной переносице. Когда ему исполнилось тридцать, он посмотрелся в зеркало и удивился своему сходству с Бельмондо. А потом ему надоело глядеться, и он отвернулся на секунду. Тут же время завертелось с ужасной скоростью, и когда он снова глянул на себя, то обнаружил, что ему 70, и даже зовут его больше не Олег Андреевич, а просто Андреич. Он достал паспорт и проверил – что там написано? А в паспорте тоже стояло – Андреич.

И внешне он больше не напоминал ни Бельмондо, ни Шмельмондо, а скорее, засушенную в гербарий черепашку–ниндзя.

Андреич сразу расстраиваться не стал – просто не успел осознать, что к чему. Он напихал в банку гречневой каши, осторожно спустился по лестнице, доковылял до автобуса и поехал на могилу жены, чтобы с ней посоветоваться. На кладбище было сыро и осень. Андреич сел на бордюр, поел гречневой каши из банки, и стал медленно прохаживаться по кладбищу, рассматривая надписи и думая, что вот, если время назад не завертится, то ему скоро надо будет здесь осваиваться.

Надо сказать, еще лет пять назад все было не так уж плохо. Была жива его Танечка, и Славик еще не уехал. А теперь Танечка в могиле, Славик в Окленде, что в *Новой Зеландии*, будь она проклята. Андреич пытался отговорить сына от отъезда, но Славик не желал ничего слушать. Уже пять лет прошло, а

RAGIONIERE, MIO CARO RAGIONIERE
Storia di un Superman contemporaneo

Oleg Andreevič era un giovane ragioniere con una severa ruga sopra la ferrea radice del naso. Quando aveva compiuto trent'anni si era guardato allo specchio e si era meravigliato della sua somiglianza con Belmondo. Poi si era stufato di rimirarsi e si era voltato per un attimo. Il tempo aveva subito preso a scorrere a una velocità terribile e, quando si era guardato di nuovo, aveva scoperto di avere settant'anni e che addirittura non si chiamava più Oleg Andreevič, ma solo Andreič. Aveva tirato fuori il passaporto per controllare cosa ci fosse scritto. Ma anche sul passaporto c'era scritto Andreič.

Esteriormente, inoltre, non ricordava più Belmondo, ma neanche Immondo, quanto piuttosto una tartaruga ninja essiccata in un erbario.

Andreič non ci era rimasto male subito, semplicemente non aveva fatto in tempo a fare due più due. Aveva riempito un barattolo di polenta di grano saraceno, era sceso per le scale con attenzione, era arrivato arrancando fino all'autobus e aveva raggiunto la tomba della moglie, per chiederle consiglio.

Al cimitero tutto era umido e autunnale. Andreič si era seduto su un ciglio, aveva mangiato la polenta dal barattolo e poi si era messo a passeggiare lentamente per il cimitero, guardando le iscrizioni e pensando che, ecco, se il tempo non si fosse messo a scorrere all'indietro, anche a lui sarebbe presto toccato ambientarsi in quel posto.

Bisogna dire, però, che ancora cinque anni prima le cose non andavano poi così male. La sua Tanečka era viva e Slavik non era ancora partito. Ora invece Tanečka era nella tomba e Slavik ad Auckland, e cioè in *Nuova Zelanda*: che sia maledetta. Andreič aveva

будто вчера. Как же это он сказал? Не навязывайте мне, дескать, свою убогую модель. Унылое говно вся эта ваша *Раша*, да и сами вы, в общем... *не в теме*. Так и сказал. Обидел его Славик, чего уж там говорить. Ладно бы в Америку, или даже к фашистам, как сестра Андреича двоюродная, но в *Новую Зеландию*? Андреич даже тот свет себе лучше представлял.

Старик тогда спросил у тетя Клавы, где про эту страну что-нибудь узнать можно. А она ему видеокассету дала, на которой три серии какие-то пидороватые люди ужасно переживая и мучаясь ходили по горам и болотам. Есть им было нечего, так один даже кролика поймал. Его спрашивают, мол, сырым будешь его есть, а он – да, моя прелесть, у нас так принято. Сразу видно, что заграница.

А год назад Танечка умерла, за пару месяцев сгорела. Славик приехал, за все заплатил, его с собой в *Зеландию* эту чертову звал, но Андреич отказался, конечно же. Мне сынок, в могилу проще, чем туда – да, так и сказал. Славик только головой покачал. Компьютер старику вот зачем-то купил и обратно отчалил. С *хэппи бёздей* поздравил недавно. Знаем мы это все, тоже, небось, не с Луны свалились. *Вася Иванов из э йанг пионир. Ландэн из э кэпитал оф Грейт Британ*. Что же деньги высылают, и на том спасибо. Говорит, учись скальпом пользоваться и заведи блох.

– Что-то ты наглým стал сынок, – сказал ему тогда Андреич. – Дома получил бы по губам – отца родного унижать.

– Ладно, приеду, научу, – говорит Славик.

– Скальп я сам с кого хочешь сниму, учить меня не надо. А блох вон у Васьки моего хватает, не передавишь. Могу тебе отсыпать, коли в Зеландии дефицит.

provato a far desistere il figlio dalla partenza, ma Slavik non aveva voluto sentire ragioni. Erano passati già cinque anni, ma sembrava ieri. Com'è che aveva detto? – Non imponetemi – aveva detto – il vostro misero modello. È una noia di merda questa vostra *Rascia*, e anche voi, nel complesso... *siete fuori tema*. – Così aveva detto. Slavik lo aveva offeso, non c'è che dire. Passi in America, o addirittura dai fascisti come la cugina di Andreič, ma in *Nuova Zelanda*? Andreič riusciva a immaginarsi meglio l'aldilà.

Il vecchio allora aveva chiesto alla zia Klava come si potesse scoprire qualcosa su quel paese, e lei gli aveva dato una videocassetta in cui, per tre puntate, alcune mezze cecche attraversavano monti e paludi soffrendo e penando orrendamente. Da mangiare non avevano nulla, e così uno aveva persino catturato un coniglio. Gli avevano chiesto se voleva mangiarselo crudo, e lui: “Certo tesoro, da noi si usa così”. Si vedeva subito che erano all'estero.

E un anno prima era morta Tanečka, si era spenta nel giro di due mesi. Slavik era venuto, aveva pagato tutto, l'aveva invitato ad andare con lui in quella *Zelanda* del diavolo, ma Andreič si era rifiutato, ovviamente. – Figliolo, per me è più facile andare nella tomba che laggiù – sì, così gli aveva detto. Slavik si era limitato a scuotere la testa. Aveva comprato chissà perché un computer al vecchio, e se n'era ritornato indietro. Recentemente gli aveva augurato *heppi bordei*. Anche noi qui sappiamo 'ste cose, mica veniamo dalla luna. *Vasia Ivanov is e jang pionir. Landon is de kepitol of Greit Britan*. Certo, almeno mandava soldi. Gli aveva detto: – Impara a usare lo scalpo e tieni lo smog.

– Sei diventato proprio insolente, figliolo – gli aveva detto allora Andreič. – A casa le avresti prese, a offendere così tuo padre.

– Va bene, te lo insegno io quando vengo – aveva detto Slavik.

– Lo scalpo so farlo da solo e da chiunque vuoi, non c'è bisogno che me lo insegni tu.

– Не блох, папа а бло–гы, слышишь? Бло–гы. Слово такое.
– Знаю слова, чай не тупой, – рассердился Андреич и трубку повесил.

А потом заплакал, растеряннo и как–то по–детски.

Моросил дождь, на чуть просевшей, но вполне ухоженной могиле лежали зеленые с желтизной листья и рябиновые ягоды, с фотографии улыбалась красивая, совсем не старая Танечка (это Андреич самую любимую свою фотографию выбрал), пронырливый кладбищенский запах лез в ноздри, словно хотел сказать – и до тебя, Андреич, доберусь, будь спокоен.

Он зачем–то взял один, самый желтый листок и разорвал на кусочки.

– Старый я стал, слышь, жена, – сказал Танечке Андреич. – Даже разговариваю по–стариковски: «коли», «чай». Раньше был бухгалтером, так литературным языком изъяснялся: «дебет», «кредит», а теперь соответствовать стараюсь. А зачем? Все равно скоро замолчу и приду к тебе рядышком лежать.

И тут вдруг охватила Андреича такая тоска, такая злость. Разве он пожил? Пока время вертелось, он только глазами хлопал. Ну нет! Погодите, сволочи. Париж еще узнает д`Артаньяна.

– Танька, бывай! – закричал Андреич и поскакал оттуда.

Откуда только силы взялись – непонятно. Но скачет, как козел. Видит – кладбищенский сторож пальцем у виска крутит. Андреич прискакал к нему и говорит:

– Что, гражданин–товарищ, крутите пальцем? Думаете, старый я?

– Да нет, – говорит сторож. – Что Вы. Вы еще молодой. Только скакать тут не нужно, место тихое. У себя дома будете скакать.

E di smog, a Mosca, ne abbiamo tanto che non si riesce a respirare. Posso dartene un po', se in Zelanda c'è deficit.

– Non smog papà, ma blog. Ci senti? B-l-o-g. È una parola così.

– Conosco i vocaboli, non sono mica stupido – si era stizzito Andreiĉ e aveva riagganciato la cornetta.

Poi era scoppiato a piangere, smarrito, quasi fosse un bambino.

Piovigginava, sulla tomba un po' avvallata ma ben curata c'erano foglie verde-giallastre e bacche di sorbo, dalla fotografia (Andreiĉ aveva scelto la sua preferita) Tanečka, bella e nient'affatto vecchia, sorrideva; il sottile odore del cimitero penetrava nelle narici, come a voler dire: "Stai tranquillo che un giorno ti becco pure a te, Andreiĉ".

Lui, chissà perché, aveva preso una foglia, la più gialla, e l'aveva fatta a pezzettini.

– Mi senti, moglie mia... Sono diventato vecchio – aveva detto Andreiĉ a Tanečka. – Parlo anche come un vecchietto: "qualora", "forse che". Prima, quando ero ragioniere, parlavo la lingua standard: "debito", "credito", ma adesso mi sforzo di stare al passo. E perché? In fin dei conti, presto la smetterò di parlare e verrò a coricarmi accanto a te.

Ed ecco che all'improvviso Andreiĉ era stato preso da una tale nostalgia, da una tale collera. Davvero aveva vissuto? Mentre il tempo scorreva, lui non aveva fatto altro che sbattere le palpebre. Eh no! Ora ve la faccio vedere io, canaglie! Parigi vedrà chi è D'Artagnan!

– Ciao Tan'ka! – aveva gridato Andreiĉ, ed era schizzato via.

Da dove avesse preso le forze, non si sa. Eppure, eccolo saltellare come una capretta. Vede che il guardiano del cimitero fa roteare un dito sulla tempia. Andreiĉ gli si precipita incontro e dice:

Андреич размахнулся, ка-ак даст ему затрещину.

– Ты еще скажи, я блог вести не умею! Сторожишь, так сторожи, не зарывайся!
И прыг – в автобус.

Такого старик сам от себя не ожидал. В молодости Андреич скромным был, а тут аж рука заболела. Он даже перестал себя чувствовать Андреичем и стал как раньше – Олег Андреевич.

Пришел домой и к соседке постучал. Клава открыла и не сразу даже поняла, кто перед ним.

– Андреич, ну ты даешь! – говорит. – Прямо свеженький сегодня. Я в глазок посмотрела – подумала, что это ко мне Бельмондо пришел.

– Молодею вот, – расцвел Олег Андреевич. – Внучка-то твоя дома?

– Любка-то? Сидит вон, в Варкрафт играет.

– Зови ее. Пусть меня тырнетом пользоваться научит, и как блог вести.

Варкрафты, заграницы... Совсем молодежь обожралась. То ли дело раньше – никаких тебе тырнетов и одна программа «Время» на все три канала. А чтобы закордон выехать, так это надо на комиссию идти – «к старым бэ», как тогда говорили, то есть, к старым большевикам. Они еще подумают, хорош ли ты, кроликов по заграницам жрать. А если нехорош, так в психушку отправят, а не в Зеландию.

Впрочем, что-то я разбрюзжался совсем, сам на себя рассердился Олег Андреевич. Любка меж тем уже стояла перед ним и лениво перегоняла во рту жвачку.

Долго думал Олег Андреевич над первым постом. Главные слова искал. Его ж весь мир читать будет, неловко как-то родную страну позорить.

– Che avete da far roteare quel dito, compagno-cittadino? Pensate che io sia vecchio?
– No no, – risponde il guardiano. – Che dice? Lei è ancora giovane. È solo che non si salta qui, questo è un luogo tranquillo. Salti a casa sua.

Andreič aveva alzato la mano e gli aveva mollato uno schiaffo.

– Prova a dire che non so tenere un blog! Se devi far la guardia, falla, ma non andare in cerca di guai!

E con un salto, eccolo sull'autobus.

Nemmeno il vecchio si aspettava da se stesso una cosa del genere. In gioventù Andreič era stato un tipo discreto, ma adesso gli faceva addirittura male la mano da quanto forte gli aveva dato lo schiaffo. Non si sentiva neanche più Andreič, ma Oleg Andreevič – come prima.

Arrivato a casa, aveva bussato alla vicina. Klava aveva aperto, ma non aveva capito subito chi le stava davanti.

– Andreič, ma pensa un po'! – aveva detto. – Ma sei un fiore oggi! Quando ho guardato nello spioncino, ho pensato che mi era venuto a trovare Belmondo.

– Eh sì, ringiovanisco – si era illuminato Oleg Andreevič. – È in casa tua nipote?

– Ljubka? È là seduta che gioca a Warcraft.

– Chiamala, così mi insegna a navigare e a tenere un blog.

Warcraft, estero... La gioventù ormai si era proprio abbuffata. Ai miei tempi, niente internet e un solo programma, “il tempo”, su tutti i tre canali. E per superare la cortina, bisognava sottoporsi al comitato, andare “dai vecchi B”, come si diceva allora, dai vecchi bolscevichi. Poi stava a loro giudicare se eri buono a mangiare conigli all'estero. E se non andavi bene, allora ti mandavano al manicomio, mica in Zelanda.

Ecco, mi sono messo a brontolare, se l'era presa con se stesso Oleg Andreevič. Ljubka

Любка сказала, надо писать, как в дневник, а сроду Олег Андреевич не вел дневников, что он, девчонка? Но Любка его успокоила, сказала, что в Жеже полно таких старичков, только они на юзерпик вешают не свою древнюю рожу, а Диму Билана например, и все нормально. Или можно вообще никого не вешать, а сделать просто скажем темный фон со свечкой, загадочней чтоб. Олег Андреевич не понял, что это – Жеже, но решил, если там Диму Билана подвешивают, то должно быть, место крутое. Сам он никого вешать не собирался, тем более втёмную и со свечкой. Жестоко это и не по-людски.

В итоге первый пост получился таким:

«Странный у меня выдался день. С утра болела печень, а потом и голова, потому что Ванька-то, что справа, включил свою дурацкую музыку, такую заунывную, что похороны Брежнева вспомнились.»

– Дядь Олег, не так надо писать, – прочитала пост Любка. – Напишите – музыка у Ваньки – ацтой. А то засмеют.

«Ванька-то, что справа, включил музыку, такую заунывную, что хоть ацтой, хоть падай. Решил футбол посмотреть, ЦСКА – Марсель, так не понял даже, кто там наши, а кто не наши, везде негры одни. Погода стала получше, настоящая пушкинская осень – тепло, и без комаров. Славик, небось нет в Зеландии такой осени? Возвращайся, сынок, по грибы сходим, на рыбалку, выпьем по-нашему!»

Опять заслезились глаза, Андреич вытер их и Любку прогнал, чтобы не смотрела, как мужчины плачут.

«А теперь я хочу самое главное сказать. Пусть вся страна знает. Уважаемый президент Медведев, премьер-министр Путин и мэр Москвы Юрий Лужков! Я

intanto stava già in piedi davanti a lui, e rigirava pigramente in bocca una gomma. Oleg Andreevič aveva pensato a lungo al primo *post*. Cercava parole importanti. Tutto il mondo lo avrebbe letto, mica si può disonorare il Paese natale.

Ljubka aveva detto che bisognava scrivere come in un diario, ma Oleg Andreevič non aveva mai tenuto diari in vita sua: era forse una ragazzina, lui? Ma Ljubka l'aveva rassicurato, gli aveva detto che su *ŽeŽé* (*Live Journal*) era pieno di vecchietti così, solo che come immagine non "caricavano" il loro vecchio muso, ma Dima Bilan, per esempio, e tutto filava liscio. Oppure si poteva "caricare" non una persona, ma semplicemente uno sfondo scuro con una candela, per fare enigma. Oleg Andreevič non aveva capito cos'era questo *ŽeŽé*, ma aveva deciso che se lì si "caricava" Dima Bilan, doveva essere un posto fortissimo. Lui però non aveva intenzione di andare alla carica di nessuno, tanto meno al buio e con una candela. Gli sembrava crudele e disumano.

Alla fine il primo *post* era venuto fuori così:

"Ho avuto una giornata strana. Fin dal mattino mi faceva male il fegato, e poi pure la testa, perché quel Van'ka, che sta nell'appartamento a destra, ha acceso la sua stupida musica, ed era così malinconica che faceva pensare ai funerali di Brežnev".

– Zio Oleg, non è così che si scrive. – Ljubka aveva letto il *post*. – Scriva che la musica di Van'ka è una *palla*. Sennò la prenderanno in giro.

"Van'ka, che sta a destra, ha acceso la musica, ed era così malinconica che era peggio che giocare da soli a palla. Allora ho deciso di guardare la partita di calcio, ZSKA Mosca-Marsiglia e non sono neanche riuscito a capire chi erano i nostri e chi gli altri, da entrambe le parti tutti negri. Il tempo è migliorato, un vero autunno *puškiniano*, mite e senza zanzare. Slavik, davvero in Zelanda non avete un autunno così? Ritorna, figliolo, che ce ne andiamo per funghi, a pescare, e beviamo come sappiamo fare noi!".

всю жизнь боялся, а теперь больше не боюсь. Все равно старый, скоро помру. Посмотрите, что вы со страной сделали. Особенно с Москвой. Думаете, народ не видит, как вы воруете? Я ж бухгалтер по профессии. А сколько еще таких как я? Пусть вам стыдно будет. А я все сказал.»

Написал это Олег Андреевич и стал читать *френд-ленту*. Любка на-френдилась ему по своему вкусу. В одной из первых записей была призывная картинка – политическая акция, День гнева, Россия без Путина, место и время такое-то.

Олег Андреевич подумал, что на митинги не ходил лет тридцать. Там наверное теперь по-другому все. А чего бы и не потряхнуть стариной! И написал *камент*.

«Дорогой френд, или, как у нас говорят, друг. Я к вам приду помогать в борьбе! Без меня не митингуйте. Олег Андреевич Лопатин, пенсионер».

Оделся Олег Андреевич парадно, купил букет гвоздик и пошел митинговать. А с собою клюшку славкину взял, чтобы от ментов отбиваться.

На площади стояло человек триста людей, окруженных милицией. Люди что-то кричали, но Андреич не мог толком разобрать, что именно, поэтому просто открывал рот в такт, как на уроках музыки в школе. К нему подошла одетая как снегурочка старушка и дала держать табличку с надписью «Долой ментовскую власть!».

Тут же защелкали фотоаппараты. Один журналист пытался через спины ментов что-то спросить у Олега Андреевича, так что ему пришлось подойти поближе.

– Что Вас побуждает участвовать в подобных акциях? – спросил журналист.

Di nuovo gli erano venute le lacrime agli occhi, Andreiĉ se li era asciugati e aveva cacciato Ljubka, perché non vedesse come piangono gli uomini.

“E adesso voglio dire la cosa più importante. Che lo sappia pure tutto il Paese. Egregio Presidente Medvedev, Primo Ministro Putin e Sindaco di Mosca Jurij Lužkov! Ho avuto paura tutta la vita, ma adesso non ne ho più. Tanto sono vecchio, e presto morirò. Guardate cosa avete fatto al nostro Paese, a Mosca soprattutto. Cosa pensate, che il popolo non veda che voi rubate? Io di professione sono ragioniere. Quanti ce ne sono ancora come me? Vergognatevi. Ho detto tutto”.

Dopo aver scritto questo, Oleg Andreeviĉ si era messo a leggere la sua *friendlist*. Ljubka l'aveva *friendato* a suo piacimento. In uno dei primi *post* c'era un invito: azione politica, Giorno dell'ira, Russia senza Putin, ora e luogo tal dei tali.

Oleg Andreeviĉ pensò che erano trent'anni che non andava a un *meeting*. Adesso sarà stata tutta un'altra cosa. Ma perché non scrollarsi di dosso la vecchiaia! E scrisse un *comment*: *“Caro friend, o come si dice da noi, amico. Verrò ad aiutarvi nella lotta! Non mitingate senza di me. Oleg Andreeviĉ Lopatin, pensionato”.*

Oleg Andreeviĉ si era vestito a festa, aveva comprato un mazzo di garofani ed era andato al *meeting*. Aveva preso con sé il bastone di Slavik, per difendersi dagli sbirri.

Sulla piazza ci saranno state trecento persone, circondate dalla polizia.

La gente gridava qualcosa, ma Andreiĉ non riusciva a capire esattamente cosa, quindi non faceva altro che aprire la bocca a tempo, come alle lezioni di musica a scuola. Gli si era avvicinata una vecchietta vestita da Biancaneve e gli aveva dato da tenere un cartello con la scritta “Abbasso il potere poliziesco!”.

Subito erano scattati i flash. Un giornalista cercava di chiedere qualcosa a Oleg Andreeviĉ da dietro le schiene degli sbirri, e riuscì ad avvicinarsi.

– В акциях я больше не участвую, – сказал Олег Андреевич. – Все мои акции еще в 90-х годах Мавроди украл.

– Что же Вы тут делаете, – не понял журналист.

– Вы мой блог прочитайте и узнаете. Я там все написал.

– А что Вы за юзер?

– Я не Юзер и вообще не еврей. Хотя против евреев ничего не имею. Олег Андреевич Лопатин я. Борюсь с ментовской властью. Так и запишите.

Один мент насупился и говорит:

– Ты, старый козел, борись, да смотри insult не заработай. А то у нас с такими разговор короткий.

Олег Андреевич клюшку достал и хотел мента тукнуть промеж глаз, да не тут-то было.

Со всех сторон на него накнулись, клюшку отняли и потащили к автозаку. Тут же его начали фотографировать человек пятнадцать (аж в глазах зарябило), а толпа взывала с новой силой, но ничего разобрать все равно было нельзя.

Вместе с ним в автозак покидали каких-то молодых оболтусов и тетеньку с дергающимся лицом.

Минут тридцать ехали до отделения. Молодые люди смотрели на Олега Андреевича уважительно, а тетка, оказавшаяся правозащитницей, даже угостила пыльным пирожком с капустой.

– Хорошо я мента клюшкой-то? – спросил тетку Олег Андреевич.

– Ах, так это ты! – закричала тетка. – Провокатор хренов! Из-за тебя все тут и сидим. Отдавай пирожок обратно!

– Che cosa la induce a partecipare ad azioni di questo genere? – aveva chiesto il giornalista.

– Non partecipo più a nessuna azione – disse Oleg Andreevič. – Tutte le mie azioni le ha rubate Mavrodi ancora negli anni Novanta.

– Cosa ci fa lei qui? – il giornalista non aveva capito.

– Si legga il mio blog e lo scoprirà. Lì c'è scritto tutto.

– Allora lei è un *user*?

– Non sono User, anzi non sono proprio ebreo. Anche se contro gli ebrei non ho nulla. Sono Oleg Andreevič Lopatin. Combatto contro il potere poliziesco. Scriva questo. Uno sbirro si era accigliato e aveva detto:

– Combatti pure, vecchio becco, ma cerca di non farti venire un colpo, che la nostra conversazione dura poco...

Oleg Andreevič aveva preso il bastone per darglielo in mezzo agli occhi allo sbirro, e invece niente. Gli si erano gettati addosso da ogni parte, gli avevano tolto il bastone e lo avevano trascinato nel cellulare della polizia. Subito una quindicina di persone si erano messe a fotografarlo (l'avevano accecato) e la folla si era messa a urlare con rinnovata forza, ma non si riusciva a capire nulla comunque.

Insieme a lui, nel cellulare avevano gettato alcuni giovani cretini e una tizia dal volto contratto.

Ci volle una mezzora per arrivare alla stazione di polizia. I giovani guardavano Oleg Andreevič con rispetto e la tizia, che era risultata essere una militante per i diritti umani, gli aveva addirittura offerto un *pirožok* al tavolo.

– Che bel colpo gli ho dato a quello sbirro, vero? – aveva chiesto Oleg Andreevič alla tizia.

Но Олег Андреевич уже съел пирожок и показал тетке кукиш. А лица у всех вокруг стали злые – ужас один. «Ну попал», – подумал Олег Андреевич. Хорошо хоть приехали быстро.

Отделение тоже оказалось «под завязку». Кучерявый сержант посмотрел на старика так, будто ему страуса привели.

– Эээ нет, дед. Давай-ка дуй домой. У нас тут молодым дорога, да и местов нет.

Олегу Андреевичу, который только было настроился вкусить криминальной романтики, стало как-то немного обидно. Даже в родной милиции ему уже не рады, вот ведь как. «Напьюсь», – решил Олег Андреевич.

На улице было уже темно. Отойдя от отделения метров двести, Олег Андреевич увидел группу молодежи, которая что-то оживленно обсуждала рядом с переливающимся огнями зданием. «Где лучшие тусовки – у нас в клубе» – услужливо промелькнуло в голове у Олега Андреевича. Гулять так гулять! Подошел к молодежи, смотрит – а там Любка, тетя Клавы внучка. Стоит вся расфуфыренная, сзади вырез до попы.

– Любка, нешто ты, – сказал Олег Андреевич. – Красивая какая!

Молодые на него сурово посмотрели, видно решили, что деньги кланчить будет, но Люба узнала.

– Эй чуваки, это Олег Андреич, сосед мой! Здорово, Олег Андреич!

– Приветики, – неожиданно для себя сказал Олег Андреевич. – Хороший сегодня вечер.

– А что это Вы тут делаете, Олег Андреич?

– Ah, allora sei stato tu! – si era messa a gridare lei. – Provocatore del cavolo! È colpa tua se siamo tutti qui. Ridammi il *pirožok*!

Ma Oleg Andreevič se l'era già mangiato, e alla signora aveva mostrato la lingua. Tutti i volti intorno si erano fatti cattivi, uno vero spavento. “Sono fritto” aveva pensato Oleg Andreevič.

Per fortuna erano arrivati velocemente.

La stazione di polizia era anch'essa affollata “all'orlo”. Un sergente riccioluto aveva guardato il vecchio come se gli avessero portato uno struzzo.

– Eh no, nonnetto. Dai, fila a casa. Qui il nostro motto è “Avanti i giovani, alla riscossa!”. E comunque non c'è posto.

Oleg Andreevič, che si era predisposto ad assaggiare il romanticismo criminale, se l'era un po' presa. Neanche alla sua polizia lo volevano più, ma tu guarda. “Allora mi sbronzo” aveva deciso Oleg Andreevič.

In strada era già buio. Un duecento metri dopo la stazione, Oleg Andreevič aveva visto un gruppo di giovani che discuteva vivacemente accanto alle luci iridescenti dell'edificio.

– Dov'è la festa? È qui la festa? – a Oleg Andreevič era balenato prontamente alla memoria. Crepi l'avarizia! Si era avvicinato ai giovani e aveva visto che c'era Ljubka, la nipotina della zia Klava. Se ne stava lì, tutta in tiro, con una scollatura dietro fino al sedere.

– Ljubka, sei proprio tu – aveva detto Oleg Andreevič. – Come sei bella!

I giovani lo avevano guardato con severità, evidentemente pensando che avrebbe chiesto soldi, ma Ljubka l'aveva riconosciuto.

– Ehi ragazzi, questo è Oleg Andreič, il mio vicino. Salve Oleg Andreič!

– Cia' – aveva detto Oleg Andreevič con sua stessa sorpresa – Bella serata oggi.

– Ну что ты, Олег Андреич да Олег Андреич. Для тебя я просто Олег.

– Ой, ну как-то даже неудобно Вас так называть, – заулыбалась Люба. – Вы же старенький уже.

– Не такой уж и старенький. Блог веду? Веду. А сегодня с ментами дрался.

– Вау! – удивилась Любка. – Правда что-ли?

– Да. Дай думаю, вздую мента. И вздул. Так что ты не смотри на возраст. Я любому молодому фору могу дать. Видишь мускулы какие? Мне тебя тридцать километров пронести – раз плюнуть.

Люба мускулы пощупала и одобрила. А парни вокруг нее мрачно молчали и прятали глаза. Никто с крутым стариканом связываться не хотел. А Олег Андреевич на самом деле почувствовал, что он больше не Олег Андреевич, а просто Олег Лопатин. Он порылся в кармане, достал одну помятую гвоздичку и вручил Любе. А она вся засмушалась и спрашивает:

– А Вы кем в молодости были?

– Разведчиком, – соврал Олег.

– Да ну? Как Путин?

– Лучше. Путин у фашистов пиво потягивал, пока я в Новой Зеландии с врагами народа боролся. Это тебе не вшивая Германия. Крутой народ эти зelandцы: кроликов заживо едят. Но это между нами. Я, Люба, только тебе довериться могу. А вы, парни, если кому сболтнете, так вас контрразведка уберет.

– Ой, клево! – сказала Люба.

– А что ты тут стоишь? На танцы пришла?– спросил Олег.

Пока они разговаривали, очередь двигалась и теперь они оказались у самой

- Ma cosa fa lei qui, Oleg Andreič?
- Basta con questo “Oleg Andreič”. Per te sono semplicemente Oleg.
- Oh, ma mi mette un po’ a disagio chiamarla così – aveva sorriso Ljubka. – È vecchiotto lei...
- Non sono poi così vecchio. Ho un blog? Sì, ce l’ho. E poi oggi mi sono azzuffato con gli sbirri.
- Wow! – si era meravigliata Ljubka. – Ma davvero?
- Sì. Ho pensato di suonargliele un po’ a uno sbirro. E gliele ho suonate. Quindi non guardare all’età. Posso battere qualunque giovane. Vedi che muscoli ho? Per me portarti in braccio per trenta chilometri è un giochetto.
- Ljubka aveva tastato i muscoli e approvato. Ma i ragazzi intorno a lei tacevano cupi e tenevano gli occhi bassi. Nessuno voleva legare con quel tosto matusa. Oleg Andreevič, invece, sentiva di non essere neanche più Oleg Andreevič, ma semplicemente Oleg Lopatin. Aveva frugato in una tasca, aveva tirato fuori un garofano sgualcito e lo aveva consegnato a Ljubka. Lei si era tutta confusa e aveva chiesto:
- Ma cosa faceva lei da giovane?
- L’agente segreto – mentì Oleg.
- Ma va? Come Putin?
- Meglio. Putin beveva birra dai fascisti, mentre io combattevo i nemici del popolo in Nuova Zelanda. Non è mica come la pidocchiosa Germania, gli zelandesi sono un popolo forte: mangiano conigli vivi. Ma che rimanga tra noi. Io, Ljubka, posso fidarmi solo di te. E voi, ragazzi, se spifferate qualcosa il controspionaggio vi fa sparire.
- Oh, figo! – aveva detto Ljubka.
- Ma che fai qui? Sei venuta a ballare? – aveva chiesto Oleg.

двери клуба. Возле нее стоял лысый толстяк в костюме и смотрел на Олега без особого энтузиазма.

– Это клуб молодежный, – зашептала Люба. – Тут танцуют, и мужской стриптиз еще. Но Вас сюда все равно не пустят.

– Ну и ладно, – шепнул Олег в ответ. – Пошли со мной. У меня магнитофон дома есть, на крышу заберемся – будет намного лучше. Я тебя танго танцевать научу. И за стриптизом дело не постоит.

– Не могу, Олег Андреич, я тут с компашкой.

Повернулась вырезом и внутрь зашла. А толстяк палец указательный перед лицом Олега выставил и машет. Олег хотел было его за палец укусить, но слишком расстроился. Постоял минут пять, повернулся и пошел себе тихо-нечко.

Вдруг Любка выбегает – и к нему. Расстроенная какая-то, и тушь потекла – наверное, с хахалем поругалась, подумал Олег.

– А ну их – тут все равно одни геи. Будто я в этом клубе не видала чего. Лучше с вами сегодня позажигая. Да и вообще: на крыше танго с разведчиком танцевать – такое раз в жизни бывает.

– Ну раз – не раз, – ответил Олег. – Теперь-то ты можешь со мной хоть каждый день.... Я не против.

На руки Любу подхватил и тащит. Долго не пронес, конечно. Пришлось такси ловить. «Черт с ним», – подумал Олег. «Хоть славкины деньги с толком потрачу. Все равно на том свете не пригодятся.»

Люба за недолгое время, проведенное в клубе, успела, однако, порядком

Mentre loro chiacchieravano, la fila si era mossa e adesso si trovavano proprio alla porta del club. Accanto a essa stava un grassone pelato tutto ben vestito, che guardava Oleg senza particolare entusiasmo.

– È un club per giovani – aveva sussurrato Ljubka. – Qui si balla e c'è anche lo striptease maschile. Ma a lei, comunque, non la faranno entrare.

– Be' pazienza – aveva sussurrato Oleg in risposta. – Vieni con me, a casa ho un registratore, saliamo sul tetto, è molto più bello. Ti insegno a ballare il tango. E anche per lo striptease provvediamo.

– Non posso Oleg Andreič, sono qua con la mia compagnia.

Si era voltata e, mostrando la scollatura, era entrata. Il grassone, invece, aveva piazzato l'indice davanti alla faccia di Oleg e faceva segno di no. Oleg avrebbe voluto morderglielo quel dito, ma era troppo dispiaciuto. Era rimasto lì in piedi ancora cinque minuti, poi si era voltato e si era avviato pian piano verso casa.

All'improvviso Ljubka era corsa fuori e gli era andata incontro. Era turbata, e il mascara le colava giù. Oleg aveva pensato che avesse litigato col suo ragazzo.

– Che vadano al diavolo, tanto son tutti gay là dentro. Come se non sapessi cosa c'è in quel club. Meglio spassarsela con lei oggi. E poi, insomma, ballare il tango con un agente segreto su un tetto è una cosa che capita una sola volta nella vita.

– Be', una sola volta... – aveva risposto Oleg. – Con me potresti anche tutti i giorni... Io non avrei nulla in contrario.

Poi, sollevata Ljubka, la portò in braccio. Non a lungo, ovviamente. Avevano dovuto prendere un taxi. “Ma sì, al diavolo” pensava Oleg “Almeno li spendo bene i soldi di Slava. Tanto all'altro mondo non mi serviranno”.

поднабраться. В такси она заснула у Олега на плече, так уютно устроившись, что ему вспомнилось, как он Славика на руках качал, чтобы Таньке дать поспать немного.

Потом шампанского купили, а когда в квартиру за магнитофоном зашли, телефон заверещал.

– Папа? – сказал Славик, и Олег по его голосу понял, что сын названивал ему всю ночь. – Папа, ты что творишь? Ты себя не бережешь совсем. Зачем ты на митинг этот поперся? По всему Жеже тебя теперь обсуждают. Ну не стыдно дурью маяться на старости лет?

– Как ты с отцом говоришь, гаденыш? – взбесился Олег. – Когда это мы с Танькой такого буржуя вырастили, ума не приложу! Уехал в свою *Зеландию*, так молчи. Ты вообще не представляешь, что тут происходит со страной. Вот поживешь с мое, тогда и будешь учить. Эмигрант хренов.

Трубку повесил, пошел на кухню и водки полстакана – хлоп.

А Люба между тем компьютер включила и давай кричать:

– Вау, дядя Олег! Просто аффигеть! Глядите сюда.

Олег метнулся к Любе, а та пальчиком наманикюренным в компьютер тыкает и хохочет во все горло. На фотографии в экране Олег увидел себя – как его менты скрутили и в автозак тащат. Ни дать, ни взять – жертва кровавого режима.

– Ты звезда теперь, дядя Олег! – в голосе Любки слышалось восхищение, – Смотри каментов сколько! Ой, даже все не прочитать!

– Ну так пошли со звездой на крышу! – решил воспользоваться моментом Олег.

Ljubka, nonostante nel club avesse trascorso pochissimo tempo, era riuscita a sbronzarsi per bene. Nel taxi si era addormentata sulla spalla di Oleg, così accoccolata che a Oleg era venuto in mente quando cullava Slavik, perché Tan'ka potesse dormire un po'.

Avevano comprato lo champagne e, quando erano passati da casa a prendere il registratore, il telefono si era messo a stridere.

– Papà? – disse Slavik, e Oleg dalla sua voce capì che il figlio aveva provato a chiamarlo tutta la notte. – Papà, cosa stai combinando? Tu proprio non ti fai mancare nulla. Perché sei andato a quel *meeting*? Ora parlano tutti di te su *ŽeŽé*. Non ti vergogni a sfiancarti per dei capricci alla tua età?

– Come parli a tuo padre, piccola canaglia? – Oleg era andato su tutte le furie. – Proprio non capisco com'è che io e Tan'ka abbiamo tirato su un piccolo borghese! Te ne sei andato nella tua *Zelanda*, perciò stai zitto. Tu non hai idea di quel che sta succedendo in questo paese. Vivi quanto me, e poi potrai dare lezioni. Emigrante del cavolo.

Aveva riagganciato la cornetta, era andato in cucina e, zac, si era scolato mezzo bicchiere di vodka.

Intanto Ljubka aveva acceso il computer e gridava:

– Wow, zio Oleg! Che fikata! Venga a vedere!

Oleg si era precipitato da Ljubka, che puntava il dito tutto manicure sul computer e rideva a squarciagola. Nella foto sullo schermo si vedeva Oleg mentre gli sbirri lo immobilizzavano e lo trascinavano nel cellulare. Una vera vittima di un regime sanguinario.

– Ora sei una stella, zio Oleg! – nella voce di Ljubka si percepiva la sua ammirazione.

– Guarda quanti *comment*! Non si riesce nemmeno a leggerli tutti!

– Dai, allora vieni con la stella sul tetto! – Oleg aveva deciso di cogliere il momento.

– Andiamo!

– А пошли!

Там Олег включил музон, и давай танцевать с Любкой! За талию ее схватил, три шага вперед, поворот головы, три шага назад. Потом через колено наклонит и держит, как скрипку. Ну просто кино.

Запыхались и решили шампанское из горла попить. Олег после водки и так был навеселе, а тут еще пузырьки в голову ударили. Решил он Любку в губы поцеловать. Все-таки в молодости Олег не успел особенно побегать по бабам, все больше дебаты с кредитами считал. Так хоть перед смертью надо побезобразничать. Но Люба его порыву почему-то не обрадовалась.

– Не стоит, – говорит, – нам целоваться, дядя Олег. Это внесет *диссонанс* в наши отношения.

– Какой там еще ...нанс, – убеждал Олег, – Ты это брось. Я же матерый бух..., то есть разведчик! Я это дело лучше могу, чем в вашем ночном клубе. Хочешь мужской стриптиз покажу?

Поставил Олег группу «Комбинация» – «Бухгалтер, милый мой бухгалтер» и начал отплясывать. Забыл уже, что со стороны как засушенная черепашка выглядит. Люба хохочет, чуть животики не надорвала, а ему хоть бы что. Рубашку скинул и за брюки принялся, но ширинка заела.

Люба тут внимательнее на него посмотрела и говорит:

– Вы, Олег Андреич, лучше оденьтесь. В Вашем возрасте это неприлично. И вообще Вам плохо стать может. Давайте я Вас домой отведу. Поздно уже, вдруг у Вас давление подскочит.

И подошла, чтоб ему помочь одеться. А Олег ничего не понял и начал ее лапать.

Là Oleg aveva acceso la musica, e via a ballare con Ljubka! L'aveva presa per la vita, tre passi avanti, cambio di fronte, tre passi indietro. Poi le aveva fatto fare il *casqué* sul ginocchio, e la teneva, come fosse un violino. Roba da film.

Quando erano rimasti senza fiato, avevano bevuto lo champagne dalla bottiglia. Oleg dopo la vodka era già bello allegro, ma ora anche le bollicine gli davano alla testa. Aveva deciso di baciare Ljubka sulle labbra. Del resto, in gioventù, Oleg non aveva fatto in tempo a correre davvero dietro alle gonnelle, se ne stava sempre a contare debiti e crediti. Quindi almeno prima di morire bisognava dare un po' scandalo. Ma Ljubka, per qualche ragione, non era stata contenta del suo slancio.

– Non è il caso che ci baciamo, zio Oleg – disse. – Introdurrebbe una *dissonans* nella nostra relazione.

– Lascia stare la *disso*-cosa... – l'aveva rassicurata Oleg, – io sono un navigato ra..., ehm... un agente segreto! Io queste cose le so fare meglio che al vostro night club. Vuoi che ti mostri uno striptease maschile?

Oleg aveva messo su la musica del gruppo “Kombinacija”, “Ragioniere, mio caro ragioniere” e si era messo a ballare. Aveva dimenticato che, visto di lato, sembrava una tartaruga essiccata. Ljubka rideva, quasi si sbellicava, ma lui niente. Si era tolto la camicia e stava cominciando con i pantaloni, ma la patta si era inceppata.

Ljubka allora lo guardò meglio e disse:

– Oleg Andreič, meglio che si rivesta. È sconveniente alla sua età tutto questo. E poi potrebbe sentirsi male. Su, facciamo che la accompagno a casa. È già tardi, e se poi le si alza la pressione?

Si era avvicinata, per aiutarlo a vestirsi. Ma Oleg non aveva capito niente e si era messo a palparla.

– Охренел, пердун ты старый? – кричит Любка. – Думаешь, если как Путин был, так можно все?

И как даст каблуком в пах!

Сознание ненадолго покинуло Олега, а очнулся он уже в одиночестве. И был он больше не Олегом и даже не Олегом Андреевичем, а просто Андреичем, старым–престарым старичком. От дневной беготни все у него болело – и ноги, и помятые ментами ребра, и голова тоже – от похмелья. К тому же на крыше он замерз, как цуцик.

«Ну все», – подумал Андреич. «Учудил я сегодня. Блог завел, с ментами подрался, на крыше с молодухой потанцевал. Чего еще на старости лет надо. Не хочу я ждать, пока от тоски помру. Жизнь кончена.»

– Ладно, Танька, – сказал он в темноту. – Набаловался и хватит. Скоро свидимся!

Подошел старик к самому краю крыши, зажмурился и шагнул вниз. Он думал, сейчас вся жизнь перед глазами промелькнет, но ничего промелькнуть не успело, потому что пролетев пару метров Андреич наткнулся на дерево, да так в ветвях и застрял, только руки–ноги оцарапал, да шишку на лбу набил.

«Господи, боже мой, да что за говно!» – подумалось Андреичу. «Видать, рано мне на тот свет. Перебыюсь как–нибудь, хоть к сыну в гости съезжу. Посмотрю, как ему там живется.»

И съездил, между прочим.

– Ma sei fuori, vecchio rimbambito? – gridò Ljubka. – Cosa credi, che siccome eri come Putin allora ti è permesso tutto?

E gli mollò un bel calcio nell'inguine!

Per un po' Oleg perse conoscenza e quando si svegliò era già da solo. Non era più Oleg, né Oleg Andreevič, ma solo Andreič, un vecchio e stravecchio vegliardo. Gli faceva male tutto, dopo il corri corri di quella giornata: le gambe, le costole ammaccate dagli sbirri, e anche la testa – per la sbornia. E poi, sul tetto si era congelato come un cucciolo.

“Beh, basta” pensò Andreič. “Oggi ne ho combinate di tutti i colori. Ho tenuto un blog, mi sono azzuffato con gli sbirri, ho ballato con una giovinetta sul tetto. Cos'altro può volere un vecchio. Non voglio aspettare di morire di malinconia. La vita è finita.”

– Va bene Tan'ka – disse nel buio. – Ho fatto il birbante, ora basta. Ci vediamo presto!

Il vecchio si era avvicinato proprio al margine del tetto, aveva chiuso gli occhi e aveva fatto un passo in giù. Pensava che ora tutta la vita gli sarebbe passata davanti agli occhi, ma nulla aveva fatto in tempo a scorrere perché, dopo essere precipitato un paio di metri, Andreič si era imbattuto in un albero e si era incastrato nei rami, facendosi solo qualche graffio su gambe e braccia, e procurandosi un bernoccolo sulla testa.

“O mio Dio, ma che merda!” aveva pensato Andreič.

“Si vede che per me è presto per andare all'altro mondo. Aspetterò ancora in qualche modo, magari me ne andrò a trovare mio figlio, a vedere come se la passa.”

E, tra le altre cose, ci andò davvero.

Биография

Алёна Чурбанова родилась в 1984 году в г. Арзамас, Горьковской области. Окончила Нижегородский государственный технический университет по специальности “Связи с общественностью”. Работает в ЗАО «Русская телефонная компания», редактор сайта «Увлечения». Увлекается артхаусным кино, литературой, театром, путешествиями.

Biografia

Alëna Čurbanova è nata nel 1984 ad Arzamas, regione di Gor'kij. Si è laureata in Relazioni pubbliche all'Università Tecnica di Nižnij Novgorod. Lavora come impiegata alla Compagnia Telefonica Russa ed è l'editor del sito "Uvlečenija". È appassionata di cinema d'autore, letteratura, teatro, viaggi.

Отзыв о рассказе

Существует известная притча о том, как некий правитель угнетал и грабил свой народ.

- Что делает мой народ? – спрашивал он у своих советников.
- Плачет, – отвечали советники, и он продолжал грабить.
- Что делают люди?
- Вопят и раздирают на себе одежды.

И он приказывал отнимать их имущество.

Но однажды советники сказали, что люди больше не плачут – они смеются.

И тогда правитель перестал грабить – он понял, что это конец, больше нельзя.

Рассказ Алены Чурбановой *Бухгалтер, милый мой бухгалтер* как раз об этом.

О том, что произошло с нашей страной, с нашими стариками.

Это веселый, горький, побеждающий рассказ о силе духа, стойкости маленького человека, встающего с колен. Это очень дорого стоящее внимание молодого автора к тем людям, о ком молодежь, как правило, задумывается нечасто. Это встреча поколений, культур, языков, преодоление разрыва, скрепа, которая так всем нам нужна.

Алексей Варламов

Nota critica

È nota la parabola di quel governante che opprimeva e derubava il suo popolo.

– Che cosa fa il mio popolo? – domandava ai suoi consiglieri.

– Piange – gli rispondevano i consiglieri, e lui continuava a rubare.

– Che cosa fa la gente?

– Piange e si strappa i vestiti.

E lui faceva togliere loro tutto ciò che avevano.

Un giorno però i consiglieri gli dissero che la gente non piangeva più, ma stava ridendo.

E allora il governante smise di derubare la gente: aveva capito che era arrivata la fine, che non avrebbe più potuto continuare come prima.

Il racconto di Alëna Ćurbanova *Ragioniere, mio caro ragioniere* parla proprio di questo.

Di ciò che è successo al nostro Paese, ai nostri vecchi.

È un racconto allegro, amaro e avvincente, che parla della forza dello spirito, della resistenza di un piccolo uomo che prima stava in ginocchio e che ora si rialza. Esprime la preziosa attenzione che la giovane autrice rivolge a persone delle quali le nuove leve, di solito, non si curano. È un incontro tra generazioni, culture e linguaggi, il superamento di una divisione, il punto di unione di cui noi tutti abbiamo bisogno.

Aleksej Varlamov

Сергей Шаргунов

Перевод Линды Торрезин

Sergej Šargunov

Traduzione in italiano di Linda Torresin

БАБУШКА И ЖУРФАК

В семнадцать лет я стал международником на журфаке МГУ – закрытый орден, куда брали только парней и только москвичей.

В том же 97-м к нам из Екатеринбурга от дяди Гены перебралась моя древняя бабушка Анна Алексеевна. Она проживет у нас до своей смерти.

Бабушка рассказывала мне про деревню среди вятской тайги. Мой прадед, Алексей Акимович, рыбак, любитель соленого, крупной солью, как инеем, покрывал все, что ел. В Первую Мировую он был пленен, но в конце концов из Германии вернулся в родную избу к жене, прабабке моей, Лукерье Феофилактовне. В глубокой старости, когда отнялись ноги, он горше всего переживал невозможность рыбачить – и со слезами полз к реке. Бабушка рассказывала о колдовстве, порче, зависти и ревности, о любви и дружбе, о скотине, земле, и прежнем вине:

– Выпью глоток, и хватало. Веселая, без ума пляшу! Дружно жили, собирались по вечерам, пели. Мужиков поубивало – сами впряжемся и идем по полю, тянем... Сила кончится, сядем на траву, одна завоюет, другая подхватит. Глядь: и хор готов, поем вместе – все бабоньки...

Она говорила, что дед мой, Иван Иванович, офицер и коммунист, тайно чтит Бога.

– Ночью ляжем, скажет: «Праздник сегодня, нельзя», и отвернется... А как на войну уходил, я ему молитву зашила – Живый в помощи...

Бабушка имела два класса образования, но страстно писала письма родне.

LA NONNA E LA FACOLTÀ DI GIORNALISMO

A diciassette anni m'iscrissi al corso di laurea in Giornalismo Internazionale presso la Facoltà di Giornalismo dell'Università Statale di Mosca. Si trattava di un ordine esclusivo cui venivano ammessi solo ragazzi rigorosamente moscoviti.

In quello stesso anno, il 1997, si trasferì a casa nostra la mia nonna Anna Alekseevna, parecchio anziana, che abitava a Ekaterinburg con lo zio Genja. Sarebbe vissuta da noi fino alla fine dei suoi giorni.

La nonna mi raccontava di un villaggio nel cuore della taiga della regione di Vjatka. Il mio bisnonno Aleksej Akimovič, pescatore e amante del salato, condivideva tutto quello che mangiava con sale grosso come brina. Durante la Prima Guerra Mondiale era stato fatto prigioniero in Germania, ma alla fine era tornato alla sua cara *izba* dalla moglie, la mia bisnonna Luker'ja Feofilaktovna. Ormai in là con gli anni, quando rimase paralizzato soffriva più di ogni altra cosa per l'impossibilità di andare a pesca, e si trascinava in lacrime fino al fiume. La nonna parlava di magia, malocchio, invidia e gelosia, di amore e amicizia, del bestiame, della terra e del vino di una volta:

– Un sorso, eccome se mi bastava: ballavo allegra come una matta! Vivevamo in buona armonia, di sera ci riunivamo, cantavamo. Gli uomini erano finiti? Noi donne ci attaccavamo all'aratro e andavamo per i campi, si tirava... Poi, quando non avevamo più forza, ci sedevamo sull'erba, una cantava e un'altra intonava. In un baleno il coro era pronto, tutte noi si cantava assieme...

Diceva che mio nonno Ivan Ivanovič, ufficiale e comunista, in segreto venerava Dio.

– Certe notti andavamo a dormire e lui diceva: "Oggi è festa, non si può", e si girava...

Она не выпускала ручку, пока не закончит письмо. С ошибками, по-своему понятыми словами, однако зажигательным слогом изводила несколько страниц за полчаса.

Вначале, только приехав, она спросила:

- Сереженька, а ты кем учишься-то?
- На журфаке.
- На жука?

Старинное трехэтажное здание Московского Университета напоминало мне огромный парник. Мы учились под стеклянным куполом.

На журфаке было немало модников и модниц в огромных бутсах, бесформенных штанах с десятком карманов, очками без диоптрий и оранжевыми волосами. Многие подъезжали на роскошных машинах. Визг тормозов и шипение колес слышались поутру.

Были свои задроты, обычно скромные и некрасивые, всегда с книжками – они держались вместе.

Были отморозки. Все время они болтались во дворе, у памятника Ломоносову, где дули шмаль и сражались в «сокс»: траурный плотный кусок ткани летал от ноги к ноге.

Смешно, что здесь, как некогда в советской школе, где все повязали красные галстуки, я оказался одинок. Под этим стеклянным куполом в моей группе, на моей кафедре, на всем курсе все были одинаковых настроений: ликовали навстречу времени.

Тут, в старинном доме напротив Кремля, все было трижды окей.

Quando partì per la guerra, gli cucii addosso la preghiera *Tu che abiti al riparo dell'Altissimo...*

La nonna aveva terminato la seconda elementare, ma scrivere lettere ai parenti era per lei una vera passione. Non si separava dalla penna finché non aveva ultimato la lettera che stava componendo. Esauriva in mezz'ora un paio di pagine, con tanto di errori e di parole che interpretava a modo suo, servendosi tuttavia di uno stile ardente.

All'inizio, appena arrivata, mi chiese:

- Serëžen'ka, ma tu che cosa studi?
- Giornalismo.
- Giardinismo?

L'antico edificio a tre piani dell'Università di Mosca mi ricordava un'enorme serra. Studiavamo sotto una cupola di vetro.

Alla Facoltà di Giornalismo c'erano parecchi modaioli e modaiole con enormi scarpe da calcio, pantaloni informi dotati di decine di tasche, occhiali senza diottrie e capelli arancioni. Molti arrivavano su macchine di lusso. Al mattino si sentivano lo stridere dei freni e il sibilo delle ruote.

Avevamo anche i nostri secchioni – in genere tipi modesti e brutti, perennemente con qualche libro in mano. Stavano sempre assieme.

Avevamo degli imbecilli. Gironzolavano continuamente in cortile, accanto al monumento di Lomonosov, dove fumavano la marijuana e si sfidavano ad *Hacky Sack*: il lugubre pezzo di tessuto compatto volava da una gamba all'altra.

È buffo che qui, come in precedenza nella scuola sovietica, dove tutti si mettevano le cravatte rosse, mi ritrovai da solo. Sotto la cupola di vetro tutti gli studenti del mio

И это общее «ОК» рифмовалось со словом «одинок».

Как-то мы сидели с одноклассниками в курилке под названием «Санта Барбара». (Так она называлась, потому что вход сюда, арочный, напоминал о первых кадрах сериала).

– Слышали тему: Кислый пробашлял, ему по френчу автоматом ставят, – не без зависти рассказывал вечно возбужденный Толян.

Кеша, юноша с пепельным лицом и бледной кривой усмешкой, сплюнул окурок на пол.

– Что вы делаете! – подскочила уборщица.

Проворная, сухая, с самого утра до поздней тьмы в серой хламиде она сновала по журфаку, и воевала с грязью. На трех учебных этажах справлялась одна.

– Что же вы творите! – Она потянулась за окурком. – Как вам не стыдно мусорить! Есть же, куда бросать!

Кеша наступил на окурок, и ее пальцы наткнулись на радужный нос «Гриндерса».

– Ты чего? – она подняла глаза.

Кеша достал новую сигарету:

– Возьмите целую! Угощаю!

Старуха боролась с ботинком, двигала в разные стороны, но поднять не могла, нога Кеши крепко прижала окурок.

– Понравился ты ей, – пихнул товарища в бок Петька, самый юный из нас, светленький малый в кожаном пиджаке.

gruppo, del mio corso, del mio anno, avevano un unico stato d'animo: correvano esultanti incontro al tempo.

Qui, in quell'antica casa di fronte al Cremlino, tutto era mille volte ok.

E questo "Okay" collettivo faceva rima con la solitudine della parola "Sergej".

Un giorno sedevo con i miei compagni di gruppo nella stanza per fumatori *Santa Barbara*. (Si chiamava così perché l'ingresso ad arco ricordava le prime sequenze dell'omonimo telefilm.)

– Abbiamo sentito che Kislyj ha perso, gli han tirato un colpo in testa – raccontava non senza invidia l'eternamente eccitato Toljan.

Keša, un giovanotto dal viso cinereo con un pallido ghigno storto, sputò il mozzicone sul pavimento.

– Cosa fa! – trasalì la donna delle pulizie.

Lesta e asciutta, dal mattino presto fino a tarda notte costei girava per la Facoltà di Giornalismo nella sua palandrana grigia, e combatteva contro la sporcizia. Da sola teneva sotto controllo i tre piani universitari.

– Cosa combina! – La donna si protese verso il mozzicone. – Non si vergogna a sporcare? Ma se c'è il cestino!

Keša calpestò il mozzicone, e le dita di lei urtarono contro la punta iridata della "Grinders".

– Che significa? – la donna delle pulizie alzò gli occhi.

Keša estrasse un'altra sigaretta:

– Ne prenda una intera! Si serva!

Per quanto la vecchia lottasse con la scarpa, spostandola in varie direzioni, non riusciva

– Да задолбала, – Кеша перестал ухмыляться. – Может тебе зенку подлечить?
– И он замахал перед старухой горящей сигаретой.

Сигарета носилась туда-обратно и делала мертвые петли, как самолет на военном аттракционе.

Уборщица разогнулась. Бормоча что-то возмущенное и неясное, словно на чужом наречии, она скрылась в туалете, откуда вернулась с ведром, и принялась оттирать тряпкой дверь туалета. На двери розовела надпись «тужур фак!» – некий остроумник смешал французский с английским.

Каюсь, я не вмешался во всю эту историю. К стыду своему я онемел.

Все встали.

Уборщица, не поворачивая головы, тщетно стирала надпись. Мутная вода текла по двери туалета.

Вечером я рассказал все бабушке.

– Да дал бы ему как следует! Внучек, ты больше руку ему не жми. Не друг он тебе, а скотина.

Я послушался бабушку напрямую: хотя все еще общался с Кешей, ходил с ним в курилку, перекидывался фразами, но каждый раз избегал рукопожатия.

А ведь на журфаке не было полных негодяев. Здесь все были вполне милы и склонны к добру. Но всех сближал инфантилизм. Инфантил может быть бесподобно гадок и при этом подчас необыкновенно тонок. Тот же Кеша – сын видного хирурга – на занятии по античной литературе, обернувшись, шикал: «Чего ржете, дебилы?», и внимал с благоговением, казавшимся мне,

però in alcun modo a sollevarla: il piede di Keša teneva schiacciato con forza il mozzicone.
– Le sei piaciuto – urtò il compagno al fianco Pet’ka, il più giovane fra noi, un biondino che indossava una giacca di pelle.

– M’ha stufato. – Keša smise di sogghignare. – Che ne dici di curarti gli occhi? – E cominciò a dimenare davanti alla vecchia la sigaretta fumante.

Questa sfrecciava avanti e indietro, e compiva i giri della morte come l’aereo di una giostra.

La donna delle pulizie si raddrizzò. Borbottando parole indignate e incomprensibili, quasi stesse parlando in una lingua straniera, si nascose in bagno, per poi uscirne munita di secchio e mettersi a strofinare con uno straccio la porta. Su di essa si intravedeva la scritta rosa *Toujours Fuck!*: uno spiritosone aveva confuso il francese con l’inglese.

Confesso di non essermi immischiato in tutta questa storia. Con mia grande vergogna ammutolii.

Ci alzammo tutti.

La donna delle pulizie cercava invano di cancellare la scritta senza girare la testa. L’acqua torbida gocciolava lungo la porta del bagno.

Quella sera raccontai tutto alla nonna.

– Ma potevi suonargliele come si conviene! Nipote mio, non devi dargli più la mano. Altro che amico tuo. È una bestia, quello là!

Io diedi retta alla nonna per filo e per segno: benché continuassi a frequentare Keša, ad andare con lui nella stanza per fumatori e a scambiarci qualche frase, evitavo ogni volta di stringergli la mano.

Eppure nella Facoltà di Giornalismo non c’erano mascalzoni puri. Qui erano tutti as-

даже пошлым. Он превосходно играл на рояле, наученный этому сызмальства, и рассказывал о попугае, которого возил по клиникам, спасти не мог, и закопал в саду.

Вечерами бабушка рассказывала о жизни. Первый муж поколачивал, свекровь заставляла торговать на станции яблоками, потом на той станции встретился случайно брат, и увез обратно в деревню к отцу и матери, а там как раз молодой сосед Иван Иванович, с детства знакомый, овдовел: его жена выпила вместе с водой из ручья конский волос, и умерла в мучениях. После гибели Ивана Ивановича на фронте бабушка осталась одна с тремя детьми, двумя мальчиками и девочкой. Попахала с бабами в поле, похоронила отца-рыбака, и повезла себя, детей да свою мать в уральский городок Еткуль, к родным, где устроилась кастеляншей при гостинице.

На войне у Анны Алексеевны погибли все четыре брата, и у мужа ее Ивана Ивановича все четыре, он – пятый.

– Была бы я грамоте научена, большой начальницей была бы! Всех детей в люди вывела. Сыны мои – Генка, лесник главный по Уралу, отец твой – в Москве батюшка... Любят их люди! И меня пуще ихнего любили бы!

– А кем бы ты была?

– Я? А хоть писать могла бы эти... стихи. Слушай-ка! «Грустно мне, Сережка, / смерть одну хочу, / я ее, как с ложки, / сразу проглочу...»

– Любимая моя бабушка! Ты еще молодая!

– Молодая, – ядовито подсмеиваясь, она крутила головой. – Чо мелешь-то? У нее ходили желваки под желтой кожей, серые глаза смотрели испытующе, коричневый гребень держал седые волосы.

solutamente affabili e propensi al bene. Ma erano accomunati dall'infantilismo. Una persona infantile può essere incomparabilmente schifosa e insieme straordinariamente fine, a volte. Lo stesso Keša – figlio di un noto chirurgo – durante la lezione di letteratura classica, girandosi, ci zittiva: “Che avete da ridere, dementi?”, e ascoltava con una devozione che a me pareva persino volgare. Suonava egregiamente il pianoforte, che aveva studiato fin da bambino, ed era solito raccontare del suo pappagallo: pur avendolo portato in varie cliniche, non era riuscito a salvarlo e l'aveva sotterrato in giardino.

Alla sera la nonna raccontava la sua vita. Il primo marito la picchiava, la suocera la costringeva a vendere mele alla stazione; poi in quella stessa stazione l'aveva trovata per caso il fratello, e l'aveva ricondotta al villaggio dal padre e dalla madre, e là appunto il giovane vicino Ivan Ivanovič, che lei conosceva fin dall'infanzia, era rimasto vedovo: sua moglie aveva bevuto assieme all'acqua del ruscello un crine di cavallo ed era morta fra mille tormenti. Dopo la morte di Ivan Ivanovič al fronte, la nonna era rimasta da sola con tre bambini – due maschietti e una femminuccia. Aveva lavorato con le altre donne nei campi, aveva seppellito il padre pescatore e si era trasferita con i figli e la madre dai parenti a Etkul', una cittadina degli Urali, dove era stata assunta in un albergo come addetta alla biancheria. In guerra ad Anna Alekseevna erano morti tutti e quattro i fratelli, e anche a suo marito Ivan Ivanovič. Lui era il quinto figlio.

– Se studiavo, che gran direttore diventavo! Ho aiutato tutti i miei bambini a farsi una posizione. Guarda i miei figli: Genka è guardia forestale capo degli Urali, il padre tuo è pope a Mosca... La gente li ama! E me mi amerebbero più di loro!

– E chi saresti stata?

– Io? Se solo sapevo scrivere come si chiama... i versi. Senti qua! “Triste son, Serěžka mio, / la morte sola cercherò, / col cucchiaino io / subito la mangerò...”

Я излагал ей все, что было за день. Она была моим прибежищем, лесная, загадочная, и пускай отвечала малословно и совсем просто, я черпал силы, чтобы завтра снова войти под стеклянный купол.

– Они народ не любят, – сказал я ей.

– А народ их, – хехекнула.

– Наркотики принимают.

– Маркотики, это слыхала я, говорили... А ты чо?

– Нет, я никогда.

– А то будешь *ниший* дурак.

Слово нищий она произносила через «ш».

Однажды я принес домой газету со стихами, где в половину полосы была моя фотография.

– Ты чо ль? – изумилась бабушка. – Нагнись: чаво шепну...

Я послушно склонился.

– Будет у тебе ребенок, его в газету не сувай, обожди. Тока после пяти можно. Маленькие–то они от порчи не береженные.

После первой пятерки во время зимней сессии бабушка насильно всучила мне купюру из своей пенсии – деньги она хранила в тумбочке рядом с кроватью, завязанные в белом большом платке.

Она с такой мольбой вдавливала мне в руку эту бумажку, что я не мог отказать.

Еще я читал вслух заданное: древнерусскую литературу, античную, рассказы на английском.

Слушала в прострации. Хотя древнерусской летописи с Кием, Щеком, Хори–

– Cara la mia nonna! Sei ancora giovane!
 – Giovane – volgeva la testa con aria malignamente canzonatoria. – Che t’inventi?
 Le si contraevano sotto la pelle gialla i muscoli degli zigomi. Gli occhi grigi lanciavano uno sguardo inquisitore. Un pettinino marrone tratteneva i suoi capelli canuti.
 Io le riassumevo tutto ciò che era accaduto nel corso della giornata.
 Lei, quell’enigmatica fata del bosco, era il mio rifugio, e sebbene rispondesse con poche e semplicissime parole, da lei io attingevo la forza per addentrarmi di nuovo il giorno dopo sotto la cupola di vetro.
 – Non amano il popolo – le dissi.
 – E il popolo non ama loro – ridacchiò.
 – Assumono droghe.
 – Troghe, l’ho sentito dire... E tu?
 – No, mai.
 – Sennò sei un *povaro* sciocco.
 Pronunciava la parola “povero” mettendo la “a” al posto della “e”.
 Una volta portai a casa un giornale con delle poesie. A metà pagina c’era la mia fotografia.
 – Sei tu? – si stupì la nonna. – Abbassati, ché ti dico una cosa...
 Io mi chinai docilmente.
 – Quando avrai un bambino, non lo mettere nel giornale, aspetta un po’. Solo dopo i cinque si può fare. I piccoli non son protetti dal malocchio.
 Dopo il primo trenta durante la sessione invernale, la nonna mi rifilò a forza una banconota della sua pensione. Conservava il denaro nel comodino vicino al letto, avvolto in un grande scialle bianco.

вом и сестрой их Лыбидью внимала оживленно, повернувшись ухом и часто моргая, как будто это был кусок прожитой лично ею и хорошо знакомой жизни.

Когда чтение кончалось, она садилась на кровати: ногами в шерстяных носках на ощупь влезала в тапки, и брала молитвослов, толстую книжку, всю заляпанную пятнами от лекарств и еды. Она поглощала молитвы, непрерывно двигая желваками.

– Хоть бы смертушка пришла, – сказала как-то вновь.

Ничего не ответив, я пошел разогреть ужин (родители отсутствовали), и вдруг раздался грохот и звон. Вбежал в комнату.

– Чо это? Чо это? – капризно спрашивала бабушка.

Возле ее ног лежала упавшая люстра, тапки были засыпаны мелкими осколками.

С тех пор всякий раз, когда бабушка призывала смерть, я задорно перебивал и возражал. «А то промолчу – и впрямь помрет», – думал тревожно.

Вскоре после случая в курилке «Санта Барбара» я стал свидетелем продолжения.

Все произошло на начальных ступенях внутри факультета, при входе, где как обычно было людно.

Мы сидели с ребятами, и лакали пиво.

Вдруг возникла та самая уборщица. Показала пальцем:

– Он!

На нас ринулась фигура в камуфляже: охранник журфака.

Tentava di cacciarmi in mano quel pezzo di carta con tali suppliche che non potei rifiutare.

Leggevo ad alta voce gli appunti di letteratura antico-russa e classica, e i racconti in inglese.

Lei seguiva in uno stato di prostrazione. E ciononostante porgeva ascolto con vivacità alle cronache antico-russe di Kij, Šček, Choriv e della loro sorella Lybid', tendendo l'orecchio e ammiccando spesso, come se si trattasse di un pezzo di vita familiare, da lei vissuta personalmente.

Al termine della lettura si metteva a letto: infilava a tentoni nelle pantofole i piedi coperti dai calzini di lana e prendeva il libro delle preghiere, un librone tutto imbrattato da macchie di cibo e medicine. Divorava le preghiere, muovendo incessantemente i muscoli degli zigomi.

– Se solo viene la morte – disse di nuovo un giorno.

Io non risposi nulla e andai a riscaldare la cena (i miei genitori non c'erano). All'improvviso si udì un gran fracasso e un tintinnio. Mi precipitai nella stanza.

– Che è? Che è? – chiedeva capricciosamente la nonna.

Accanto ai suoi piedi giaceva il lampadario caduto. Le pantofole le si erano riempite di frammenti minuti.

Da allora, ogni volta che la nonna invocava la morte, io la interrompevo e ribattevo con foga. “Se taccio muore per davvero” pensavo inquieto.

Poco dopo l'episodio della stanza per fumatori *Santa Barbara*, fui testimone del seguito. Tutto avvenne sui primi gradini all'interno della Facoltà, presso l'entrata, dove, come al solito, c'era molta gente.

– В чем дело? – Кеша успел отставить бутылку.
– Врежь ему, Никитич! – закричала старуха. – Это он самый!
Мужик, схватив за ухо, дернул парня. Студенты смотрели, галдя между собой, никто не шелохнулся. Только мы, несколько одноклассников и уборщица, выскочили следом на улицу.
Мужик, отпустив ухо, тряс Кешу сзади за светло-сиреневый свитер:
– Больно, говоришь, падашь? Ты чего рабочему человеку грубишь?
– Да не буду я... – слабо пропел Кеша.
– Н-н-на! – резиновый сапог отвесил пинка, и студент отлетел с каменного крыльца вниз, в кусты, на землю.
– Мало? – мужик крутанулся к нам.
От него пахло луком.
Через месяц при мне на том же крыльце он добродушно просвещал профессора русской литературы Татаринову:
– Лук свой! На подоконнике сажаю... Мне цветы не нужны, их не съешь...
Она ахала и кокетливо поправляла шляпку.
Он всегда был в одном и том же: камуфляжные штаны и куртка, под курткой черная майка, на ногах резиновые сапоги.
С той поры уборщицу не задевали и начали побаиваться.
Но вот на охранника обратили злое внимание. Кеша и несколько его дружков стали исподтишка над ним издеваться. Проходя мимо столика, как бы невзначай роняли окурки. Отдельные смельчаки подкрадывались сзади, и под стул плескали кока-колой. Они покрикивали: «Фу, нассал!», «Не бей меня! Охраняй меня!», «Контуженный!».

Me ne stavo seduto con i ragazzi. Sbevazzavamo birra.

All'improvviso spuntò quella stessa donna delle pulizie e additò:

– È lui!

Si avventò su di noi una figura in tenuta mimetica: era l'agente di sicurezza della Facoltà di Giornalismo.

– Qual è il problema? – Keša fece in tempo a spostare la bottiglia.

– Battilo, Nikitič! – si mise a gridare la vecchia. – È proprio lui!

L'uomo trascinò via il ragazzo afferrandolo per un orecchio. Gli studenti stavano a guardare schiamazzando tra loro, ma nessuno si mosse. Soltanto noi, alcuni studenti del nostro stesso gruppo e la donna delle pulizie, ci gettammo dietro ai due sulla strada.

L'uomo, lasciategli l'orecchio, stratonò Keša da dietro, afferrandolo il maglione lilla chiaro:

– Fa male, eh, carogna? Perché maltratti una persona che lavora?

– Non lo farò più... – cantilenò debolmente Keša.

– T-t-to'! – lo stivale di gomma gli assestò un calcio, e lo studente volò giù dal terrazzino di pietra fra i cespugli, finendo a terra.

– Ancora? – l'uomo si girò verso di noi.

Puzzava di cipolla.

Un mese dopo, con me presente, in quello stesso terrazzino diede bonariamente una lezione di civiltà alla professoressa di Letteratura russa Tatarinova:

– Ho le cipolle a casa! Le pianto sul davanzale... I fiori non mi servono, mica si mangiano...

Lei sospirava un po', e con fare civettuolo si aggiustava il cappellino.

Lui indossava sempre gli stessi abiti: pantaloni mimetici e giacca, canottiera nera sotto la giacca, stivali di gomma ai piedi.

А мужик сидел часами в своем камуфляже за старым советским столом.

– Чего шумите? – поднимался непонимающий и сжимал кулаки.

У него была привычка: несколько раз в день вставать у дверей и яростно проверять студенческие билеты.

– Где фотография? – тормознул он третьекурсника, похожего на верблюжонка, журналиста популярной газеты.

– Отклеилась.

– Не пущу.

– Вот редакционная корка.

– Ничего не знаю. Отклеилась у него...

– А, может, у вас усы отклеились? – предположил журналист.

– Это еще почему?

– А может вы Гитлер?

После пятиминутного препирательства студент все же вошел, но теперь, минув охранника, каждый раз ронял своим насмешливо-глухим голосом:

– Привет, Адольф!

И деловито спешил дальше.

Мы много говорили с бабушкой о войне.

– Вот беда – всех братьев перевела. Мужа увела. Это все он – гадина. Надо ж было такому родиться! Сколько его народу проклиняет!

– Кого, баб?

– Адольфа.

– А ты его видела?

Da allora non offesero più la donna delle pulizie e cominciarono ad averne soggezione. Ma ecco che venne preso di mira l'agente di sicurezza. Keša e qualche suo amichetto si misero a schernirlo di soppiatto. Passando accanto al tavolino, lasciavano cadere i mozziconi come per caso. Singoli audaci si avvicinavano furtivamente da dietro, e spruzzavano la coca-cola sotto alla sedia. Di tanto in tanto gridavano: "Ha pisciato!", "Non picchiarmi! Difendimi!", "Contuso!".

E l'uomo se ne stava seduto per ore nella sua tenuta mimetica dietro al vecchio tavolo sovietico.

– Che avete da far rumore? – si sollevava perplesso stringendo i pugni.

Aveva l'abitudine di collocarsi in prossimità delle porte, e di controllare con veemenza i tesserini universitari più volte al giorno.

– Dov'è la fotografia? – fermò uno studente del terzo anno somigliante a un cammello, che faceva il corrispondente per un giornale popolare.

– Si è staccata.

– Non la faccio passare.

– Ecco il diploma di laurea.

– Non ne so niente. Si è staccata, a lui...

– Ma a lei, forse, si sono staccati i baffi? – suppose il giornalista.

– E perché, poi?

– Ma lei è forse Hitler?

Dopo una discussione durata cinque minuti, lo studente riuscì comunque a entrare; ma ora, evitando l'agente di sicurezza, buttava lì ogni volta con la sua voce sorda e canzonatoria:

– Ciao, Adolf!

– Нужон он мне...

Повинуясь непонятному порыву, я принес к ней в комнату историческую книжку с Гитлером среди прочих.

Она взяла книгу, внимательно глядя, и вдруг желтым ногтем стала карябать по фотографии, отдирая бумажные клочки.

– Баб, ты что?

– Убивец, будь проклят. Мужа моего убил.

Пуля попала Ивану прямо в сердце.

По воспоминанию однополчанина, он шел в атаку, прикрепив на груди, поверх шинели, фотографию маленького сына, моего отца. Пуля пробила фотографию.

Отец мой, трехлетний, в это время играл в избе, на полу. Неожиданно зарыдал и закричал:

– Папку убили! Папку убили!

Был бит, вырывался, кричал:

– Но я же не виноват, я не виноват, что папку убили!

Зимой бабушка упала в коридоре. Я поднял ее, легкую, опустил на кровать. Родители вызвали скорую. Я сидел возле лежащей, держал за руку, остро клевался старый пульс, бабушка тонко подвывала, а я молчал, и все надеялся, что это не перелом. Приехала скорая, врачиха решила: скорее всего перелом. Надо нести бабушку осторожно, на стуле. Медленно и бережно я сажал бабушку на стул. Закутал: в шубейку, в белый шерстяной платок, тишайше (и все равно она простонала) натянул валенки.

E si allontanava in fretta, con vigore.

La nonna e io parlavamo molto della guerra.

– Che guaio: tutti i fratelli m’ha sterminato. M’ha portato via il marito. Tutta colpa sua, della canaglia. Doveva proprio nascere uno così! Quanti lo maledicono!

– Chi, nonna?

– Adolf.

– Ma tu l’hai visto?

– A che mi serve?

Obbedendo a un impeto incomprensibile, le portai in camera un libro di storia che presentava, fra le altre, l’immagine di Hitler.

Lei prese il libro osservandolo attentamente, e all’improvviso con l’unghia gialla si mise a graffiare la fotografia, strappando dei pezzetti di carta.

– Nonna, cosa fai?

– Carnefice, sii maledetto. Il marito *mio* m’hai ucciso.

La pallottola aveva colpito Ivan dritto al cuore.

Un commilitone ricordava nitidamente come stesse andando all’attacco dopo aver fissato al petto, sopra il cappotto, la fotografia del figlioletto, mio padre. La pallottola l’aveva perforata.

In quel momento mio padre, che aveva tre anni, stava giocando sul pavimento dell’*izba*.

Tutto d’un tratto aveva cominciato a singhiozzare e a gridare:

– Hanno ucciso papà! Hanno ucciso papà!

Mentre lo picchiavano, lui si divincolava e gridava:

– Ma non è colpa mia, non è colpa mia se hanno ucciso papà!

Примотал ее к стулу рубашками и рейтузами. Вместе с парнем из неотложки – понесли. В комнате осталась стоять в углу с виноватым видом черная клюка.
– Не трясите, родненькие, – плакала бесслезно Анна Алексеевна.
Загрузили в лифт.
Поехали. На одном из этажей вошла соседка, девка неопределенного возраста.
Увидела бабушку, хмыкнула, перевела на меня кокетливо-солидарный взгляд.
Ее глаза иронично округлились, словно говоря: «Ох, уж эти стариканы».
«Дура», – зыркнул я, и отвернулся.
Бабушка, ни на ком не задерживаясь, водила дико глазами.
Мы поехали ночной Москвой, огни лизали бабушкино скуластое лицо, ходили желваки ненасытно и странно.
После больницы, где сделали снимок (перелом шейки бедра), я отвез бабушку на дачу. Там она стала передвигаться, опираясь на железные ходунки, и прожила еще несколько лет.
Космическая ночь заливает мне сердце, когда я думаю про смерть твою, бабушка.
Анна Алексеевна умерла в возрасте девяносто двух лет после Нового года, не дождавшись Рождества. Ела праздничную еду, выпила вина («Больно сладкое!»). В еде бабушка, как первобытный человек, была оригинальна, сочетая несочетаемое: курицу закусывала шоколадной конфетой, баклажанную икру – бананом, селедку – печеньем.
Накануне вечером из логова постели крепко двумя руками жала мне руку.

Durante l'inverno la nonna cadde in corridoio. Io la sollevai (era leggera) e la deposi sul letto. I miei genitori chiamarono l'ambulanza. Sedevo accanto alla nonna e la tenevo per mano. Il vecchio polso batteva forte, la nonna emetteva lamenti sottili e io tacevo, e continuavo a sperare che non si trattasse di una frattura.

Arrivò l'ambulanza, e la dottoressa dichiarò che molto probabilmente si trattava di una frattura. Bisognava trasportare la nonna sulla sedia facendo attenzione. Lentamente, con premura, l'aiutai a sedervi. L'avvolsi nella pelliccia e nello scialle di lana bianco, poi con estrema calma (lei tuttavia gemette) le infilai i *valenki*.

La legai alla sedia con camicie e calzoni. La trasportai assieme a un soccorritore dell'ambulanza. Nella stanza rimase ritto in un angolo un bastone nero dall'aria colpevole.

– Non mi dondolate, cari miei. – Anna Alekseevna piangeva senza versare lacrime.

La caricammo in ascensore.

Partimmo. All'altezza di un altro piano entrò una ragazza – una vicina – dall'età indefinita.

Vide la nonna, sbottò in un “uhm” e mi lanciò uno sguardo a metà tra il civettuolo e il solidale.

I suoi occhi si arrotondarono in modo ironico, come se dicessero: “Ah, questi vecchioti!”.

“Stupida” le gettai un'occhiata e mi girai.

La nonna si guardava attorno terrorizzata, senza soffermarsi su nessuno.

Attraversammo la Mosca notturna. Le luci sfioravano il viso della nonna dagli zigomi sporgenti. Si muovevano i muscoli degli zigomi, insaziabili e strani.

Dopo l'ospedale, dove le fecero una radiografia (frattura del femore), portai la nonna in *dača*. Lì cominciò a camminare appoggiandosi a un girello di ferro, e visse ancora qualche anno.

Точно бы прощалась. «Ты придвинь стулья. А то ночью разметаюсь, себя не помню. До свидания, до свидания, мой товарищ дорогой!» – и трясла мне руку.

Ночью у бабушки случился инсульт. Прележала после два дня без сознания и ее не стало. Я поцеловал щеку, холодную, серый глаз отражал зимнее окно, раму, похожую на крест, неопратно утепленный ватой и пластырем. Бабушка похоронена в селе Могильцы в Подмоскowie недалеко от дома, где умерла. Через неделю после похорон, вываливая помойное ведро в контейнер в конце своей улицы на даче, я вдруг с ужасом увидел несколько тряпок, похожих на бабушкину одежду. «Это обычное дело, – сказал я себе. – Человек умирает, и какие-то его вещи выбрасывают». Но тотчас я увидел гребень. Коричневый, служивший бабушке столько лет, ставший для меня родным и загадочным, он лежал среди отбросов. На пронизывающем ветру зимы колыхались, жили, роптали седые волосы между зубьев гребня. Бабушкины. Я выхватил гребень из помойки, торопливо поцеловал.

Летом 2002-го после нашего проигрыша Японии толпа болельщиков взбунтовалась на Манежной площади. Бешеные дети окраин крушили и уродовали все вокруг: били витрины, переворачивали и жгли машины. А в это время во дворе журфака (в воскресный летний день он был закрыт) тусовалась группа студентов. Они играли в сокс и ржали. Они не обращали внимания на внешний мир – гул, грохот и дым, долетавшие с Манежки. И только, когда за забором начало бурлить (пробежал милиционер в растерзанной рубашке, за ним ватага голых по пояс дикарей) журфаковцы прекратили игру. В одну

La notte cosmica m'inonda il cuore quando penso alla tua morte, nonna.

Anna Alekseevna morì all'età di novantadue anni dopo Capodanno, senza attendere Natale. Aveva mangiato il cibo delle feste e bevuto il vino ("È troppo dolce!"). Per quanto riguarda il cibo, la nonna palesava l'originalità di un uomo preistorico perché abbinava l'inabbinabile: mangiava un cioccolatino dopo il pollo, una banana dopo la crema di melanzane, i biscotti dopo l'aringa.

La sera del giorno prima mi aveva stretto forte la mano dal letto con entrambe le sue. Era come se si stesse congedando. "Avvicina le sedie. Se no la notte m'allargo, perdo la testa. Arrivederci, arrivederci, mio caro compagno!", e mi stringeva la mano.

Quella notte la nonna fu colta da un ictus. Poi perse coscienza per due giorni, e venne a mancare. Io baciai quella guancia fredda. L'occhio grigio rifletteva la finestra invernale e la controfinestra simile a una croce, sciattamente foderata di ovatta e cerotti. La nonna è sepolta nel villaggio di Mogil'cy, nella regione di Mosca, non lontano dalla casa dove è morta.

Una settimana dopo il funerale, vuotando la pattumiera nel cassonetto collocato alla fine della mia strada in *dača*, improvvisamente notai con orrore degli stracci che assomigliavano all'abito della nonna. "È una cosa comune" mi dissi. "Quando una persona muore, buttano via le sue cose." Ma a quel punto vidi il pettinino. Il pettinino marrone che aveva servito la nonna per tanti anni, ed era divenuto per me caro ed enigmatico, giaceva in mezzo ai rifiuti. Al soffio penetrante del vento invernale fluttuavano, vivevano, mormoravano i capelli canuti fra i denti del pettinino. Il pettinino della nonna. Estrassi il pettinino dal cassonetto e lo baciai frettolosamente.

Nell'estate del 2002, dopo la nostra sconfitta contro il Giappone, una folla di tifosi scatenò dei disordini nella Piazza del Maneggio. I figli rabbiosi delle periferie distrug-

минуту улицу заполнила толпа. Впереди нее перекачивался автомобиль. Журфаковцы галопом, как стадо косуль, бросились к дверям. Колотились, терзали звонок. Никто не открывал. Тем временем, что и следовало ожидать, несколько болельщиков ринулись за ворота с железными палками наперевес... Они подскочили к машинам и стали бить по бамперам и стеклам. Студенты и не думали защищать свое добро.

Громыхнула щеколда.

Хмурый, на пороге стоял мужик в камуфляже.

– Чего надо-то? – зевнул: пахнуло луком и тяжким сном.

– Свои! – закричал Кеша.

– Да что, я тебя не знаю разве? – охранник посторонился, впуская.

И захлопнул дверь.

В этот день было изувечено штук семь припаркованных тачек.

Тем же летом я получил диплом.

gevano e rovinavano tutto quello che trovavano: rompevano le vetrine, rovesciavano e bruciavano le macchine. Nello stesso momento, nel cortile della Facoltà di Giornalismo (durante le domeniche estive l'università era chiusa), c'era un gruppetto di studenti che giocavano ad *Hacky Sack* e si sbellicavano dalle risa. Non prestavano attenzione al mondo esterno, al rombo, al fracasso e al fumo che giungevano fin lì dalla Piazza del Maneggio. E solamente quando oltre il cancello si udirono dei rumori (un poliziotto con la camicia lacera passò correndo, e dietro a lui una frotta di selvaggi nudi fino alla cintola), gli studenti della Facoltà di Giornalismo smisero di giocare. Nel giro di un minuto la strada venne riempita dalla folla. Davanti a essa avanzava rotolando un'automobile. Gli studenti della Facoltà di Giornalismo galopparono verso le porte come una mandria di caprioli. Si misero a picchiare, a tormentare il campanello. Nessuno apriva. Nel frattempo, come c'era da aspettarsi, alcuni tifosi si lanciarono oltre le porte esibendo bastoni di ferro... Si avventarono sulle macchine e cominciarono a colpire vetri e paraurti. Gli studenti non pensarono nemmeno a difendere i propri beni.

Rintronò il catenaccio.

Sulla soglia si ergeva l'uomo in tenuta mimetica, tetro.

– Che volete? – sbadigliò. Puzza di cipolla e di sonno pesante.

– Siamo noi! – gridò Keša.

– Ma dai! Pensi non ti conosca? – l'agente di sicurezza si fece da parte e ci lasciò passare.

E sbatté la porta.

Quel giorno furono deturpate sì e no sette automobili parcheggiate.

In quella stessa estate mi laureai.

Биография

Сергей Шаргунов родился 12 мая 1980 года. Окончил Московский Государственный Университет; по специальности – журналист–международник. В 19 лет стал автором журнала “Новый мир” как прозаик и критик. Печатаюсь в московских издательствах и журналах. Книжный обозреватель на радиостанциях “Маяк” и “Вести–FM”. Лауреат российской литературной премии “Дебют”.

Biografia

Sergej Šargunov è nato il 12 maggio 1980. Si è laureato in Giornalismo Internazionale all'Università Statale di Mosca M.V. Lomonosov. A 19 anni comincia a collaborare con la rivista letteraria “Novyj mir” come narratore e critico. Le sue opere sono pubblicate da diverse case editrici e riviste moscovite. Cura il panorama delle novità editoriali per le radio “Majak” e “Vesti-FM”. Vincitore del premio letterario russo “Debjut”.

Отзыв о рассказе

Одна из примечательных особенностей творчества сегодняшних молодых (и не только молодых) писателей заключается в избыточной претенциозности, которая не оплачивается органичностью пережитого и осмысленного жизненного опыта. Форсирование голоса в сочетании с популярными темами, изощрёнными формальными приёмами и навязываемыми общественному сознанию групповыми пристрастиями в новом газетно-журнальном агитпроме может на время впечатлить иного современного книгочеля. Однако подобный «успех» оказывается порою препятствием на пути к настоящему искусству, для которого искренность художественного высказывания (при глубине чувства и значительности мысли), а не холодная (пусть и талантливая) постмодернистская игра добытыми в чужом опыте смыслами составляет неперемнное условие.

И именно подлинность изображаемого, порождающая выходящие за его конкретные пределы общие и важные ассоциации, отличает рассказ Сергея Шаргунова *Бабушка и журфак*. За внешней обыденностью и непритязательностью описываемых в нём событий и поступков без какого-либо дидактизма, естественно и ненавязчиво, проступает подспудный драматизм существования юного поколения в постсоветской России, не обретающего твёрдой почвы под ногами и ясных идеалов в условиях невнятных социальных перемен, утраты исторических и культурных традиций, при невыработанности новых ценностей. Отсюда экзистенциальная маята бесстержневой личности, невольно подчиняющейся причудливым комбинациям складывающихся об-

Nota critica

Uno degli aspetti rilevanti dell'opera creativa degli scrittori giovani (e non solo giovani) di oggi consiste nel carattere esageratamente pretenzioso, che non trova riscontro nel dato biografico o nella riflessione sull'esperienza vissuta. È certamente possibile imporsi per qualche tempo al lettore contemporaneo forzando la voce mentre si usano temi popolari e tecniche formali sofisticate, o seguendo le mode imposte da nuovi agit-prop giornalistici. Tuttavia, questo tipo di "successo" finisce troppo spesso per diventare un ostacolo che impedisce di elevarsi al livello della vera arte, per raggiungere la quale è necessaria invece la sincerità dell'espressione creativa (accompagnata dalla profondità dei sentimenti e dalla ricchezza dei pensieri), non già la freddezza del gioco postmodernista (pur non privo di talento) applicato a significati ed esperienze che appartengono ad altri.

Ed è proprio la veridicità dell'oggetto della rappresentazione, dalla quale nascono associazioni universali e ricche di senso, capaci di valicare i confini concreti dei fatti narrati, a contraddistinguere il racconto di Sergej Šargunov *La nonna e la Facoltà di Giornalismo*. Con modi semplici e naturali, dietro a fatti che sembrano ordinari e quasi banali, l'autore ci svela il dramma segreto delle giovani generazioni della Russia postsovietica, prive di ideali ben definiti e senza più neppure un terreno solido su cui poggiare i piedi, dato che le tradizioni storiche e culturali sono ormai perdute mentre si attende ancora la proposta di valori nuovi. Da qui, la sofferenza esistenziale di una personalità disorientata, costretta a piegarsi e ad accettare le bizzarre combinazioni della vita e i giochi crudeli, gli stereotipi comportamentali che nascono dall'imitazione di modelli culturali e dagli istinti della microfolla formata dal solito giro di amici.

стоятельств и жёстких приколов, бесхребетно-подражательным стереотипам и инстинктам тусовочной микротолпы.

Автор чутко и зримо раскрывает действие парниковых эффектов инфантилизма под стеклянным колпаком для «золотой» молодёжи, искусно находит верный ситуативный штрих или необходимую динамичную деталь для воссоздания своеобразной социально-психологической атмосферы, в которой добро и зло, «бесподобная гадость» и «необыкновенная тонкость» могут завязываться в тесный неразрубаемый узел. Скупыми выразительными средствами им воспроизводится достоверный характерологический объём самых разных индивидуальностей (уборщица, охранник, преподаватель литературы и др.). При этом он не спрямляет углов и не избегает противоречий (в том числе и в собственных поступках или непоступках), ненарочито показывая, например, что ни сентиментальная забота о попугае, ни разнообразная внешняя культура, ни пример служения людям хирурга-отца не спасают юношу Кешу от нравственного одичания и скотского, по определению бабушки повествователя, отношения к простому народу.

Чуждый рассказчику мир инфантилизма встречается в его сердце и уме с воплощённым в образе бабушки целительным миром исторической памяти, непрерывающегося семейного предания, подлинных трудностей бытия, житейской мудрости, сохраненного внутреннего достоинства и благородства, несмотря ни на какие испытания. И здесь всё имеет значение: рассказы бабушки о войне и деревенской жизни в вятской тайге, её реакции на проявления инфантилизма и пристрастие к письмам, рассуждения о порче малолетних детей славой, поведение во время болезни и ожидание смерти...

L'autore espone con grande sensibilità e persuasività l'effetto serra dell'infantilismo su una gioventù dorata, prigioniera di una campana di vetro; riesce a trovare dettagli precisi nella descrizione di una situazione e del suo evolversi, così da ricreare quella particolare atmosfera sociale e psicologica nella quale il bene e il male, una "schifezza senza pari" e una "eccezionale finezza" risultano intrecciati in un nodo stretto, impossibile da tagliare. L'autore usa pochissimi mezzi espressivi per descrivere diversi individui in tutta la ricchezza dei loro caratteri (l'addetta alle pulizie, la guardia, la professoressa di letteratura, ecc.). Senza semplificare né nascondere le contraddizioni (anche quando l'io narrante parla delle proprie azioni compiute o mancate), lo scrittore riesce a dimostrare che nulla – né l'affetto sentimentale che il giovane prova per il pappagallo, né la cultura ricca e varia del protagonista, che emerge in tutte le sue azioni, e neppure l'esempio del padre chirurgo e benefattore – può salvare il giovane Keša dall'inselvaticamento morale e da una disposizione d'animo nei confronti della gente semplice che la nonna del narratore descrive dicendo che tratta le persone come bestie.

Il mondo dell'infantilismo estraneo al narratore si confronta nella sua anima e nel suo cuore con quello salvifico della memoria storica personificato dalla nonna, con la tradizione della famiglia che non si è mai interrotta, con la capacità di conservare la dignità e la nobiltà morale nell'affrontare e superare le prove della vita. Tutto qui è importante: i racconti della nonna, i suoi ricordi della guerra e della vita in campagna in un villaggio della taiga vicino a Vjatka, il modo in cui reagisce quando quell'infantilismo si manifesta, la passione per la corrispondenza, i discorsi sulla corruzione che la fama introduce in un'anima ancora infantile, il suo comportamento durante la malattia e l'attesa della morte...

Il legame con la nonna, che assume quasi il ruolo di un confessore, diviene così l'ancora

Исповедальная связь с бабушкой оказывается для испытывающего чувство одиночества студента журфака чем-то вроде спасительного якоря: «Она была моим прибежищем, лесная, загадочная... я черпал силы, чтобы завтра вновь войти под стеклянный колпак». Раскрытая в рассказе живая и врачующая душу связь времён и поколений, всё далее отстоящих друг от друга, наводит читателя и на размышления более общего характера. Вспоминаются державинские строки о двойственной человеческой природе: «Я царь, я раб, я червь, я бог». В нынешнюю эпоху разлития социал-дарвинизма, всепоглощающей корысти, конкурентной борьбы и цинических расчётов, утилитаризма и гедонизма всё более начинают оживляться в человеке рабские и червивые свойства (зависть, тщеславие, сребролюбие, властолюбие, сластолюбие и т.п.) и усыхать царские и божественные (честь, совесть, благородство, милосердие, самоотверженность и т.п.). Можно представить себе, чем чревато окончательное исчезновение в человеке божественного и царского начала, реальные носители которого пока ещё присутствуют в нашем сознании и через сохраняемую историческую, родовую, семейную, индивидуальную память и тем самым помогают нам не утрачивать собственную человечность. И в этом отношении символичен эпизод с гребнем бабушки, вытащенным молодым человеком после ее кончины из отбросов помойного ведра и торопливо им поцелованным.

Борис Тарасов

di salvezza per lo studente della Facoltà di Giornalismo malato di solitudine: “[...] era il mio rifugio, e sebbene rispondesse con poche e semplicissime parole, da lei io attingevo la forza per addentrarmi di nuovo il giorno dopo sotto la cupola di vetro”. Il legame tra generazioni che si allontanano sempre più l’una dall’altra, quel legame vivo che risana l’anima, spinge il lettore a riflettere sulle questioni più universali. Vengono in mente allora i versi di Deržavin che parla dell’ambivalenza della natura umana: “Sono il re, sono il servo, sono il verme, sono il dio”. In quest’epoca di darwinismo sociale, nella quale trionfano l’avidità, la competizione, il cinismo calcolatore, l’utilitarismo e l’edonismo, diventano sempre più evidenti nell’anima umana i tratti del servo e del verme (invidia, vanagloria, sete di soldi e di potere, lussuria, ecc.), mentre diventa sempre più difficile notare quelli del re e del dio (onore, onestà, nobiltà di spirito, carità, abnegazione). Non è difficile immaginare a cosa può portare nell’uomo la scomparsa di quel principio divino e regale che è ancora presente nella nostra coscienza e che, grazie alla memoria storica, individuale e di famiglia, ci aiuta a rimanere umani. È molto significativo in questo senso l’episodio in cui, dopo la morte della nonna, il giovane scorge nel bidone dell’immondizia il suo pettine e si precipita a recuperarlo e a baciarlo.

Boris Tarasov

Молодые итальянские переводчики

Мануэль Боскиеро родился в 1981 году в г. Арциньяно. В 2009 году окончил аспирантуру на кафедре славистики Университета г. Падуи и защитил кандидатскую диссертацию. Занимается русской литературой XX века.

Мария Гатти Раках родилась в 1981 года в г. Генуя. В настоящее время проживает в Венеции. Изучала русский язык и литературу в Университете Ка' Фоскари (Венеция), уделяя основное русско-еврейскими тематикам. За время обучения прошла длительные стажировки в России и Париже. В настоящее время является аспиранткой Университета Ка' Фоскари и изучает вопросы восприятия русской культуры итальянскими интеллектуалами начала двадцатого века.

Аличе Гизи родилась 2 апреля 1982 года в Брешии. В 2009 году окончила с отличием Университет г. Вероны, где училась на факультете Иностранных языков (отделение русского и английского), современной литературы и компаративистики. Защитила дипломную работу на тему "*Московские сказки* А. Кабакова: мифы и волшебство в Москве во времени застоя и *новых русских*". В данный момент работает преподавателем итальянского языка и итальянской культуры в лингвистическом центре «Studio Bravissimo» в Киеве (Украина).

Giovani traduttori italiani

Manuel Boschiero è nato nel 1981 ad Arzignano. Nel 2009 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Slavistica presso l'Università di Padova. Si occupa di letteratura russa del Novecento.

Maria Gatti Racah è nata a Genova nel 1981 e risiede a Venezia. Ha studiato Lingua e Letteratura russa all'Università Ca' Foscari di Venezia, occupandosi in particolare di tematiche russo-ebraiche. Ha trascorso lunghi periodi di studio in Russia e a Parigi. Attualmente è iscritta a un Dottorato di ricerca, sempre a Venezia, e si sta occupando della ricezione della cultura russa tra alcuni intellettuali italiani del primo Novecento.

Alice Ghisi è nata il 2 aprile del 1982 a Brescia. Si è laureata a pieni voti nel 2009 in Lingue e Letterature Straniere Moderne Compare (russo e inglese) presso l'Università di Verona con la tesi "*Le Fiabe Moscovite* di A. Kabakov – Miti e magie nella Mosca del ristagno e dei *nuovi russi*". Attualmente vive e lavora a Kiev (Ucraina), dove da due anni insegna Lingua e cultura italiana presso il Centro Linguistico "Studio Bravissimo".

Мария Изола родилась в г. Джемона дель Фриули в 1982 году. Закончила факультет иностранных языков и литературы Университета г. Вероны, и дальше поступила в аспирантуру по славистике в Университет г. Падуи. Основные научные интересы – лингвистика, методика преподавания русского языка и перевод.

Линда Торрезин родилась в г. Читтаделле в 1986 году. Окончила с отличием факультет иностранных языков и литератур Университета Ка Фоскари г. Венеции по специальности «Русский язык и литература» в 2011 году, защитив диплом о романе А. Скалдина *Странствия и приключения Никодима Старшего*. Ее научные интересы связаны с русской литературой XX века, в частности с символистской прозой и творчеством М. Булгакова. Сотрудничает в журнале «Russica Romana».

Maria Isola è nata a Gemona del Friuli nel 1982. Dopo essersi laureata in Lingue e Letterature Moderne presso l'Università di Verona, ha vinto un Dottorato di ricerca in Slavistica presso l'Università di Padova. I suoi principali ambiti di ricerca sono la linguistica, la didattica della lingua russa e la traduzione.

Linda Torresin è nata a Cittadella nel 1986. Si è laureata in Lingue e Letterature Straniere (Lingua e letteratura russa) all'Università Ca' Foscari di Venezia nel 2011 con il massimo dei voti, discutendo una tesi sul romanzo di A. Skaldin *Peregrinazioni e avventure di Nikodim il Vecchio*. I suoi interessi di ricerca riguardano la letteratura russa del Novecento, con particolare attenzione alla prosa simbolista e alla produzione di M. Bulgakov. Collabora con la rivista "Russica Romana".

INDICE
ОГЛАВЛЕНИЕ

- 4 Associazione Conoscere Eurasia
- 7 Istituto Letterario A.M. Gor'kij
- 9 ALMANACCO LETTERARIO 2
- 10 Antonio Fallico
Presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia
- 13 Boris Tarasov
Rettore dell'Istituto Letterario A.M. Gor'kij
- 16 Premio Letterario Raduga
- 18 Giuria italiana
- 21 Giuria russa
- 23 GIOVANI NARRATORI ITALIANI
- 25 Alice Malerba
Traduzione in russo di Jana Kidenko
- 51 Alessandro Metlica
Traduzione in russo di Anastasija Golubcova
- 79 Leandro Miglio
Traduzione in russo di Anna Fedorova

- 5 Ассоциация «Познаём Евразию»
- 6 Литературный институт имени А.М. Горького
- 9 ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ 2
- 11 Антонио Фаллико
Президент Ассоциации «Познаём Евразию»
- 12 Борис Тарасов
Ректор Литературного института им. А.М. Горького
- 17 Премия «Радуга»
- 19 Итальянское жюри
- 20 Российское жюри
- 23 МОЛОДЫЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ ПИСАТЕЛИ
- 25 Аличе Малерба
Перевод Яны Киденко
- 51 Алессандро Метлика
Перевод Анастасии Голубцовой
- 79 Леандро Мильо
Перевод Анны Федоровой

101	Fabio Mineo	Traduzione in russo di Irina Artamonova
123	Daniele Tommasi	Traduzione in russo di Marina Kozlova
156	<i>Giovani traduttori russi</i>	
161	GIOVANI NARRATORI RUSSI	
163	Andrej Antipin	Traduzione in italiano di Maria Isola
211	Natal'ja Nikolašina	Traduzione in italiano di Alice Ghisi
241	Dmitrij Faleev	Traduzione in italiano di Manuel Boschiero
271	Alëna Čurbanova	Traduzione in italiano di Maria Gatti Racah
303	Sergej Šargunov	Traduzione in italiano di Linda Torresin
339	<i>Giovani traduttori italiani</i>	

- 101 Фабио Минео
Перевод Ирины Артамоновой
- 123 Даниеле Томмази
Перевод Марины Козловой
- 157 *Молодые российские переводчики*
- 161 МОЛОДЫЕ РОССИЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ
- 163 Андрей Антипин
Перевод Марии Изолы
- 211 Наталья Николашина
Перевод Аличе Гизи
- 241 Дмитрий Фалеев
Перевод Мануэля Боскиеро
- 271 Алёна Чурбанова
Перевод Марии Гатти Раках
- 303 Сергей Шаргунов
Перевод Линды Торрезин
- 338 *Молодые итальянские переводчики*

Almanacco letterario 2

Conoscere Eurasia Edizioni

è stato stampato nel mese di agosto 2011

da Cierre Grafica, Quadrante Europa, via Ciro Ferrari 5,
37066 Caselle di Sommacampagna (Verona), Italia.

Литературный альманах – Выпуск 2

Издательство «Познаём Евразию»

напечатан в августе 2011 года

Чиэрре Графика, Куадранте Европа, ул. Чиро Феррари, 5
37066 Казелле ди Соммакампанья (Верона), Италия

